

ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ

НИКОЛАЙ
ЧЕРКАШИН

НИКОЛАЙ
ЧЕРКАШИН

ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ



НАШ
ДЕНЬ

НИКОЛАЙ | ОДИНОЧНОЕ
ЧЕРКАШИН | ПЛАВАНИЕ

Повести
и рассказы



МОСКВА
1988

Рецензент *Э. Просецкий*

Черкашин Н. А.

Ч48 Одинокое плавание: Повести и рассказы. — М.: Современник, 1985. — 384 с. — («Наш день»).

В пер. 1 р. 20 к.

Главные герои новой книги лауреата премии Ленинского комсомола **Николая Черкашина** — наши современники, моряки-подводники. В дальних океанских походах мужают характеры молодых матросов и офицеров.

В книгу вошли также рассказы о людях других военных профессий, стоящих на страже мирной жизни страны.

470201200—358
Ч М106(03)—85 97—85

ББК8 4Р7
Р2

ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ

Повесть

Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают, и не из скромности, а просто потому, что им на это наплевать.

А. Сент-Экзюпери.
Военный летчик.

Глава первая

СЕВЕРОДАР

1

На самом краю земли, который так и называли — Крайний Север, стоял на скалах завьюженный флотский городок.

Море, омывавшее этот край, называлось Баренцевым, а городок, затерявшийся в распадах лапландских сопок, величался нимного нимало — Северодаром.

Даром Севера считалась гавань, укрытая от штормов красными гранитными скалами в глубине гористого фьорда. Она походила на горное озеро, тихое, девственное, одно из тех таинственных озер, в глубинах которых вроде бы еще не вымерли доисторические монстры. В них легко было поверить, глядя, как выныривает из зеленоватой воды черная змеинолобая рубка,

как, испустив шумный вздох, всплывает длинное одутловатое тело — черное, мокрое, с острым тритонным хвостом и округлым черепашьям носом, как бесшумно скользит оно по стеклянной глади бухты — к берегу, окантованному причалами и стальной колеей железнодорожного крана.

Глухая чаша горного озера, рельсовый путь, идущий неведомо откуда и ведущий неведомо куда, черные туши странных кораблей — без труб, без мачт, без пушек — все это рождало у всякого нового здесь человека предощущение некой грозной тайны.

Давным-давно здесь зимовали парусники. Их капитаны нарекли гавань Императрицынской — должно быть, в честь той правительницы, что рискнула послать сюда первые корабли.

Капитаны уводили свои шхуны туда, откуда Северодар казался далеким югом. Одни пытались пробиться к Полюсу, другие — открыть неведомые земли в высоких широтах, третьи — обогнуть Сибирь океаном. Призраки их кораблей, сгинувших в просторах Арктики, и сейчас еще маячат во льдах — с белыми обмерзшими реями, с лентами полярного сияния вместо истлевших парусов... Иногда их засекают радары подводных лодок, и тающие отметки на экранах операторы называют «ложными целями».

Гавань Север подарил кораблям — подводным лодкам, а людям он не подарил тут ничего, даже клочка ровной земли под фундамент дома. Все, что им было нужно, люди сделали, добыли, возвели, вырубили здесь сами. Город строили мужчины и для мужчин, ибо главным ремеслом Северодара было встречать и провожать подводные лодки, обогревать их паром и лечить обмятые штормами бока, поить их во-

дой и соляром, заправлять сжатым воздухом и сгущенным молоком, размагничивать их стальные корпуса и обезжиривать торпеды, припасать для них электролит и пайковое вино, мины и книги, кудель и канифоль...

Гористый амфитеатр Северодара повторялся в воде гавани, и потому город, составленный из двух половин — реальной и отраженной, казался вдвое выше. Предезький архитектор перенес портики и колоннады с берегов Эллады на гранитные кручи Лапландии. И это поражало больше всего — заснеженные скалы горной тундры в просветах арок и балюстрад.

Жилые башни попеременно с деревянными домами разбрелись по уступам, плато и вершинам и стояли не заслоняя друг друга — всяк на юру, на виду, наособинку, стояли горделиво, будто под каждым был не фундамент, а постамент. И еще антенные мачты кораблей накладывались на город. Корабли жались почти к самым домам, так что крылья мостиков — виделось сверху — терлись о балконы.

Право, в мире не было другого такого города — на красных скалах, у зеленой воды, под голубым небом — в полярный день, под радужными всполохами — в арктическую ночь.

И хотя город вырубали в скалах мужчины и вырубали его для мужчин, капитан-лейтенант Алексей Башилов, новый замполит подводной лодки бортовой номер 410, нигде больше не встречал на улицах так много миловидных стройных женщин, как здесь, за Полярным кругом, в Северодаре. Впрочем, все объяснялось просто: избранницы моряков всегда отличались красотой, а морские офицеры испокон веку слыли неотразимыми кавалерами. И потому бывшие примы студенческих компаний,

первые красавицы школ, факультетов, контор,строек, НИИ и всех прочих учреждений, предприятий, домов, пороги которых переступала нога корабельного офицера, рано или поздно шли под свадебные марши с женихами в парадных тужурках, увитых золотом шнуров, галунов, поясов, шли неизменно по левую руку, как полагается спутницам военных мужей, и кортик — о, этот кортик, рудимент доброй старой шпаги! — качался на золотой перевязи в такт шагу и нежно побивал о бедро невесты, точно жезл чародея...

Но смолкали арфы Гименея, и свадебное путешествие укладывалось в несколько часов аэрофлотского рейса. Дорога от аэропорта до Северодара поражала вчерашних москвичек, киевлянок, южанок древними валунами и чудовищными заносами. Поражал и город на скалах, нависший над морем, точно горный монастырь.

Парадные тужурки и новенькие кортики надолго прятались в недра чемоданов — до платяных шкафов еще далеко, — мужья-лейтенанты переоблачались в темные рабочие кители, вместо белоснежных кашне повязывали черные шарфики, запахивали черные же лодочные шинели с пуговицами, истертыми на хлястиках о железо рубочных шахт, и исчезали в этих шахтах порой на много месяцев кряду, обрекая юных жен на соломенное вдовство, неизбывные тревоги и вечное ожидание. И тогда город надолго превращался в стан прекрасных полонянок, свезенных со всех земель сюда, на край света, на Крайний Север, — северу в дар, в Северодар...

Разбиваются о гранитные камни заморские каблуки и платформы, шквальные ветры уносят

в тундру ароматы французских духов, блекнет одинокими ночами женская краса, уходит в ранние морщинки, как вода в трещинки. И жизнь, которая так заманчиво начиналась под шелест свадебного платья, в блеске морского офицерского золота, вдруг покажется темнее полярной ночи. Не всем одолеть ее вязкую темень. Не всем прийти на пятый плавпирс, когда вой сирены входящей в гавань субмарины возвестит долгожданный час встречи. Но те, кто придут и переступят стык берега и моря — не какой-нибудь там символический, а вот этот, зримый, принакрытый стертым стальным листом стык понтона плавучего пирса и гранитного берега, — они-то, быть может, сами того не ведая, переступят главный порог своего дома и в сей же миг превратятся из полонянок в истинных северянок...

Разумеется, в городе жили не одни офицерские жены, и Башилову, человеку молодому и холостому, не грех было заглядываться на северодарских красавиц. Хотя меньше всего на свете собирался он влюбляться именно сейчас. Это безумие — терять голову перед приездом комиссии Главного штаба.

На любом корабле у любого офицера всегда найдется дюжина горящих дел, десятка два дел крайне срочных, тридцать — безотлагательных, сорок — обязательных и полсотни — текущих. Перед дальним походом эти цифры утраиваются. Влюбляться в такую пору, внушал себе Башилов, — преступная безответственность. Откуда взять время на телефонные звонки, прогулки, свидания, когда служебные тиски зажаты до предела; на корабль прибыло пополнение, и за молодыми матросами нужен глаз да глаз, экипаж еще не отстрелялся в море, еще не отре-

монтирован береговой кубрик, не откорректированы карточки взысканий и поощрений, не разобрано на комсомольском собрании персональное дело старшины 2-й статьи Еремеева, надерзившего инженер-механику, наконец, в зачетном листе на допуск к самостоятельным вахтам еще и конь не валялся — ни одной отметки. Влюбляться в такое время — сумасшествию подобно! Нет, тут нужно сразу выбирать: или корабль и океан, или берег и личная жизнь. Башилов выбор сделал и каждый вечер, перебирая в памяти все промелькнувшие за день женские лица, не без гордости, но и не без грусти, замечал себе, что сердечный горизонт чист, что никаких помех делам корабельным не предвидится и что если продержаться так еще пару месяцев, то в моря он уйдет со спокойной душой, без оглядки на берег...

2

Синее море в белых снегах. Желтые казармы. Черные подлодки.

Дом мой прост и незатейлив, как если бы его нарисовал пятилетний мальчик: розовый прямоугольник с четырьмя окнами — два вверху, два внизу. Над крышей — труба. Из трубы — дым. Все.

Комнатка моя еще проще: в одно окно без занавесок. Покупать занавески некогда, да и не хочется. Вид на заснеженные сопки расширяет комнатушку, а главное, дает глазам размяться после лодочной тесноты, в которой ты поневоле близорук: все под носом, и ни один предмет не отстоит от тебя дальше трех шагов...

Большую комнату занимает мичман, завскладом автономного пайка, Юра. Его два-

дцатилетняя жена Наташа счастлива: муж что ни вечер — «море на замок» и до-мой.

В коридоре вместо звонка приспособлен лодочный ревун, притащенный Юрой с базы. Между ударником и чашкой проложен кусок газеты, но всякий раз ревунная трель подбрасывает меня на койке.

Дом стар. Половицы продавливаются, как клавиши огромного рояля. За хилой перегородкой — общий ватерклозет. Унитаз желт, словно череп доисторического животного, он громко рычит и причмокивает.

Чтобы попасть ко мне, надо идти через кухню, навечно пропахшую жареной рыбой и земляничным мылом. Но все это, как говорит наш старпом, брызги. Потому что комната в Северодаре — это много больше, чем просто жилье. Это куб тепла и света, выгороженный в лютом холоде горной тундры. В этом кубе теплого света — или светлого — тепла можно расхаживать без шинели и шапки, можно писать без перчаток, играть на гитаре, принимать друзей, встречать любимую...

Впервые в жизни у меня была своя комната, и я чувствовал себя владельцем полуцарства. Вернешься с моря, забежишь на вечерок, ужаснешься диковинной оранжевой плесени, взошедшей на забытом бутерброде, порадуешься тому, что стол стоит прочно и тебя не сбрасывает со стула и не швыряет на угол шкафа, и с наслаждением вытянешься в полный рост на койке; пальцы ног не упрутся в переборку, за ними еще пространства — ого-го! А утром снова выход в полигон, или на мерную милю, или на рейдовые сборы, или на торпедные стрельбы, или на минные постановки...

Кто не ходил в моря через день, тот не знает, что за счастье эти короткие вылазки в город. Как все прекрасно в этой недосыгаемой береговой жизни, как все в ней удобно, интересно, соблазнительно...

Любые земные проблемы кажутся несерьезными, ибо настоящие опасности, настоящие беды — кто из подводников так не считает? — подстерегают человека там — в океане, на глубине... И нечего заглядываться на берег. Северодар создан мудро, создан так, чтобы мы могли выходить в море легко и свободно, ни за что не цепляясь, — как выходит торпеда из гладкой аппаратной трубы.

Если бы я знал, чем станет для меня тот темный декабрьский день, я бы запомнил его во всех мелочах. Но мелочи забылись. Осталось главное — утром мы грузили боезапас в корму. Говоря проще, засовывали торпеды в кормовые аппараты. Дело это весьма ответственное и столь же нудное. Играл громко тревогу: «По местам стоять! К погрузке боезапаса!» Задраивают все люки, отдают носовые швартовы, и лодка, выбросив фонтан брызг, притапливает нос так, что якорный огонь уходит под воду и брезжит оттуда тусклым пятном, а рубка смотрит лобовыми иллюминаторами прямо в воду, будто субмарина тщится разглядеть что-то там в черной глубине. Острохвостая корма ее при этом поднимается из воды, обнажая сокровенные ложбины волнорезных щитков. Щитки вместе с наружными крышками торпедных аппаратов вытягиваются внутрь легкого корпуса, и тогда ощериваются жерла алых торпедных труб. В них-то и надо засунуть нежную смертоносную

сигару длиной с телеграфный столб. Для этого нужны безветренная погода, понтонный плотик, крепкие руки и точный глазомер. Все это было, но, как назло, заела крановая лебедка, и торпеда зависла над узкой щелью между пирсом и корпусом. И старший помощник командира капитан-лейтенант Гоша Симбирцев пожелал много нехорошего капризной лебедке, бестолковому матросу-крановщику и его маме... Мы смотрели на эту злополучную торпеду, как она, покачиваясь на тросе, поводит тупым рылом то в сторону лодки, то в сторону плотика со страхующими минерами. И когда на причале появилась женщина в красном полупальто, все по-прежнему не отрывали глаз от торпеды, будто замороженные ее плавными поворотами. Но я нечаянно обернулся.

Высокая, ошеломительно красивая, она прошла шагах в десяти, не заметив нашей опасной суеты на пирсе, не видя нас и не слыша ни ревунов подъемного крана, ни яростных матюгов минера, понукавшего зависшую торпеду, ни воя сирены застрявшего в тумане буксира.

Опасно! Опасно! Опасно! — кричали красный сигнальный флаг над рубкой, алый низ вздыбленной кормы, оранжевый жилет страхующего матроса, красная боеголовка зависшей торпеды. Красное полупальто тоже множило этот тревожный цвет.

Она была красива, красива безоговорочно — с первого взгляда. Бывает красота неярая, мягкая; бывает красота броская, вызывающая, хищная. Она была упоительно красива — не отвести глаз. И я не отводил. И даже зависшая на стропе торпеда, казалось, поворачивала ей вслед удивленную тупую морду.

— Ну что, Сергеич,— перехватил мой взгляд старпом,— работаешь в режиме АСЦ?

АСЦ — это «автоматическое сопровождение цели».

Шутка его мне совсем не понравилась. Но я напустил на себя вид бывалого волокиты и спросил как можно небрежнее:

— Кто такая?

— Людка Королева? Начальница над гидрометеомутью... «Людка» — резануло слух, но зато фамилию Симбирцев произнес — или мне слышалось — не Королёва, а Королева. И эта оговорка вернула все на свои места. Мимо нас прошла Королева. Королева Северодара, коронованная восхищенными взглядами и злыми наветами...

Зависшая торпеда не выскользнула из бугеля и не сорвалась в воду, не задела мичмана Марфина, так некстати вылезшего из кормового люка, и матрос Жамбалов, поскользнувшись на пирсе, не выронил из рук кокору с запалом, а та не скатилась с настила в море; и адмирал, проезжавший мимо в черной «Волге», не заметил наших двух великовозрастных дурил, вздумавших катать друг друга на торпедной тележке, и железнодорожный кран не поддал на ветру своим пудовым гаком по хвостовине последней торпеды с ее взведенными винтами и хрупкими рулями... Ничего этого не случилось, не стряслось, не произошло. Быть может, она из тех редких женщин, что не приносят кораблям беды?

— Между прочим,— толкнул меня в бок Симбирцев,— живет в твоём доме...

Когда читают твои мысли, невольно краснеешь. Но тут весьма кстати вспомнилась чья-то строчка: «Нам на Руси любить мешает

холод, а также и за службой недосуг!»

Все это было утром... А после обеда объявили «шторм-раз».

3

Вихревая звезда циклона зародилась над ледяным панцирем Гренландии. От Берега короля Фредерика VI до Земли короля Фредерика VIII встала и завертелась гигантская снежная мельница. Набрав силу, буря ринулась на юго-восток, штормя Ледовитый океан, круша айсберги, разбрасывая норвежские сейнеры и английские фрегаты от мыса Нордкап до острова Медвежий.

Шторм летел на утесы скандинавских фиордов, подмывая под вихревые крылья Исландию и Шпицберген. Ветроворот, нареченный синоптиками «Марианной», накрыл Лапландию и в последнее воскресенье декабря ворвался в Северодар...

В Северодаре ждали на новогоднее представление цыганский цирк «Табор на манеже». С утра, когда метеослужба не предвещала ничего дурного, в Белогорск — столицу флота — ушли два катера-торпедолова: один за артистами, другой за клетками с медведями. По пути они захватили жену помощника флагманского механика и жену мичмана-баталера, обоим подошло время рожать. Едва катера вышли за боновые ворота и скрылись за горой Вестник, как в гавани объявили «ветер-три», то есть первичное штормовое предупреждение. На подводных лодках подзаскучавшие дежурные офицеры слегка встрепнулись, распорядились усилить швартовы и открыть радиовахты на ультракоротких волнах.

Через час на сигнальной мачте рейдового поста появились два черных конуса — «шторм-два». «Шторм-два» — предупреждение посерьезней, но все же слишком обыденное для Северодара, чтобы могло кого-то по-настоящему обеспокоить... Взволновались разве что командиры да лодочные механики, в чьи двери в скором времени постучали матросы-оповестители. Кому охота покидать воскресное застолье, для того чтобы сбегать в гавань, посидеть в прочном корпусе час-другой, а потом возвращаться к остывшим бифштексам? Зимой эти «штормы-два» объявляют и отменяют порой по три раза на дню... Но не успели командиры и механики добраться до пирса, как в штабах захрипели, зарычали, загудели динамики: «Внимание! Шторм-раз! Шторм-раз!» И по этажам всех казарм понеслось разноголосое: «Команде строиться для перехода на лодку!»

Таков закон: при угрозе сильного ветра на подводные лодки, стоящие у причалов, прибывают экипажи в полном составе во главе с командирами, машины готовятся к немедленной даче хода, к мгновенному маневру — мало ли куда рванет шквал лодку. А парусность у рубки большая...

Но что это? На реях сигнальной мачты — черный крест. И, точно не доверяя скудным полуденным сумеркам, вспыхнул на рейдовом посту ромб из четырех красных огней — «Ожидается ураган». И командиры всех лодок отдали одно и то же распоряжение: «Вооруженным вахтенным перейти с корпуса в ограждение рубки... Тревога!.. По местам стоять...»

...Пурга ворвалась в город привычным путем из каменного желоба ущелья Хоррвумчорр. Белый вихрь с разлета ударился о гранитное ос-

нование Северодара — Комендантскую сопку. Взметнувшись снежной коброй, клубясь и завиваясь, буран разбился на две метели. Как всегда, Метель Правого Крыла, расструившись на семь вьюг, ринулась в облет Комендантской сопки. Вьюга первая, распустив веер поземок, понеслась над дорогой, полуподковой огибающей город. Белые ее плети прошлись по черным спинам матросов, потаптывающих снег у опущенных шлагбаумов, на площадках караульных вышек, у опечатанных дверей и ворот...

Вторая вьюга взлетела на Комендантскую сопку и первым делом обвилась вокруг полубашни штабного особняка, залепила окна адмиральского кабинета мокрым снегом, затем, сбивая с карнизов сосульки, понеслась по обмерзшему шиферу финских домиков; в печном дыму и снежной пыли соскользнула она на Якорную площадь и завертела белый хоровод вокругobeliska погибшим подводникам.

Третья вьюга помчалась по улице Перископной, где с балкона Циркульного дома, выходящего полукруглым фасадом на гавань, сорвала и подняла в воздух голубой персидский ковер. Его хозяйка, жена начальника Дома офицеров певица Аврора Викторовна, как раз примеряла черное кружевное белье с этикетками бонового магазина и, когда красавец ковер, вывешенный проветриваться, вдруг захлопал ворсистыми крыльями и поднялся в воздух, выскочила на балкон в чем была. Не чуя снега под босыми ногами, она тянула обнаженные руки вслед улетающему голубому «персу». Драгоценный ковер, взмыв выше всех этажей, был подхвачен вьюгой четвертой, и та легко понесла его над воротами со шлагбаумом, над учебным плацем, над стареньким пароходом-отопителем и сошвар-

тованной с ним плавказармой. Хозяйка горестно стиснула виски — ей показалось, что «перс» плюхнулся в воду, загаженную соляром. Но ковер, трепеща и волнуясь, опустился на крышу плавказармы. Зацепившись за вентиляционный гриб, он дал знать о себе широким взмахом, и Аврора Викторовна бросилась к телефону звонить мужу, чтобы тот немедленно связался с дежурным по подплаву и попросил бы его звякнуть дежурному по плавказарме, да так, чтобы мичман-увалень не мешкая послал своего рассыльного на крышу, где вызвал о помощи ковер-самолет...

И вьюга пятая ничуть не отстала от своих сестер — взвыла премерзко в обледеневших трогах и веселой ведьмой пошла гулять по антенному полю, теребя штыри, растяжки и мачты, — ловчую сеть эфира, настороженную на голоса штормующих кораблей. Она кидалась в решетчатые чаши локаторов, сбивая их плавное вращение, так что на экранах возникали белые мазки помех — следы ее проказ.

Вьюга шестая пронеслась под аркой старинной казармы и, сотрясая деревянные лестницы на спусках к морю, скатилась по ступеням на причалы. С тщанием доброго боцмана выбелила она черные тела подводных лодок, скошенные гребни их рубок, черно-чугунные палы, штабеля торпедных пеналов...

Вьюга седьмая ударила в фонари, как в набатные колокола, и бешеные тени заметались по домам и кораблям, улицам и пирсам. Померкла стена разноцветных огней, вознесенных городом над гаванью. Померкли мощные ртутные лампы, приподнимавшие над причалами полярную ночь. И сразу же все огни в гавани — якорные, створные, рейдовые — превратились из

лучистых звездочек в тускло-желтые, чуть видные точки.

Метель Левого Крыла завилась вокруг горы Вестник как белая чалма, оставив в покое бревенчатый сруб на лысой вершине и женщину, которая одна знала имя урагана, прочтя его с ленты телетайпа.

Слетев с горы, снежная комета настигла строй в черных шинелях. Матросы с поднятыми воротниками и опущенными ушанками возвращались из бани на подводную лодку. Передние ряды толкли вязкий глубокий снег, задние подпирали, пряча лица за спинами передних, и все сбивались плотнее, ибо одолеть такую завируху можно только строем, и не дай бог перемогать полярный буран в одиночку. Замыкающий матрос, согнувшись в три погибели, прикрывал свечной фонарь полой шинели. Он берег его так, будто это был последний живой огонь во Вселенной.

Поодаль строя таранил снежный вихрь широкогрудый рослый офицер, назло непогоде — в фуражке.

— Ну что, — кричал он строю, скособочив голову, — замерзли? — Кальсоны надо носить!.. — орал старпом, зная, что настоящий матрос ни за что в жизни не пододенет исподнее. Губы, обожженные морозом, с трудом растягивались в улыбке. Строй месил снег. Строй пробивался сквозь пургу. Строй шагал на подводную лодку.

Белой медведицей ревела метель...

4

В послеобеденный — «адмиральский» — час я забежал домой привести в порядок пошатнувшееся хозяйство. Хозяйство состояло из трех

белых сорочек и трех кремовых рубашек, приобретших со временем некий общий трудноопределимый цвет. Едва я успел замочить их в тазу — о, эта белизна флотской формы! — как ко мне заглянул сосед — капитан второго ранга Медведев — и позвал к себе на «отвальную». Через день его лодка выходила в автономное плавание.

Я натянул старый лодочный китель, зная, что виновник торжества меня простит.

Среди гостей — командиров, старпомов, «флагмачей», каких-то женщин из Дома офицеров — была и наша верхняя соседка Людмила Королева.

Смело отброшенные волосы открывали и окрыляли ее лицо. А в глазах — больших и чуть раскосых — таилась усталость от собственного женского могущества: «Гляну на любого — и будет моим... Боже, как скучно!»

Она пыталась править шумным и бестолковым застольем, но все разговоры, каких бы тем ни касались и как ни старалась Людмила их высить, непостижимыми путями сводились к лодочному железу — сложному, хрупкому, жизнесущему...

Едва я увидел ее здесь, как мне сделалось тревожно и грустно. Я старался не смотреть на нее подолгу и пристально. Но боковым зрением, седьмым чувством, звериным чутьем я следил за каждым ее кивком, за каждой улыбкой, за каждым движением...

Почему-то в компании, которой верховодит красивая женщина, всегда чувствуешь себя забытым, ненужным, чужим. Оттого что все время следишь за собой — хорошо ли выглядишь, умно ли говоришь, — становишься нескладным и сбивчивым, замолкаешь наконец и сидишь мрач-

ный, обиженный на себя и весь белый свет. С болезненной жадностью считаешь редкие ее взгляды, брошенные на тебя, внимаешь каждому ее слову, обращенному к тебе,— даром что по пустяку. Немыслимым счастьем кажется в такие минуты остаться с ней наедине, чтобы все взмахи ее ресниц, все звуки, сорвавшиеся с ее губ, принадлежали только тебе.

Скверное, жадническое чувство...

Красивая женщина окружена незримой броней из достоинств и доблестей своих поклонников. В какую-то минуту понимаешь это особенно ясно и больно, понимаешь, что тебе не пробить эту броню, и ты встаешь и уходишь за спины гостей, слоняешься по квартире, занимаешь себя дурацкими пустяками и все надеешься сказать вдруг такое, придумать вдруг эдакое, что всеобщее внимание, а главное, ее глаза обратятся сразу к тебе...

— Ну все, орлы, о службе ни слова!— воззвал хозяин дома, но разговор сам собой перешел на отсеки и на тех, кто в них.

Она вдруг загрустила, задумалась, а потом тихо, медленно из глубины своей печали завела песню про лучину, про кручину— подколотную змею...

Пела она удивительно чисто, пела для себя, пела сквозь умный спор про надоевшие ей лодки. Перепалка громких от хмеля голосов стала стихать. Я подобрал валявшуюся на тахте гитару, взял несколько аккордов и поймал ее одобрительный взгляд.

К песне подстроились соседки, и спелось трио, в котором голос Людмилы вел высоко, уверенно и чуточку зло...

За знакомыми словами чудились иные, за-

таенные, отпевающие одно и накликающие другое женское счастье... И обе соседки, невзрачные, без меры накрашенные, игриво взбалмошные от избытка мужского внимания, вдруг похорошели, посерьезнели, ушли в себя и песню.

Ах, как славно они пели! В окна льдисто царпалась пурга, будто кот, которого забыли впустить. Ветер подвывал вдруг шумно и яро, срываясь на свист и в свисте же умолкая. Наверное, все эти циклоны и антициклоны, с которыми она имела дело на вершине горы Вестник, слетались под окна своей хозяйки по первому же ее вздоху...

Людмила передернула плечами, и Медведев, не прерывая спора — что эффективнее при аварийном всплытии: воздух высокого давления или подъемная сила рулей, — расстегнул китель, снял и накрыл им плечи Королевы.

Терпеть не могу, когда женщины натягивают на себя фуражки мужей или набрасывают их тужурки, — в этом много жеманства, и жеманства пошловатого. Но медведевский китель обнимал Людмилины плечи мужественно и романтично. Из нагрудного кармана торчал уголок расписки за полученные торпеды, подворотничок сиял девственной белизной, и я со стыдом подумал, что не смог бы поручиться за подобную свежесть своего ворота. Там, в моей комнате, плавали в цинковом тазу, кроме неотстиранных рубаш, парадное кашне и с полдюжины белых тряпич, отрезанных от старой простыни. Щегольской китель Медведева сшит на заказ, над клапаном верхнего кармана сияли командирская «лодочка», сделанная ювелиром из настоящего серебра, и бронзовый знак нахимовского училища. Людмилины волосы — светлые,

неуемные — ниспадали на кавторанговские погоны, закрывая большие звезды на желтых лучах. Она не сняла его китель, она приняла его. Королева сделала свой выбор. Увы, это так!

Я выбрался в прихожую, отыскал в копне черных шинелей свою и незаметно ушел.

Я стал себе чужим и противным, я смотрел на себя со стороны, видел невзрачного «каплея» с мелким крошечком звезд на погонах, в замызганной лодочной ушанке, с пятном сурика на обшлагае, с пуговицей на левом борту, закрепленной на спичке... Я жалел его и ненавидел за то, что не он накрыл ее плечи своим кителем, за то, что не он познакомился с ней первым и не остался там по праву первопоклонника... Я гнал его из дома прочь, вниз, в гавань, на подводную галеру...

5

Едва я приоткрыл двери подъезда, мне показалось, будто я заглянул в топку, бушующую белым пламенем. Пуржило неистово и небывало. Тугой воздушный ком ударил в спину, и я, как на коньках, заскользил по раскатанной дороге, пока другой вихрь не сдернул меня за полы шинели в сугроб. Я засмеялся от удовольствия. Со мной играло невидимое мягкое живое существо. Но существо было сильным. Оно легко водило меня из стороны в сторону. А когда ударяло в лицо, то перехватывало дыхание.

Поземка не мела, она текла сплошными белыми струями, которые время от времени закручивались в воронки.

Я брел под гору к нижним воротам подплава, ориентируясь по углам домов, едва выступавшим из снежной замети. Фонари слепо

помигивали, видимо, буран замыкал провода, и когда они все же разгорались, то просвечивали сквозь роящийся снег тусклыми белесыми шарами.

Шквалы один за другим врывались в улицы, крутились среди скал и домов, и мчались, и ревели в одних только им ведомых руслах. Они скатывались по крышам, как по водопадным ступеням, прорывались в арки, словно в бреши плотин, и низвергались в гавань, обрушивая белое половодье на черные струги субмарин, выдувая из шпигатных решеток визжащие вои. Визжало все, за что мог зацепиться ветер. Дрожащее разноголосье сливалось в жутковатый хор нежити. Прорвалась всеобщая немота, и вещи запели, заныли, застонали... Выли дверные скважины и воронки водосточных труб, стальные жабры подводных лодок и чердачные жалюзи, провода, леера, антенны... Залопотал брезент на зенитных автоматах. Загромыхала сорванная жесть кровель. Задрезбезжали стекла.

Вертушка турникета в воротах подплава вращалась сама по себе, пропуская белые призраки, а те торопились, гремели настывшим железом и тут же с порога ныряли в снежную кутерьму, мчались по причалам кубарем, вскачь, коловоротом... Ну мелов!

Пудовый крюк железнодорожного крана сорвался с привязи. Он мечется под вздыбленной стрелой буйно и страшно, словно огромная костистая рука крестит все, что попадает под скрюченный палец,— рельсы, сопки, рубки подводных лодок, невидимые в пурге дома, арсеналы, казармы...

С мостика нашей лодки бьет прожектор. Луч его вязнет в метели, шквалы сдувают уз-

кий свет. Шквалы сдувают меня с голых досок настила. Я тараню упругую стену ветра, перебираю ногами, но ни на шаг не приближаюсь к трапу. Все как в дурном сне — идешь, и ни с места. Якорный огонь на корме брезжит маняще и недоступно. Я превратился в белую пешку, которую шторм передвигает с клетки на клетку, с половицы на половицу. Игра уже не игра. Снежный тролль кинулся под ноги, как самбист, которому нужно сбить противника. И ведь сбил же! Шинель тут же завернулась на голову, ветер вздул ее черным парусом и поволок меня по скользкому настилу туда, где причал обрывался в море. И зацепиться не за что, и никому не крикнешь — верхний вахтенный укрывшись в обтекателе рубки, а обшивка гудит как огромный бубен.

Но буря смиростивилась и швырнула мне капроновый конец, за который втаскивают сходню на борт. Обычно трос скручен в бухту и лежит на причале, словно круглый придверный коврик. Но ветер давно разметал кольца... Подтянувшись, я ухватился за леер родной сходни. От медного поручня рубки меня не оторвать. Цепко перебираю руками: еще шесть шажков по карнизному краешку борта — и ныряю в овальную нору обтекателя рубки. Здесь темно и тихо, если не считать бутылочного подвывания газоотводного «гусака». Сверху из выреза мостика еще захлестывают обрывки шквалов, но я уже дома. Отряхиваюсь, отфыркиваюсь, сидраю с усов сосульки. На рулевой площадке тлеет плафон, под ним боцман, в ватнике, сапогах, шапке, дымит сигаретой, поглядывая в лобовой иллюминатор, полузалепленный снегом.

— От бисова свадьба! — роняет Белохатко

в знак приветствия. От боцмана веет ямщицким степенством, уютно становится и от его дымка, и от хохлацкого говора.

— Что командир?

— Еще не прибыли.

Шахта входного люка обдает машинным теплом, соляром, духом жилья и камбуза. Спускаюсь по трапу в центральный пост, и белые взрывы бурана бушуют уже высоко над головой, над подволоком, над рубкой...

В лодке все готово к немедленной даче хода, на тот случай, если лопнут швартовы. Но на палы причальной стенки заведены дополнительные концы — не оторвет. К тому же мы в «золотой середине» — между стенкой и лодкой Медведева — та стоит крайним корпусом. На ней тоже завели дополнительные швартовы, перебросив их на наши кнехты.

Медведева пока нет, и вряд ли он скоро появится. Службой у него правит старпом — сутулый мрачный субъект с язвой желудка, которую скрывает от врачей, дабы поступить на офицерские классы.

У нас все «на товсь!»: включены машинные телеграфы, прогреты моторы. Штурман через каждые четверть часа выбирается с анемометром на мостик — замеряет ветер. Прибор у него зашкаливает, и Васильчиков не устает этому удивляться:

— Тридцать два метра в секунду! Во дает!.. Боцман, гони верхнего вахтенного на причал! Если нас оторвет, будет хоть кому чалки принимать!

Верхний вахтенный матрос Тодор греется в ограждении рубки, засунув под тулуп лампу-переноску. С превеликой неохотой выбирается

он на причал и прячется за железнодорожным краном, колеса которого застопорены стальными «башмаками».

Ветер сдувает с неба звезды, как снежинки с наших шинелей. Вода в гавани заплескалась, заплясала, зализала корпус, вымывая снег из шпигатных решеток. Лодку покачивает. В такую погоду хорошо бы погрузиться да переждать ураган на грунте. Но командир еще не пришел, нет и Симбирцева.

Боцман с сигнальщиками затягивают брезентом мостик, чтоб не наметало в ограждение рубки. Вырез в крыше обтекателя — «командирский люк» — закрыли железной заглушкой. Законопатились.

Три звонка. Это сигнал верхней вахты о том, что идет кто-то из начальства. Вертикальный трап дрожит и вздрагивает, в обресе нижнего люка появляются ботинки, облепленные снегом. Начальников на подводных лодках узнают снизу — по обуви. Эти широкие сбитые каблуки ботинок сорок пятого размера могут принадлежать здесь лишь одному человеку — Гоше Симбирцеву. Я радуюсь его приходу, я радуюсь ему, как родному брату.

Старпом — единственный на корабле человек, с которым я могу разговаривать на «ты», ничуть не поступаясь субординацией. У нас с ним равные дисциплинарные права и равное число нашивок на рукавах — две средние и одна узкая. У нас с ним все рядом — места за столом, каюты в отсеке, столы в береговой канцелярии. Наши пистолеты хранятся в соседних ячейках... Мне не терпится затащить его в каюту и посидеть, как давно не сидели, — с веселой травлей

под крепкий чай, с нечаянными откровениями и нетягостным молчанием.

Меня опережает дежурный по кораблю:

— Смирно!

Лейтенант Симаков подскакивает с рапортом.

— ...Плотность аккумуляторной батареи... Дизеля прогреты. Готовы к немедленной даче хода. Команда на местах. Двоих людей выделил для наблюдения за швартовыми.

— Выделяют слизь и другие медицинские жидкости. Людей на флоте — назначают. Ясно?

— Так точно. Назначены для наблюдения за швартовыми.

На бедре у Симакова пистолетная кобура, слипшаяся от застарелой пустоты, китель перехвачен черным ремнем, бело-синяя повязка надета с щегольским небрежением — ниже локтя.

— Повязку подтяни. На коленку съехала...

Симбирцев разглядывает его так, как будто видит впервые.

Глядя на них, трудно представить, что вчера на «мальчишнике» по случаю дня рождения Симбирцева Симаков хозяйствовал на старпомовской кухне и, когда вдруг кончился баллонный газ, проявил истинно подводническую находчивость: поджарил яичницу на электрическом утюге.

— Идем, Сергеич, посмотрим, есть ли жизнь в отсеках?

Рослый, крутоплечий, с черепом и кулаками боксера-тяжеловеса, Симбирцев ходит по отсекам, как медведь по родной тайге, внушая почтение отъявленным дерзцам и строптивцам.

Для него старпомовский обход отсеков не просто служебная обязанность. Это ритуальное

действие, и готовится он к нему весьма обстоятельно. Сквозь распахнутую дверцу каюты вижу, как Гоша охорашивается перед зеркальцем: застегивает воротничок на крючки — китель старый, «лодочный», с задравшимися от частого соприкосновения с железом нашивками, но сидит ладно, в обтяжку; поправляет «лодочку» на груди, приглаживает усы, приминает боксерский ежик новенькой пилоткой с прозеленевшим от морской соли «крабом»...

— К команде, Сергеич, — перехватывает мой взгляд, — надо выходить, как к любимой женщине... Франтом.

Симбирцев натягивает черные кожаные перчатки (не пижонства ради, а чтобы не отмыкать потом пемзовым мылом руки, чернеющие от измасленного лодочного железа), вооружается фонариком — заглядывать в потаенные углы трюмов и выгородок, и мы отправляемся из носа в корму. Нас встречают громогласным «смирно», а произносить «вольно» старпом не спешит...

— А кто это там стоит в позе отдыхающего сатира? — вглядывается Симбирцев в машинные дебри отсека. — Е-ре-ме-ев!.. Ручонки-то опусти. Была команда «смирно».

Еремеев неделю как нашил лычки старшины второй статьи — теперь пусть молодые вытягивают «руки по швам»... Симбирцев не из тех, кто любит, когда перед ними замирают «во фрунте», но надо сбить спесь с новоиспеченного старшины.

— Ерема, Ере-муш-ка... — в ласковом зове старпома играет коварство. — Ты чего такой застенчивый? На берег идешь — погон вперед, чтобы все видели. По килограмму золота на плече. Расступись, суша, — мореман идет! И до-

мой уж, поди, написал: «Мы с командиром посоветовались и решили...»

В рубке радиометристов прыснули.

— Что, была команда смеяться?!

Команды не было, но это именно то, чего добивался старпом. Над гоношистым Еремеевым посмеялись сотоварищи. Это в десять раз больше, чем простое одергивание.

Матросы любят Симбирцева. Он распекает без занудства: справедливо, хлестко и весело. Его разносы сами собой превращаются в интермеди. Улыбаются все, даже сам пострадавший, хотя ему в таких случаях бывает — и это главное — не обидно, а стыдно.

По короткому трапу Симбирцев спускается в трюм. Я — за ним. Луч фонарика нащупывает в ветвилнице труб круглую голову матроса Дунышина. Голова уютно пристроилась на помпе, прикрытой ватником.

— Прилег вздремнуть я у клинкета... Подъем!

Дунышин вскакивает, жмурится...

— А кто будет помпу ремонтировать? — ласково вопрошает старпом. — Карлсон, который живет на крыше? Хорошо спит тот, у кого матчасть в строю. Иначе человека мучают кошмары... Чтобы к утру помпа стучала, как часы. Ясно?

— Так точно.

Верное правило подводников всех времен — отдыхать только тогда, когда порученная тебе техника готова к немедленной работе.

Из-за пурги переход на береговой камбуз отменили, ужин будет на лодке сухим пайком. Коки кипятят чай и жарят проспиртованные «автономные» батоны: лодочный хлеб не черст-

веее месяцами, но если не выпарить спирт-консервант, он горчит.

У электроплиты возится кок-инструктор Марфин, вчерашний матрос, а нынче мичман. Фигура Марфина невольно вызывает улыбку: в неподогнанном кителе до колен и с длинными, как у скоморохов, рукавами, он ходит несуразно большими и потому приседающими шагами. По натуре из тех, кто не обидит мухи — незлобив, честен.

Марфин, родом из-под Ярославля, пошел на сверхсрочную — в мичманы, чтобы скопить денег на хозяйство. По простоте душевной он и не скрывает этого. В деревне осталась жена с сынишкой и дочерью. Знала бы она, на что решился ее тишайший муж! Да и он уже понял, что подводная лодка — не самый легкий путь для повышения личного благосостояния.

У Симбирцева к Марфину душа не лежит: не любит старпом тех, кто идет на флот за длинным рублем. Симбирцев смотрит на кока тяжелым немигающим взглядом, отчего у Марфина все валится из рук. Горячий подрумяненный батон выскальзывает, обжигает Марфину голую грудь в распах камбузной куртки.

— Для чего на одежде пуговицы? — мрачно осведомляется старпом.

— Застегивать, — добродушно сообщает Марфин.

— Во-первых, не «застегивать», а «застегивать», во-вторых, приведите себя из убогого вида в божеский!

Марфин судорожно застегивается до самого подбородка. Косится на китель, висящий на крюке: может, в нем он понравится старпому?

— Эх, Марфин, Марфин... Тяжелый вы человек...

— Что так, товарищ капитан-лейтенант? — не на шутку встревоживается кок.

— Удивляюсь я, как вы по палубе ходите. На царском флоте вас давно бы в боцманской выгородке придавили.

Марфин сутулит плечи.

— В первом — окуроч, в компоте — таракан. Чай... Это не чай, это сиротские слезы!..

Окуроч и таракан — это для красного словца; чтобы страшнее было. Но готовит Марфин и в самом деле из рук вон плохо.

— Вы старший кок-инструктор. Вы по отсекам, когда матросы пищу принимают, ходите? Нет? Бойтесь, что матросы перевернут вам бачок на голову? Деятельность вашу, товарищ Марфин, на камбузном поприще расцениваю как подрывную.

Марфин ошарашенно хлопает ресницами. Мне его жаль. Он бывший шофер. «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник»... Беда и для экипажа, и для Марфина. Что с ним делать? Списать? Переучить? И то и другое уже поздно.

В кормовом отсеке, не дожидаясь официального отбоя, уже подвесили койки, раскатали тюфяки... Никто не думал, что старпом появится в столь неурочный час.

— Картина Репина «Не ждали», — комментирует Симбирцев всеобщее замешательство. Он выдерживает мхатовскую паузу. — Товарищи торпедисты большой дизель-электрической подводной лодки! Ваш отсек можно уподобить барaku общежития фабрики Морозова. Бабы, дети, мужики лежат, отгородившись простынями... Я понимаю, — усмехается старпом, — вы измуче-

ны вахтами у действующих механизмов, вы не отходите от раскаленных в боях за Родину стволов...

Ирония зла, ибо самые незанятые люди на лодке — торпедисты. Никаких вахт у действующих механизмов они не несут.

— Вижу, румянец пробежал по не-ко-то-рым лицам! Есть надежда, что меня понимают...

Последнюю фразу Симбирцев тянет почти благодушно и вдруг рубит командным металлом:

— Учебно-аварийная тревога! Пробойна в районе... дватцать седьмого шпангоута. Пробойна подволочная. Оперативное время — ноль! Зашуршали!

Щелкнул секундомер, щелкнул пакетный выключатель, отсек погрузился в кромешную тьму. Темнота взорвалась криками и командами.

— Койки сымай!

— Аварийный фонарь где?

— Федя, брус тащи!..

— Ой, баля... По пальцам!

Разумеется, «пробойна» была там, где висело больше всего коек. Теперь с лязгом и грохотом летели вниз матрасные сетки, стучали кувалды, метались лучи аккумуляторных фонарей, хватывая мокрые от пота лица, оскаленные от напряжения зубы, бешеные глаза... Работали на совесть, знали: старпом не уйдет, пока не уложатся в норматив.

— Зашевелились, стасики, — усмехался в темноте Симбирцев, поглядывая на светящийся циферблат. Зажглись плафоны. Красный аварийный брус подпирал пластырь, на условной пробойне. Вопрошающие взгляды: «Ну как?» Но старпом неумолим.

— Это не заделка пробойны. Это налет гуннов на водокачку. Брус и пластырь в исходное. Повторим еще раз. Учебно-аварийная тревога! Пробойна...

На глаза Симбирцеву попадается раскладной столик с неубранным чайником и мисками. Все ясно, «пробойна» будет в том углу.

— ...в районе задней крышки седьмого торпедного аппарата!

Злополучный столик летит в сторону. Нерадивому бачковому теперь собирать миски под настилем... И снова:

— Это не есть «вери велл»... Пробойна в...

Мы возвращаемся в центральный пост. Круглые латунные часы на переборке штурманской рубки показывают время политинформации. Беседы с матросами проводят все офицеры — от доктора до механика. Сегодня мой черед. Обычно народ собирается либо в кормовом торпедном отсеке, либо в дизельном — там просторнее. Но сейчас объявлена «боевая готовность — два, надводная», все должны быть на своих местах, поэтому я включаю микрофон общелодочной трансляции и разглаживаю на конторке вахтенного офицера свежую газету. Впрочем, она мне не нужна. То, о чем я прочитал утром, весь день не выходит из головы... Я рассказываю, как рыбаки зацепились за что-то на дне тралом. Спустили аквалангиста, и это «что-то» оказалось подводной лодкой, типа «щука», погибшей в начале войны. К месту находки подошло аварийно-спасательное судно. Водолазы сумели открыть верхний рубочный люк, и из входной шахты вырвался воздух сорок первого года. Люди в скафандрах проникли в центральный

пост «щуки» и обнаружили скелеты подводников. Все они лежали там, где им положено быть по боевому расписанию.

Я говорю о мужестве, о воинском долге и знаю, что сейчас меня слушают все — все, кто бы чем ни занимался и в какой бы глухой лодочной «шхере» ни находился.

Щелчок тумблера. Политинформация окончена. Забираюсь в свою каютку с чувством хорошо сделанного дела. Тут и Симбирцев пролезает в гости. Диванчик под тяжестью его тела продавливается до основания.

— Зря ты, Сергеич, эту загробную тему поднимал... — вздыхает старпом.

Шутит или всерьез?

— Завтра глубоководное погружение. А ты про покойников. Мысли всякие в голову полезут.

— Ты это серьезно?

— Между прочим, завтра десятое апреля.

— Ну и что?

— «Трешер» погиб на глубоководном погружении десятого апреля одна тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Слышал об этом?

— В общих чертах.

— Ну так вот, я тебе расскажу в подробностях. А завтра посмотришь, каково тебе будет на предельной глубине.

Они вышли из Портсмута в Атлантику — новейший американский атомоход «Трешер» и спасательное судно «Скайларк». После ремонта «Трешеру», как и нам, надо было проверить герметичность прочного корпуса. Сначала он погружился в прибрежном районе с малыми глубинами — двести полста, двести шестьдесят метров. Ночью пересекли границу континентального шельфа, и глубины под килем открылись километровые...

Симбирцев поглядывает на меня испытующе. Я беззаботно помешиваю ложечкой чай.

— Значит, так, глубина впадины Уилкинсона, где они начали погружение, две тысячи четыреста метров. На борту «Трешера» команда полного штата и заводские спецы — всего сто двадцать девять человек.

В восемь утра они ушли с перископной глубины и через две минуты достигли стодвадцатиметровой отметки. Осмотрели прочный корпус, проверили забортную арматуру, трубопроводы. Все в норме. Доложили по звукоподводной связи на спасатель и пошли дальше. Через шесть минут они уже были на полпути к предельной глубине — метрах на двухстах. Темп погружения замедлили и к десяти часам осторожно опустились на все четыреста. На вызов «Скайларка» «Трешер» не ответил. Штурман, сидевший на связи, забеспокоился, взял у акустика микрофон и стал кричать: «У вас все в порядке? Отвечайте! Отвечайте, ради бога!» Ответа не было.

Чай в моем стакане остыл. Я без труда увидел этого американского штурмана, привставшего от волнения и кричавшего в микрофон: «Отвечайте, ради бога!»

— Они ответили. Сообщение было неразборчивым, и штурман понял только, что возникли какие-то неполадки, что у них дифферент на корму и что там, на «Трешере», вовсю дуют главный балласт. Шум сжатого воздуха он слышал с полминуты. Потом сквозь грохот прорвались последние слова: «...предельная глубина»... И тишина.

На спасателе еще не верили, что все конечно. Решили, что вышел из строя гидроакустический телефон. Часа полтора «Скайларк» ждал

всплытия «Трешера». Но всплыли только куски пробки, резиновые перчатки из реакторного отсека, пластмассовые бутылки...

Обломки «Трешера» обнаружили через год на глубине двух с половиной километров. К нему опускался батискаф «Триест» и поднял кое-какие детали. Но по ним так ничего и не определили...

— Но какую-то версию все-таки выдвинули?

— Версий было много. Американские газеты писали про «тайную войну подводных лодок», мол, его, «Трешер», подстерегли и посадили торпеду. Но это чушь, и они сами это признали. Возможно, кто-то из личного состава ошибся, и они пролетели предельную глубину. Но скорее всего, в сварных соединениях были микротрещины. Очень спешили в море, не провели дефектоскопию... Ладно, Сергеич, пойду посижу на спине.— И усмехнулся: — Спокойной ночи!

Я тоже раскатываю тюфяк, застилаю диванчик простыней и укладываюсь между стальной боковиной стола-сейфа и бочечным сводом правого борта.

Подводная лодка вздрагивает от шквальных порывов, будто лошадь от ударов хлыста. Поскрипывает дерево обшивки. Покачивает. Я лежу, как в колыбели.

...А наутро ударили морозы. Буря стихла. Море затянуло летучим паром, будто рваное облако расстелилось по заливу. В одной из проредей мелькнула усатая голова то ли нерпы, то ли тюленя.

Торпедный кран медленно катится по рельсам причала. Промерзший металл визжит

и хрустит словно битое стекло под катком.

Рубка изнутри обсахарена инеем. Торпедоболванка на пирсе серебристо-пушистая и похожа на елочную хлопушку. Вахтенный у трапа греется в клубах пара, бьющего из дырявой трубы под причальным настилом. Морозно. Бр-р...

Команды подводных лодок вышли на расчистку снежных заносов. «Объект внешней приборки», закрепленный за нашим экипажем, — многомаршевый деревянный трап, ведущий на вершину пологой с берега, но крутой с моря сопки. На картах она именуется «гора Вестник», и это весьма точно определяет роль высоты в жизни подплава. С ее голой вершины идут в штаб вести о штормах и циклонах, летящих к Северодару.

Лестницу так замело, что она превратилась в скат многоярусного трамплина. Матросы скалывают «карандашами» — корабельными ломami — лед со ступенек. Сбоку, у перил, я замечаю чьи-то узкие следы. Они не могли быть оставлены ни разлапистыми матросскими «прогарами», ни офицерскими ботинками. Это был женский след, след Королевы, и он вел в рубленый домик гидрометеопоста. При одной только мысли, что я могу сейчас ее увидеть, сердце забилось резкими клевками. Шапка стала тесной и жаркой... Я стащил ее, потом надел... Поглядел по сторонам: ближайший ко мне матрос — Данилов, длинный худой москвич, — равнодушно долбил лед. Никто на меня не смотрит...

Я поднимаюсь по трапу, и дома, корабли, люди становятся все меньше, все мельче... Зато открылись вершины дальних сопok и кручи

островов. Базальт бугрился округлыми вспучинами, и видно было, что лестница взбиралась по застывшему в яростном бурлении каменному вареву древнего вулкана. Лунный ландшафт сопки состоял сплошь из наплывов, складок, впадин, точно вокруг были свалены скульптуры неких гигантских тел, и они полусплавились так, что округлости одного перетекали во впадины другого...

Посреди первозданного хаоса стоял бывший храм Николы Морского с сетью антенн, заброшенных в невидимый океан эфира. Но и храм этот был повержен, ибо, вопреки всем христианским канонам, в алтаре его волховала живая богиня.

Я открыл дверь и вошел в скопище жужжащих, постукивающих, шуршащих бумажными лентами приборов. За большим столом сутулилась синеробая спина, прикрытая матросским воротником. У широкого, но низенького окна стояла Людмила в наброшенной на плечи шали, с пучком волос, свитых наподобие маленькой чалмы. Она кивнула мне и отвернулась снова к окну.

Отсюда, с вершины Вестника, зимнее море в белой кайме припая открывалось широко и плоско — до самого горизонта, пушисто размытого дымкой. Его не заслоняли ни скалы, ни острова, ни извивы фьорда. Пожалуй, только отсюда и виден был тот синий мир, в толще которого жили рукотворные рыбыны — наши странные корабли.

Лодка Медведева с белыми цифрами «105» на рубке вытянулась под горой во всю свою змеиную длину. За ее острым черным хвостом оставался бело-зеленый след взбитой винтами воды. «Сто пятая» уходила в «автономку».

На мостике торчали три головы в зимних кожаных шапках: Медведева, его старпома и боцмана у сигнального прожектора. Потом появилась еще одна и что-то блеснуло над перископной тумбой. Присмотревшись, я узнал «колокольчик» — выносной динамик громкоговорителя. «Колокольчик» направили раструбом на нас, то есть на гору Вестник, и вдруг на всю гавань грянуло удалое руслановское:

Живет моя отрада
В высоком терему.
А в терем тот высокий
Нет входа никому!

Людмила поигрывала уголком шали. Королева Северодара слушала серенаду. Жаль, что магнитофонную...

Песня металась в гранитной теснине, разбивалась на эхо, так что в домик долетало и «отрада» и «никому» — сразу.

С рейдового поста замигал прожектор. Людмилину помощник, оторвавшись от метеокарты, читал семафор по слогам:

— «Ко-ман-диру ПЛ. Что за ре-сто-ран «Попла-вок». Вопрос. Объявляю выговор. Контр-адмирал Чернецов».

Медведев отсемафорил: «Вас понял. Благодарю за пожелание счастливого плавания. Командир ПЛ».

Так уходила «сто пятая»...

Я был уверен, что от такой серенады растает сердце любой женщины. Но Королева вдруг разозлилась.

— Ага! — повернулась она ко мне. — Так это по вашей милости я летела сегодня с лестницы?! Вы знаете, что я из-за вас чулок порвала?! —

— Запишите его на наш лицевой счет! — попробовал я отшутиться. Но женщины меньше

всего склонны потешаться над порванными чулками.

— Вас бы по этой лестнице спустить! За зиму ваши матросы могли хоть раз здесь появиться?!

Как хорошо, что я не успел сказать, что у матросов были более важные дела, чем скалывать лед со ступенек.

— Еще раз так запустите лестницу — буду звонить адмиралу!

Я пообещал, что гидрометеослужбе не придется обременять адмирала подобными просьбами, и ушел, гордо расправив плечи. Но едва я спустился на злополучный трап, как поскользнулся и лихо проехался по забитым снегом ступенькам. Вскочил, отряхнулся... Кажется, никто не заметил.

Боже, скорей бы в море!

6

В свои тридцать шесть капитан третьего ранга Абатуров как командир лодки был староват. По службе его уже обгоняли кавторанги, окончившие училище двумя, а то и тремя годами позже.

Выбирать профессию Абатурову не пришлось. Отец выбрал ее для себя и для сына. Слова «подводная лодка» маленький Славик услышал раньше, чем другие мальчишечьи слова: «мишка», «ружье», «велосипед»... Когда мама говорила, что отец плавал на «щуке», мальчик себе так и представлял: папа садится верхом на длинную зеленую рыбину и несется по волнам, словно герой из сказки. Потом он увидел «щуку» на картинке. Ребристая, бокастая, она и в самом деле походила на хищную рыбину. Портила ее

лишь зеленая глазастая рубка, она была сильно скошена к корме и напоминала детскую горку, с которой Славик скатывался во дворе.

Картинку вместе с вещами отца привез вскоре после войны штурман дядя Роба, Роберт Иванович Гусев. Он был единственным, кто уцелел из отцовского экипажа. Перед последним походом абатуровской «щуки» капитан-лейтенанта Гусева назначили флагманским штурманом дивизиона, и он стал служить на берегу.

Дядя Роба был первым моряком, которого Славик увидел в своем сухопутном Загорске. Он доставил из Полярного «тревожный» чемоданчик отца, который Абатуров-старший брал с собой в боевые походы и которому тоже посчастливилось уцелеть в береговой квартире командира — тот роковой выход в море назначили внезапно. В чемоданчике как хранились, так хранятся и сейчас чистая тельняшка, старомодный бритвенный прибор со стальным лезвием на костяной ручке, портсигар из «польского серебра», набитый пожухлым теперь уже, искрошившимся «Беломором», потертый кожаный бумажник с мамиными письмами, маминой фотографией и прядью маминых волос в кармашке с тугой кнопкой...

Дядя Роба забрал с собой маму и Славику и увез их на Дальний Восток. За пятнадцать лет они прокочевали по «большому флотскому кругу» — Тихий океан, Север, Балтика, Черное море.

Чему бы ни учился и чем бы ни занимался Слава Абатуров, все делалось для того, чтобы добиться самого завидного на свете титула — «командир подводной лодки». Если он зубрил ненавистную тригонометрию, то только потому,

что командиру подводной лодки не определить без ее формул место в море, не рассчитать «торпедный треугольник». Если ходил в радиоклуб, то только для того, что командир подводной лодки должен прекрасно разбираться в радиоэлектронике. И в бассейн заниматься плаванием влекла Абатурова все та же неизбывная страсть, которой прибавляли силу то жюльверновский капитан Немо, то будоражащий фильм «Тайна двух океанов», то терпкие запахи настоящей подводной лодки, куда Слава не раз спускался вместе с дядей Робой.

Первый удар судьба нанесла ему на отборочной комиссии в военкомате, когда выяснилось, что для поступления на командный факультет военно-морского училища Абатурову не хватило ничтожной малости для полной зоркости правого глаза. Тогда дядя Роба, к тому времени капитан первого ранга, забрал Славины документы и отправился вместе с приемным сыном в Ленинград к начальнику Высшего военно-морского училища радиоэлектроники. Вот тут-то игодились Почетные грамоты и призовые дипломы радиоклуба и плавательного бассейна.

Из училища парень рвался на подводные лодки, но попал на старый эсминец, который вскоре ушел в консервацию. Несмотря на то что корабль стоял на приколе, в моря не ходил и особых шансов отличиться своим офицерам не давал, лейтенант Абатуров быстро вырос до старшего помощника командира.

Карьера довольно редкая и завидная. А он все три «надводных» года бомбардировал отдел кадров флота рапортами: «Прошу перевести меня на подводные лодки... Согласен на любую должность, в любой гарнизон». Рапорты воз-

вращались с неизменной пометкой: «Вакансий нет». Об этой переписке узнал некто из адмиралов-подводников, вызвал к себе неугомонного лейтенанта: «Есть место командира группы. Пойдешь со старпомов?»

Абатуров согласился и начал карьеру с нуля — командир группы, командир отсека. Ему уже шел двадцать восьмой год, и кадровики занесли его фамилию, которая всегда и везде открывала любые списки, в графу «неперспективные офицеры». Правда, судьба подарила ему шанс стать флагманским связистом. Но Абатуров не захотел уходить в штаб, остался на лодке. Это стоило ему многого. Пока он был в очередной «автономке», невеста уехала в Одессу и не оставила адреса.

К тридцати годам, когда иные офицеры уже прочно стоят у командирских перископов, Абатуров едва вышел в «бычки» — в командиры боевой части связи. Правда, на его кителе посверкивала серебряная «лодочка» — знак о допуске к самостоятельному управлению подводным кораблем. Никто даже не заметил, как он сдал все зачеты и получил — единственный среди радиоофицеров — этот заветный подводничий знак, который, как орден, носится справа и крепится к тужурке не на пошлой булавке, а привинчивается рубчатой гайкой с клеймом Монетного двора.

Дальше был самый фантастический этап абатуровской карьеры. Документы молчат, говорят легенды.

Будто однажды на больших маневрах перед самым выходом в торпедную атаку посредник «вывел из строя» командира лодки и велел старпому возглавить корабельный боевой расчет. Старпом совершенно не был готов к этой роли,

и с ним случилось что-то вроде шока. Он сжимал микрофон боевой трансляции и не мог выдать из себя ни слова. Текли драгоценные секунды... И тогда из закоулка центрального поста, оттуда, где мерцал светопланшет надводной обстановки, выбрался капитан-лейтенант Абатуров, взял у старпома микрофон и блестяще провел атаку! То было явление Золушки на торпедном балу!

После маневров «неперспективный офицер» был назначен старпомом этой же лодки, минуя ступень «помощника командира». А через два года получил направление на высшие специальные офицерские классы. Тут судьба подставила вторую подножку. Ленинградские медики выявили, что правый — «перископный» — глаз Абатурова близорук. С таким зрением не то что в командиры идти — из плавсостава списывать — надо.

Другой бы сник от такого выверта фортуны. Но Абатуров ухватил рукояти командирского перископа, как быка за рога.

Кто его надоумил — неизвестно, но только оказался он на другой день после медкомиссии в Москве у знаменитейшего профессора-окулиста. Чтобы попасть к нему в институт и записаться в очередь на прием, надо было записаться прежде в очередь к гардеробщику, ибо в многоместной раздевалке не хватало номерков для всех страждущих. Запись велась ежеутренне за час до начала работы метро.

Как удалось Абатурову попасть в первый же день приезда к профессору — легенда умалчивает, ибо тут меркнет фантазия мифотворцев. Известно лишь, что старик гардеробщик полвека тому назад служил на линкоре «Парижская коммуна» вещевым баталером и с тех пор питал

большое уважение к черным флотским шинелям...

Профессор-окулист сделал всего лишь вторую успешную операцию по хирургическому устранению близорукости. Абатуров согласился стать третьим пациентом и расписался в бумажке, которая снимала с глазного хирурга ответственность в случае неудачи.

Через полмесяца капитан-лейтенант с серебряной «лодочкой» на груди увидел свою фамилию в списке принятых на Классы — увидел правым глазом с дистанции, как он уверял, в один кабельтов.

В Северодаре он принял под начало ту самую подводную лодку — «четыреста десятую», на которую пришел «золушкой», командиром отсека. Первым делом он переманил к себе старпома с медведевской лодки — капитан-лейтенанта Симбирцева. «Два медведя в одной берлоге не живут», — заявил он командиру «сто пятой». Тот оценил каламбур: жить и служить в одном «прочном корпусе» с Симбирцевым ему было трудно. Медведев, крутой и скорый на острое слово, держался заповедей доброй старой школы: «корабль хороший — заслуга командира, корабль плохой — старпом дерьмо». Он был убежден, что командир должен прибывать на лодку лишь для того, чтобы отдать приказ «сбросить чалки». Симбирцев так не считали и потому охотно ушел к Абатурову.

Вторым офицером, которого Абатуров приглядел на стороне, был лучший механик соединения спокойный и обстоятельный белорус Михаил Мартопляс.

Замполита Абатуров не выбирал. Капитан-лейтенанта Башилова ему назначили.

В Северодаре ждали солнце. Его уже видели с подводных лодок, ходивших в отдаленные полигоны. В городе же небо с востока, юга и запада заслоняли сопки. Но с каждым утром зори разгорались за хребтом все ярче и ярче, все выше и выше вздымалось над горами алое огнище.

К празднику Встречи Солнца горожане готовились загодя. На Комендантской сопке разбили пестрый фанерный городок с бубличными лавками и самоварными теремами. Матросы с гауптвахты целую неделю возводили из снега потешную крепость. А посреди городка автокран поставил списанный перископный ствол высотой с добрый фонарный столб. С его макушки гарнизонные удалцы должны были снимать призы: портфель-«дипломат», электрический самовар, гитару и, наконец, клетку с военоторговским петухом.

Духовой оркестр разучивал «барыню», «цыганочку» и «яблочко». В женской парикмахерской лодочные электрики поставили три новых фена с теплым обдувом — салон красоты работал с предельной нагрузкой. Казалось, город забыл на время свое грозное ремесло. Но в дальнем углу гавани поблескивала свежим черным лаком остроспинная субмарина.

На плавпирсе у борта подводной лодки груда вещей, перетащенных из казармы и береговых баталерок: дыхательные аппараты — на каждого члена команды — в серых прорезиненных

ранцах; оранжевые спасательные жилеты; синие лодочные одеяла (зеленые — казарменные — останутся на базе до нашего возвращения); матросские вещевые мешки; офицерские чемоданчики; три обшарпанные, с подтеками эпоксидного клея гитары... Венчает эту гору походного скарба выдавшая виды швейная машинка, похожая на черную белку с колесом вместо хвоста. Я перехватываю хищный взгляд старпома: о, с каким бы наслаждением утопил бы он этот швейный агрегат, на котором вшито столько запретных клиньев в матросские клеша! Но на ней же, многострадальной «подолке», старший матрос Дуняшин строчит перед всевозможными смотрами и проверками новехонькие боевые номера, погончики и даже фирменные брезентовые рукавицы — инспектору на память. Только это и мирит старпома с присутствием на борту «дамского механизма».

У меня же вид швейной машинки поверх груды вещевых мешков вызывает уютное чувство общего скитальничества. Где мы только не выгружали наши лодочные пожитки, куда мы их только не перетаскивали — с берега в отсеки, из отсеков на плавбазы, с плавбаз на плавмастерские, на плавказармы. Плав, плав, плавсостав... И штурман в кают-компании жалуется своей оббитой в отсеках гитаре: *«Всегда мы уходим, когда над планетой бушует весна...»*

Динамик боевой трансляции рвет песню:

— Корабль к бою и походу приготовить!

«...и шагом неверным по лестницам шатким — спасения — нет...»

— Включить батарейные автоматы. Механизмы повернуть в электрическую, гидравлическую и воздухом.

«...лишь белые вербы, как белые сестры...»

— Проверка сигнализации и аварийного оповещения!

«...глядят тебе вслед...»

— Штурманило, кончай страдания! Почему боцман не замеряет осадку штевной?!

В дверях кают-компания, как в картинной раме, вырос тучный не по годам помощник Федя Руднев. Сегодня он — гроза и ярость. Сегодня из Ленинграда приезжает юная жена, а мы уходим на глубоководное погружение.

Жесткое слово — боеготовность. Готовность по первому звонку, по первой сирене, по первому командирскому слову, в какую бы сокровенную минуту оно тебя ни застало, все отстранить — надолго, порой на ощутимую часть жизни, а быть может, навсегда; готовность выйти в море, готовность принять бой, готовность победить...

Невидимый ураган проносится по нашим береговым делам: у штурмана завтра подходит очередь на долгожданный мебельный гарнитур «Юпитер». Помощник собирался ехать на вокзал — встречать жену. Боцман приглашен на свадьбу к брату. У Симбирцева заказан в ресторане столик на двоих. Мичман Фролов, старшина команды штурманских электриков, собирался на заключительный сеанс к заезжему косметологу — свести остатки вытатуированной на груди русалки. У меня горит двенадцатый том Достоевского — сегодня последний день выкупа...

Штурман будет качать «Юпитер» на зеркальце секстана, жена доберется до Северодара сама, оставив вещи в камере хранения белогорского вокзала, свадьба отгремит без боцмана, любимая женщина старпома простит сор-

ванный вечер, полное собрание сочинений останется без двенадцатого тома — все это, как говорится, житейские дела. Главное, что в назначенный час и в назначенном квадрате погрузится подводная лодка.

Субмарина вытягивает свое длинное тело из узкого просвета между стенкой и соседним корпусом — медленно, бесшумно, так выходит из ножен хорошо смазанный клинок.

Сначала мы погружаемся прямо в гавани, чтобы уравновесить лодку под водой, принимая балласт то в носовые, то в кормовые цистерны. Дифференцуемся на виду города и на виду гидрометеопоста.

Я навел зенитный перископ на гору Вестник. Сквозь угломерную сетку увидел потемневший от непогоды сруб, оплетенный паутиной антенн, и сигнальную мачту на месте сверженного креста. Алтарную апсиду прорезало панорамное окно. Мощные призмы перископа сумели приблизить его настолько, что стал различим и силуэт женщины с пушистыми волосами... Странно было видеть ее отсюда, из-под воды, из мира почти потустороннего. Я крал ее взглядом... Но тут боцман сработал рулями, и стекла перископа залила тусклая зелень глубины.

...Мы проходим сквозь россыпь судов, дрейфующих на внешнем рейде перед входом в залив. Сонные от томительного ожидания лоцманского катера, убаюканные мертвой зыбью, рефрижераторы и контейнеровозы, сухогрузы и танкеры при виде змеиного тела субмарины слегка вздрагивают и почтительно расступаются.

Все-таки морские суда, машинные существа, которые человек охотно наделяет душой, должны испытывать свои межвидовые приязни и неприязни. Я уверен: все танкеры питают друг к другу особую симпатию, как, к примеру, киты. А все надводные суда испытывают к подводным лодкам общеродовую ненависть, смешанную со страхом. Две мировые войны — достаточное основание подобному чувству.

Мы стоим на мостике, смотрим в разные стороны.

Настроение у всех приподнятое — вырвались на простор морской волны. «Любовь к морю, — шутит Симбирцев, — прививается невыносимой жизнью в базе». Думаю, он прав.

Ошеломительно горька жизнь начинающего «зама». Истинный смысл такой простой и такой понятной формулы: «Ты отвечаешь за все» — постигается на второй или третий день вступления в должность заместителя командира по политической части. Оказывается, ты действительно отвечаешь за «все» — в самом что ни на есть бездонном смысле этого коротенького слова. За все, что может уместиться в корпусе и на корпусе подводной лодки, за само положение этого корпуса в пространстве, то есть над водой и под водой; за людей экипажа, за их дела, слова и поступки — как на корабле, так и на берегу, на суше и на море, в отсеке и в квартире, в отпуске и в бою...

Ты отвечаешь за секретные документы и стрелковое оружие, за посуду личного состава и его эпидемическую безопасность, за своевременный просмотр кинофильмов и отправку писем, за теплые портянки и навигационные звезды.

Пункты обязанностей замполита простира-

ются в Корабельном уставе до двадцатой буквы алфавита, но к каждому из них можно дописать еще целый том комментариев и пояснений.

Поначалу это кажется неумным розыгрышем или злым сговором, когда каждый из вышестоящего над тобой великого множества командиров, начальников, флагманских специалистов, инструкторов, инспекторов, встретив тебя в городе или на причале, в Доме офицеров или в казарме, в штабе или на корабле, начинает выговаривать за твоих подчиненных и их дела, напоминать, указывать, предупреждать, требовать, страшать...

Флагманский штурман выпытывает у меня, почему не пришли на занятия по специальности рулевые-сигнальщики; флагврач сердится на нашего доктора, который все еще не заполнил слуховые паспорта на акустиков, посыльный из политотдела требует развернутый «анализ дисциплинарной практики» за прошедший месяц, проверяющий из флотской комиссии недоволен наглядной агитацией в кубрике, с кинобазы грозятся прекратить выдачу фильмов, если я не представлю выписку из вахтенного журнала об утоплении в прошлом году короба с кинокартиной «Афоня» при передаче с борта подводной лодки на плавбазу и выписку из приказа о наказании виновных, дежурный по соединению требует, чтобы выслали матросов счищать снег с закрепленного за нашей командой участка причального фронта — попробуй ему скажи: «Обратитесь к старпому. Мне сейчас некогда: я выполняю указание комсомольского инструктора по подбору трех певцов для подплавовского хора...»

А тут еще ворох грязного белья — белых сорочек, манжет, кашне, фуражечных чехлов...

И все это надо стирать и гладить, а ты живешь в каюте плавучей казармы, куда вода подается раз в сутки, и именно тогда, когда ты стоишь в строю на подъеме флага...

Первые выводы приходят вместе с первыми «фитилями»: ты — мальчик для битья, ты обречен жить между молотом и наковальней, ты вратарь, у которого сто ворот и в каждые грозит влететь мяч. Правила игры чудовищно несправедливы. Но сказать «я не играю» некому и поздно. Тогда хочется закричать: «Ну дайте же мне хоть немного времени, чтобы войти в курс дел!» Но никто не даст. Его просто нет ни у кого. Острейший дефицит. Море не ждет. Корабль должен прийти в точку погружения точно в срок...

Поначалу кажется невероятным и непостижимым, как из всех этих завихрений, накладок, дел, помех, суеты сбивается плотный войлок службы. А служба правится. В девятнадцать часов трещат малые барабаны и суточные наряды печатают шаг по причальной стенке. И заступают в караулы автоматчики в черных шинелях. И дымят трубы камбузов, невзирая ни на какие ураганы, тревоги, перешвартовки... И горнисты трубят поутру «Повестку», и ровно в восемь, едва отзвучат над гаванью позывные «Маяка», взлетают над острыми хвостами субмарин флаги.

Три стихии — взаимоналоженных и смазывающих картину уставного порядка — противостоят тебе: стихия людей, стихия машин и стихия моря вкупе с коварной погодой Заполярья.

Если у тебя, к примеру, сто подчиненных и за каждым из них по-человечески признать право на нервы, ошибки, срывы — хотя бы по одному проступку в месяц при самой добросо-

вестной службе в остальные двадцать девять дней, то и тогда набегает по три чрезвычайных происшествия в сутки.

Стихия машин. На лодке их столько, что ежедневно — просто по естественному износу — может что-то выйти из строя, ежедневно надо что-то менять, проводить регламентные работы. Обилие приборов породило термин, который до сих пор применялся только к живым организмам — «несовместимость»; «электронная несовместимость приборов». Количество собранных в прочном корпусе механизмов перешло в некое надмашинное качество, аналогичное психике.

Стихия океана путает наши карты даже тогда, когда экипаж пребывает на берегу. Их давно уже перестали клясть, эти бесчисленные «ветры-раз» и «ветры-два», по объявлению которых надо бросать все дела и спешить на подводную лодку.

Наконец, стихия собственной души и ее страстей. В таких условиях ты не имеешь права на капризы, хандру, забывчивость, несправедливость... А это, как известно, труднейшая из задач — владеть самим собой.

Мир хаоса, порожденного игрой всех этих стихий, открывается перед замом-новичком — с одной стороны; с другой — он предстает четко разлинованным миром инструкций, директив, приказов, наставлений, положений, уставов, извлечений, рекомендаций...

Перебирая вороха бумаг, понимаешь, что не ты первый, кто содрогнулся от бесформенности мира случайности и вероятности; что и до тебя ломали головы тысячи мудрых и не очень мудрых людей, которые соткали всю эту сеть из параграфов и граф, чтобы обуздать вселенский

хаос, придать ему подобие порядка, симметрии, логики. Поколениями флотских умов придумана довольно надежная защита корабельной жизни от помех внешних и внутренних. Она изложена в «Книге корабельных расписаний», в которой вот уже сколько веков подряд меняются только названия механизмов да связанных с ними работ. Да еще орфография. «Расписание нижних чиновъ 120-ти пушечного фрегата» по смыслу и сути почти ничем не отличается от «Книги корабельных расписаний большой дизель-электрической подводной лодки». И в том, и в другом документе детально расписано, кому, где, когда и что делать. «Расписание поднять брамъ-стенги, брамъ- и бомъ- брамъ-рен», «Расписание мыть палубы», «Расписание чистить мѣдныя и жылезныя вещи, и укладывать снасти».

«Расписание обязанностей по заведованиям при срочном погружении», «... при ходе под перископом», «... при покладке на грунт».

«Матросы нумера коекъ 113 и 106 черпають воду для шкафутовъ; матросы нумера коек 349 и 350 моють шкафутные комингсы и решетчатые люки». «Матрос боевой номер... на большой приборке моет с мылом крашенные части верхнего и нижнего рубочных люков; матрос боевой номер... протирает распредшит № 2 и контакторные коробки №№ ...». И так везде и во всем. Предусмотрено все: кто за что и в какой степени отвечает, кто кому и в какой мере подчиняется...

О, если бы не подтачивали военно-морской порядок людские страсти, пороки, амбиции, эмоции!.. Но это все равно что мечтать: о, если бы не было в мире трения, тогда бы построили вечный двигатель!

Из рубочного люка, тяжело пыхтя, выбрался на мостик разъяренный помощник.

— Ну, мех!.. За такие шутки!..

Лучше бы он не жаловался на свою судьбу! Оказывается, Руднев для борьбы с авитаминозом завел у себя в каюте с дюжину съедобных кактусов-опунций. Они стояли у него на самодельной полке без бортика. Толстый Федя спал, по обычаю, нагишом, когда в борт поддала волна и колючие лепехи посыпались на кактусоеда. На вопль боли и отчаяния подоспел сосед-механик. Он помог Феде освободиться от заноз, но множество невидимых колючих ворсинок рассеялись по всему телу и давали о себе знать при любом прикосновении. Мартопляс посоветовал сбрить их электробритвой. Но после пробных галсов по спине выяснилось, что машинка не берет проклятые ворсинки, а только загоняет их глубже в кожу. Метод быстрого опаливания паяльной лампой помощник отверг. Однако инженерная мысль работала безостановочно. Смазав пораженный палец синтетическим клеем и отодрав подсохшую пленку, механик добился положительного эффекта — палец перестал зудеть. Не долго думая, Федя с помощью меха намазал опасительным клеем руки, грудь, плечи, покрытые густой растительностью. Насколько хорошо полимерная пленка сцепляется с шерстью, Федя и Мартопляс убедились очень скоро.

Абатуров поднялся на мостик в меховой куртке, кожаной шапке и валенках с галошами. Свежий норд-ост продувал и «канадку», и шап-

ку сквозь швы, так что пришлось пожалеть, что толстый шерстяной свитер из аварийного комплекта остался в каюте под подушкой. Абатуров принял от старпома командирскую вахту и отпустил иззябшего Симбирцева вниз, в машинную теплынь центрального поста.

Еще не рассвело, а уже смеркалось. Против закатной полосы стояла луна, розовая от догорающего дня. Под луной переваливался в волнах длинный черный нос субмарины с розовым же оскалом акустического излучателя. Абатуров смотрел с высоты рубки, как по черному лаку корпуса пробегают водяные затоки. Все это он видел в сотый, если не в тысячный раз...

Море, море... Вечно живое и вечно шумливое, да разве можешь ты быть могилой?

Утром перед выходом Абатуров нашел в центральном посту газету, забытую замом на конторке вахтенного офицера. Пробежал шапку — «Бессмертный экипаж. Сорок лет пролежала на дне советская подводная лодка». Всколотнулось сердце: может, отцовскую «щуку» нашли? Нет, черноморскую. Батя погиб здесь, на Севере, в конце войны, где-то за Нордкапом.

И раньше, и позже, и всегда, когда Абатуров надевал гидроакустические наушники, вслушивался во вздохи океанской пучины, в ее вои, всхлипы, бормотанье, ему казалось, что из клубка разнородных звуков вот-вот прорвется и отцовский голос... Океан не могила. Океан — великое таинство. И кто знает, на что он способен?

— Товарищ командир! — прохрипел динамик. — Пересекли южную границу глубоководного полигона.

— Есть, штурман. Надстройку и мостик к погружению приготовить! Кто там курит? Всем вниз!

Пора обходить боевые посты. Это моя святая обязанность. Потом, после ревуна тревоги, когда все лодочные переборки глухо замкнут свои водонепроницаемые люки и двери, этого уже не сделаешь.

Постов много. От носа до кормы они разбросаны по рубкам, трюмам, выгородкам... Опускаться в стылую тишь предельной глубины наедине с прибором, механизмом — тут и бывало му дяде заползет холодок в душу. А тут у пультов, экранов, вентилей сидят вчерашние школяры. Какими словами скрасить им эти минуты?

С некоторых пор мне неприятно смотреть на отверстия, из которых поднимается вода — будь то слив ванны, решетка переполненного уличного водостока или шпигат на мостике субмарины.

А после вчерашнего представления гибели «Трешера» в лицах — Симбирцев весьма натурально скопировал голос американского штурмана: «Отвечайте! Отвечайте, ради бога!» — на душе и вовсе гадко.

Сегодня понедельник и точная дата гибели «Трешера» — десятое апреля. Утром на руке остановились часы. Вчера в кормовом отсеке разбили аварийным брусом зеркало. Целый букет дурных предзнаменований. Чайки как-то странно вели себя: обрывали свой полет, взмывая над нашей рубкой круто вверх... Может, предчувствуют что-то?

У многих сейчас в голове наверняка подоб-

ные же мысли. Легко посмеиваться над приметами, сидя на берегу...

Утром в кают-компании старпом цыкнул на лейтенанта Симакова, подвывавшего под гитару «Не везет мне в смерти, повезет в любви!»...

Командир хмурится, волком смотрит...

Я иду в отсеки.

У носовых торпедных аппаратов меня встречает минер-лейтенант Симаков — разбитной неунывающий ленинградец. В старину таких называли бретерами и щеголями. Симаков гордо носит титул «первой фуражки экипажа». На нем нет ничего казенного, полученного со склада. Все сшито, сработано, стачано руками мастеров по последним канонам флотской моды. Даже звездочки на погонах и те выпилены на особь — питерский — манер.

Когда я перевелся на лодку, первый, кого я встретил на корабле, был он — «первая фуражка», лейтенант Симаков. За четверть часа до построения, на котором командир должен был представить меня команде, Симаков взялся придать моему головному убору истинно флотский вид. Он быстро стянул белый чехол и лихо откромсал ножницами марлевые поля, затем обрезал подлобник тульи, выковырял весь ватин и со сноровкой заправского портного стал приметывать к вершине огузка стальной обруч.

— Сшит колпак не по-колпаковски, — приговаривал он при этом, — надо колпак перевыколпаковать...

Но тут Симакова срочно вызвал старпом, и я остался наедине со своим недовыколпаченным колпаком. Я попытался натянуть чехол на распорный обруч. Не тут-то было! Гибкое стальное кольцо никак не хотело влезать ни в чехол, ни в фуражку.

Когда мне удалось впихнуть его наконец внутрь околыша, команда уже строилась на причале. Верх фуражки являл, к моему ужасу, выпукло-вогнутую поверхность римановской геометрии. Я попробовал перевести его в эвклидову плоскость: обруч вынулся, и фуражка превратилась в изящную бонбоньерку.

По коридору раздавались шаги командира, а я все пытался вернуть моему головному убору былую уставную форму.

Фуражка с непостижимой быстротой превращалась в драгунский кивер, в кармелитскую панаму, в конфедератку польского гусара, в шаманский бубен, в академическую ермолку, в пальцы вышивальщицы, в картуз деревенского гармониста, в берет карточного валета...

— Алексей Сергеевич! — крикнул из коридора командир. — Пора на причал. Команда построена.

— Да-да. Иду. Поправлю только чехол.

Мог ли я признаться ему, что впервые в жизни занимаюсь столь коварным делом.

Я остановил свой выбор на жалком подобии нахимовской фуражки, в какой обычно щеголяют новоиспеченные лейтенанты — тулья залихватски заломлена, задник приподнят кверху, — нахлобучил головной убор набекрень и догнал Абатурова.

Оставалось утешаться тем, что хоть и встречают по одежке, но проводы еще не скоро.

На голове Симакова и теперь сидит пижонская, ушитая на особый манер пилотка. Под черным ее обрезом весело поблескивают глаза пересмешника. Симаков из тех людей, что всегда пребывают в отличном расположении духа.

— ...Первый отсек к глубоководному погру-

жению готов! — радостно сообщает лейтенант. — Полиморсос личного состава высокий!

— Это что еще за «полиморсос»? — Игривость тона мне не нравится. Я стараюсь придать голосу должную строгость, хотя всерьез сердиться на Симакова невозможно.

— Политико-моральное состояние, — поправляется веселый минер, — высокое. Смотрите, чем занят личный состав!

В промежутке между боеголовками стеллажных (запасных) торпед и задними крышками торпедных аппаратов стрекотала швейная машинка: матрос Дуняшин прострачивал новенький вымпел «Лучшему отсеку».

Дуняшин круглолиц и добродушен. Шить на машинке его учила мама — портниха из Измаила. По специальности он трюмный, но его боевой пост расположен здесь же, в носовом торпедном отсеке. Трудно поверить, что в этой стальной капсуле, тупо-округлой, как гигантский наперсток, есть еще какие-то обитаемые закоулки. Но в палубе отсека прорезан небольшой квадратный лаз, а в нем коротенький трапик ведет в тесную трюмную выгородку с помпой и баллонами станции химического тушения — ЛОХ. Дуняшин — оператор этой станции и потому зовет себя в шутку «лохнесским змеем». Лохнесский змей любит свою «шхеру», передвигаться по которой можно только на корточках. Это один из немногих боевых постов, где человеку даровано одиночество, столь редкое в стоглазой лодочной буче. Но в критических ситуациях все-таки лучше быть на миру...

В носовой трюмной выгородке с «персональным» плафоном и брезентовым подкладником, спасающим сидящего от холода забортных глубин, матрос Дуняшин хранит нехитрые свои по-

житки: коробку с пайковыми шоколадками, деревянный ящичек из-под запчастей (подарок акустика-земляка) с набором машинных игл, якоренных пуговиц, с моточком дефицитного золоченого галуна для будущих старшинских лычек. Механик обещал уволить в запас старшиной второй статьи за ударную переборку помпы... Но самое главное сокровище было упаковано в пластиковый пакет от консервированного хлеба: «дембельский альбом». Алюю плюшевую обложку украшает репсовая ленточка с вызолоченной на заказ в мастерской ритуальных принадлежностей вязью — «Подводные силы ВМФ». Раньше такие надписи носили на бескозырках. Теперь же все матросы — независимо от того, подводники они или надводники, североморцы или тихоокеанцы — носят один и тот же трафарет: «Военно-морской флот».

Титульный лист открывает овальный портрет Дуняшина в форме первого срока и уже со старшинскими погончиками. Под портретом красной тушью выведен афоризм капитан-лейтенанта-инженера Мартопляса: «Наш бог — ГОН и ЛОХ». ГОН — это главный осушительный насос, который тоже находится в ведении трюмных. Лейтмотив альбома: «Трюмные — главные люди на подводной лодке, а матрос Дуняшин — «суперстар» команды трюмных». Назначение альбома — сразить наповал сухопутных земляков.

Дуняшин опасливо следит за тем, как я листаю альбом. Попробуй угадай, что у зама на уме? Придерется к чему-нибудь и — отберет.

Я возвращаю ему альбом. Лохнесский змей облегченно вздыхает.

— Помпу починил? — вспоминаю я симбирцевское «прилег вздремнуть я у клинкета».

— В строю помпа.
— Матери пишешь?
— Так точно.
— Когда последнее письмо отправил?
Дуняшин крепко задумывается.
— Все ясно... А потом я получаю от родителей телеграммы «Срочно сообщите о судьбе нашего сына!».
— Моя не такая... Она спокойная.
Протяжный клекот ревуна прерывает нашу беседу. Вышли в точку глубоководного погружения. Тревога!
Спешу в центральный пост.

3

Командир опускает толстенную крышку люка, выкрашенную снизу в сине-желтую полосу. Последние солнечные блики еще скользят по трубе шахты. Все. Тяжелая литая крышка легла на комингс, обрубив солнечные лучи.

С коротким хриплым ревом врывается в цистерны вода.

Абатуров нажимает тумблер на пульте громкой связи:

— Вниманию экипажа! Еще раз напоминаю об особой бдительности несения вахт. Погружаемся на предельную глубину. Слушать в отсеках!

Слушать, не шипит ли где просочившаяся вода, не капает ли из сальников... Остановлены все шумящие и не нужные сию минуту механизмы, батарейные и отсечные вентиляторы.

Лодка уходит к предельной отметке, не сразу, а как бы по ступеням, выжидая на каждой некое время, чтобы в отсеках могли осмотреться.

— Погружаемся на... — называет трехзначную цифру командир. — Открыть двери во всех помещениях.

Деревянные двери кают и рубок должны быть раскрыты, чтобы обжатие корпуса на большой глубине не выдавило их из косяков. Демонстрируя молодым матросам, как действует сила обжатия, доктор натянул поперек жилого отсека нить. Когда лодка пойдет на всплытие, стальные бока ее, слегка расходясь после деформации, разорвут нить.

Новички с робостью поглядывают на отсечные глубиномеры, стрелки которых ушли столь непривычно далеко. И стылая тишина, кажется, давит на уши с каждым метром погружения все сильнее и сильнее. Только поскрипывает корабельное дерево, потрескивает металл да изредка бросит вахтенный в микрофон: «Центральный, отсек осмотрен, замечаний нет!»

Абатуров не отрывает взгляда от шкалы эхолота. После глубиномеров сейчас это самый важный прибор. Огненный высверк методично отбивает расстояние до грунта, до дна каньона: 70 метров, 60, 50... Вдруг отметка выскакивает на цифре «20». Что это?! Вершина подводной горы? Провал в слой с меньшей соленостью?.. Стрелка глубиномера движется по-прежнему плавно. Значит, выступ рельефа дна. Следующие секунды подтверждают догадку: под килем проплыла вершина не помеченной на карте возвышенности.

Палуба-пол отсека слегка уходит из-под ног с уклоном вперед, на нос; подводная лодка продолжает погружение. Стрелка глубиномера подбирается наконец к той предельной отметке, за которой шкала заклеена черной бумагой. На такую глубину подводный корабль может за-

бросить лишь крайняя нужда. Но теперь командир будет знать: в погоне за военным счастьем он может смело уходить сюда, на грань небытия; его не подведут ни прочный корпус, ни люди в отсеках...

На предельной глубине лодка движется, как канатоходец по проволоке. Не сорвись, родимая!

Я вглядываюсь в такие знакомые лица... Они все в тех же ракурсах, все так же падают на них блики и тени, как и месяц, и год тому назад. Каждый стоит на штатном своем месте в позе почти неизменной. Симбирцев застыл у пульта связи с отсеками, покусывая острый ус. Буйный и шумный, не часто видишь его таким самоуглубленным. Абатуров не сводит глаз с эхолота. Сейчас он Антиантей. Если сын Геи в трудную минуту стремился коснуться земли, то командир больше всего боится касания грунта. Коснешься грунта — навигационное происшествие — прощай, академия. Отстранят от поступления в этом году, в следующем будет поздно — возрастной ценз. Плакали адмиральские звезды...

Вход в штурманскую рубку загромодила могучая спина Феди-помощника. В глубине среднего прохода присел на аварийный брус инженер-механик Мартопляс. В руках у него логарифмическая линейка, которую иным в такие минуты заменяют четки...

В центральном посту стоит плотная тишина глубины, испещренная зуммерами, жужжанием приборов, звонками...

Что там вокруг нас? Залежи коварного ила, присасывающего так, что никакими электромоторами не оторваться? Каменные баррикады, навороченные подводными вулканами? Может, заросли гордоний — фантастический лес древовидных полипов? Да откуда они в Баренцевом

море? Вчера акустик слышал, как киты разбивают спинами тонкий лед, чтобы взять воздух.

Глухой железный удар доносится из-за борта. Командир вскидывается:

— Мех, что это?

Но Мартопляс и сам бы хотел знать, что это там громынуло.

— Может быть, клапан вентиляции открылся... Или воздух вышел.

Еще один удар — загадочный, заунывный, зловещий. Старпом придвинулся к микрофону:

— Не слышу докладов о прослушивании удара! По какому борту удар? Слушать в отсеках!

Палуба леденит пятки сквозь тонкие подошвы ботинок. Вот он — могильный холод глубины.

Петушиный вопль вызывного сигнала. Симбирцев щелкнул тумблером первого отсека, и в ту же секунду в тишь центрального ворвался рев, вой, скрежет. Затем срывающийся голос Симакова:

— ...ный!.. Пробоина в районе ...дцатого шпангоу...

Шипение. Грохот.

Взгляд на глубиномер. Рогатая стрелка черна и беспощадна.

— Боцман, рули на всплытие! Электромоторы полный вперед! Пузырь на нос!!!

Командир вскочил с кресла. Механик, не теряя времени на команды, бросился к воздушным колонкам и сам рванул маховик вентиля.

Как странно кружились чайки над рубкой... Конец? Неужели так же было и на «Трешере»? А Королева? Я больше ее не увижу?

...Наш бог — ГОН и ЛОХ...

Симбирцев хладнокровно запрашивает отсек:

— Первый! Доложите, где пробоина?

— Центральный!..— голос Симакова тонет в грохоте и реве.— Ничего не видно... Туман... Похоже, из-под настила бьет?

— Обесточьте отсек!

Пробоина снизу — это лучший тип пробоины. Самое меньшее зло... Под подволоком возникнет воздушная подушка, она приостановит затопление.

Стрелка глубиномера замерла в томительном раздумье: куда ползти — за черную бумагу или в обратную сторону, вверх, к спасительному, круглому, полному жизни нулю. Вот они, весы Судьбы.

Нужны секунды, чтобы моторы набрали полную мощность, чтобы лодка разогналась до той скорости, когда под крыльями рулей, под корпусом оживет гидродинамическая подъемная сила.

И-раз, и-два, и-три...

Нос тяжелеет. Дифферент растет. Пузырек в стеклянной дуге прибора уходит все дальше и дальше от вершины.

Что там в первом? Струя, врывающаяся под большим давлением, распыляется, и отсек сразу завлакивает туманом... Какое сейчас лицо у Симакова? Совершенно не могу представить его улыбчивую, насмешливую «физию» испуганной, озадаченной даже в такую минуту.

— Симаков! — осеняет вдруг Симбирцева.— Проверьте, не вырвало ли футшток дифферентной цистерны?

Эта догадка стоит тех секунд, которые решают: быть или не быть.

Футшток — медная линейка, которой измеряют уровень воды в дифферентной цистерне. Он крепится на резьбовой пробке. И если ее не завернуть до конца, то...

— Центральный, вывало футшток.. Отверстие забили чопом.

И самая радостная весть, какую мне когда-либо приходилось слышать,— доклад боцмана:

— Дифферент отходит... Лодка медленно всплывает.

Мичман Белохатко верев себе: невозмутим, будто все происходит на перископной глубине.

Всплыли.

Отбой аварийной тревоги. Трюм первого отсека осушили. Нашли и «автора фонтана», как определил Дуняшина вымокший до нитки лейтенант Симаков. Футшток в носовой дифферентной цистерне — его заведование. Не завернул пробку до конца.

— Жило у матери три сына,— отжимает китель лейтенант Симаков,— один умный, другой так себе, а третий — трюмный... Змей ты лохнесский и есть! Уволить тебя в запас без права показа по телевидению,— беззлобно выговаривает герой дня. Это ему удалось-таки забить чоп — круглый деревянный клин — в отверстие футштока.

На Дуняшине лица нет. Похоже, что ему не только старшинских погон не видать, но и единственную лычку спороть придется. Даже жаль его — хороший парень. «На флоте нет такой должности!» — любит повторять старпом насчет «хороших парней». И наверное, он прав.

В полдень всплыли «под рубку». Командир отдраивает люки — нижний, верхний — и первым выбирается на мостик. До его распоряжения никто не смеет подняться наверх.

В шахту центрального поста падают соленые капли, срываясь с мокрого подволока рубочного ограждения. Капли не торопясь пересекают на своем лету солнечный луч, вспыхи-

вают и подлетают к нам, стоящим на настиле центрального поста, уже освещенными прикосновением к светилу.

4

Ночью, ворочаясь на скрипучей койке плавучей казармы, Костя Марфин тихо холодел при мысли, что вот уже скоро как сутки могло не быть его на белом свете. До него только сейчас стало доходить, что случилось и чем могло кончиться происшествие с выбитым футштоком. Запоздалый страх гнал сон и взывал к мысли, что хорошо бы приискать себе место на берегу. Ведь и на береговом камбузе — что на офицерском, что на матросском — требовались коки. Но в таком случае терялись подводные, и МДД — морское денежное довольствие, и будущая «валюта», то есть бонны, которые грезились и вовсе волшебными бумажками.

Надо было решать и с семейством. Перед отъездом в мичманскую школу Костя сказал Ирине, что завербовался на стройку в Заполярье. Но обман недавно раскрылся — сболтнул кто-то из шоферов, бывших сокурсников по автошколе, — и вот теперь, наслышавшись про вольное моряцкое житье, Ирина грозит прикатить в Северодар со всей ребятней, и надо искать жилье; квартиру обещали через год. А какое оно, это вольное житье, известно — то перешвартовка, то якорные сборы, то штормовая готовность, то химическая тревога, то строевой смотр — в баню сходить некогда. Привязан к лодке, как телок к колышку.

...Квартирными своими заботами Костя поделился с сослуживцем — старшиной команды трюмных мичманом Лесных — в обиходе мичма-

ном Ых — человеком немолодым, семейным и душевным. Очень скоро мичман Ых подыскал комнату в финском домике, жилец которой, мичман-торпедист, уходил в автономное плавание. Вторую комнату занимал сосед — красавец лейтенант, холостяк, дирижер гарнизонного оркестра. И хотя столь щекотливое соседство слегка настораживало — Ирина, несмотря на свое двудетное материнство, все еще была хороша, — выбирать не приходилось, и Костя отбил радостную телеграмму: «Приезжай!»

У англичан есть поговорка: «От соленой воды не простужаются». Простужаются. Заболел. В голове мерный ткацкий шум. Глазам жарко от пылающих век. Сердце выстукивает бешеную румбу.

Я возвращаюсь из офицерского патруля. И надо было бы спуститься в гавань, разыскать у причалов лодку, сдать «заручное оружие» — пистолет — дежурному по кораблю, а затем снова подниматься в город... Но рядом дом, и я захожу напиться чая.

Прилег не раздеваясь — холодно. Радиатор паровой батареи пребывает в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Ребристая железная глыба леденит спину. Из теплоизлучателя она, похоже, превратилась в теплопоглотитель и втягивает в себя последние остатки тепла.

За стеной соседка баюкает дочку. Пробую уснуть под ее колыбельную. Девочка кричит.

Который год я слышу беспрестанные детские крики: в купе, из гостиничного номера, из комнат соседей. Будто вечный младенец растет рядом со мной.

Соседка забывает закрывать на кухне кран. Ей невдомек, как тревожит меня этот звук — каплюющей ли, журчащей, ревущей воды.

Встаю. Закручиваю кран. Заодно стучусь к соседям — нет ли анальгина? Наташа перерыла домашнюю аптечку, не нашла ничего путного и побежала куда-то за таблетками. Я возвращаюсь к себе, накрываюсь шинелью с головой и понимаю, что до утра уже не встану и никуда на ночь глядя не пойду...

Ветер старательно выл на одной ноте, меланхолически переходя на другую, третью... У переливчатого воя была своя мелодия — тоскливая, зимняя, бесконечная.

Лицо пылало, и хотелось зарыться им в снег, но снег лежал за окном... Я расстегнул кобуру и положил на лоб настывшийся на морозе пистолет. Ледяной металл приятно охлаждал кожу, а когда он нагрелся с одной стороны, я перевернул на другую...

В дверь постучали, и на пороге возникла — я глазам своим не поверил — Людмила. Я быстро сунул пистолет под подушку.

— Заболел? — она тронула мой лоб. Ладонь ее после мертвенной стали показалась целебной и легкой, как лист подорожника. Восхитительная прохлада разлилась по лбу, и если бы она провела пальцами по щекам, то и они, наверное, перестали гореть. Но вместо этого она захрустела целлофаном, извлекая из облатки большую белую таблетку анальгина. Значит, это к ней бегала Наташа. Потом она подогрела чай, принесла баночку малины, и мне захотелось плакать от малинового запаха детства, повеявшего из горячей чашки.

Ночью был бред. Будто московский памятник Минину и Пожарскому воздвигли у нас на

пятом причале и дежурный по живучести кричит: «Минин и Пожарский! Минин и Пожарский!» И я с ужасом понимаю, что кричит он о том, что у нас в кормовом отсеке пожар и горят мины. И вижу, как зловеще зажглись на рубке ошвартованной лодки ходовые огни: красный и зеленый — знак беды. А потом стало смешно: ну разве может на светофоре гореть красный и зеленый одновременно?!

Утром пришел лодочный доктор, капитан Андреев. Для солидности он надел поверх кителя белый халат. Док принес лекарства, освобождение на три дня и ушел, захватив мой пистолет на лодку. А вечером на огонек заглянула она. Я ждал ее, знал, чувствовал — она придет. Я почти выздоровел, потому что болезнь моя перегорела в этом томительном и радостном ожидании.

Я переоделся в единственный свой гражданский костюм, повязал галстук, и после старого лодочного кителя, из которого не вылезал почти всю осень, показался себе донельзя элегантным, пока не пришла она и ласково не высмеяла мой наряд, вышедший из моды лет пять назад.

Она принесла пакет яблок, а я приготовил что-то вроде ужина из баночного кальмара, морской капусты и чая с консервированным лодочным сыром. Королева присела за ободранный казенный стол, накрытый вместо скатерти чистой «разовой» простыней, и комната — моя чудовищная комната со щелями в рамах, с тараканьими тропами за отставшими обоями, с играющими половицами и голой лампочкой на перекрученном шнуре — превратилась в уютнейший дом, из которого никуда не хотелось уходить и в котором можно было бы прожить

век — сиди напротив эта женщина с цветочными глазами.

После охоты за ее взглядами там, в гостях, на людях, ловли ее фраз, обращенных к тебе, после борьбы за минуты ее внимания вдруг становишься обладателем несметного богатства — целых три часа ее жизни принадлежат тебе безраздельно. Они твои и ее.

Ветры проносились впритирку к оконным стеклам — шумно и мощно, словно локомотивы, глуша на минуту все звуки и сотрясая все вещи.

Она чистила яблоко, разгрызала коричневые семечки — ей нравился их вкус — и рассказывала про родной город, где родилась и выросла, — про камчатский Питер, Петропавловск, про долину гейзеров, про вулканы с гранеными горлами, про корейцев, торгующих на рынке маньчжурскими орехами, огородной зеленью и жгучей капустой «чим-чим». Она рассказывала это не столько для меня, сколько для себя, вспоминала вслух, забыв, где она и с кем она... Я готов был слушать ее до утра, ничем не выдавая своего присутствия, и, похоже, она ушла к себе действительно под утро, за час до того, как горнисты в гавани завели певучую «Повестку»...

...На другой вечер она снова пришла ко мне, и снова на горячем моем лбу остался ледяной след ее пальцев. И я играл ей на гитаре, и стекла в рамах гудели, словно туго натянутые полотнища. Стекланные бубны и гитарные струны звенели заодно.

Так было и на следующий день, хотя я и вышел на службу, но вечером всеми правдами и неправдами мне удалось к ее приходу быть дома. По счастью, подводная лодка не спешила

в море, корабль прочно стоял у стенки судоремонтной мастерской, и наши ночные посиделки продолжались по-прежнему: чай, свеча, гитара, ветер...

Я разучился спать, точнее, научился добирать необходимые для мозга часы покоя на скучных совещаниях, в паузах между делами, прикорнув в каюте до первого стука в дверь.

Команда сразу чувствует, что в жизни того или иного офицера появилась женщина. Женщины похищают лейтенантов из стальных плавающих монастырей. Похищенный виден сразу — по туманному взору, по неумеренному щегольству в одежде, по стремлению вырваться на берег при первом же случае.

Команда тут же ощущает, кто из начальников похищен. На этот раз похищен я...

Что приводило ее ко мне? Скука зимних вечеров? Близость наших дверей — когда так просто прийти в гости: не надо собираться, выходить на улицу, возвращаться в темноте — спустилась этажом ниже, и благодарный слушатель твоих воспоминаний ждет тебя? Я и вправду любил ее слушать: она рассказывала не спеша, чуть запрокинув голову, глядя поверх всего на свете... В такие минуты из Королевы Северодара, одним лишь словом срезавшей записных сердцеедов, она превращалась в большеглазую девчонку, доверчивую и беззащитную.

И однажды случилось то, что уже не могло не случиться. Под переливчатый свист пурги я отложил гитару, задул свечу и зарылся лицом в ее холодные душистые волосы.

Морской ветер бился в окно с разлета — зло, коротко, сильно, будто выхлестывал из пушечных жерл. Стены вздрагивали, точно дом был не щитовой, а картонный...

...Как нежить исчезает с первым криком пехоты, так исчезаю и я с первым звуком сигнала «Повестка». Корабельный горнист трубит его за четверть часа до подъема флага. За эти минуты я успеваю вскочить, умыться, застегнуть на бегу шинель и встать в строй вовремя. Стою на скользком обледенелом корпусе, за рубкой, на правом фланге офицерской шеренги: слева плечо Симбирцева, справа — Абатурова. Ищу в созвездиях городских огней ее окно. Оно совсем рядом. По прямой нас разделяют каких-нибудь полтора шага. Но эта прямая перечеркнута трижды: тросом лодочного леера, кромкой причала и колючей проволокой гаваньской ограды.

Причальный фронт делит мир на две части: на дома и корабли. Дома истекают светом, словно соты медом. Лодки черны и темны. Этажи горят малиновыми, янтарными, зеленоватыми фонарями окон. В колодцах рубочных люков тускло брезжит дежурное освещение. Комнаты — мягкая мебель, книги, кофе, шлепанцы, стереомузыка... Отсеки — стальные котлы, узкие лазы, тесные тропы, звонки учебных пожарных тревог, прокрустово ложе каютного диванчика... И все это в немыслимой близости, как грани одного куба.

«Все здесь за-мер-ло до ут-ра...» — пропели радиопозывные «Маяка». И тут же на всю гавань грянул мегафонный бас:

— На флаг и гюйс — смирно!

Над огнями и дымами города меж промерзших скал заметалась медная скороговорка горна. Горн прокурлыкал бодро и весело, словно пастуший рожок, созывающий стадо. «Стадо» — угрюмое, лобастое, желтоглазое — расплзлось

по черной воде гавани; «стадо чешет» округлые бока о ряжи пирсов и причалов...

Кажется, я понял простую формулу мужского счастья: знать в трудном и опасном деле, что тебя ждет любимая женщина, приходить к ней, припадать к милым коленям, а утром снова уходить, не привыкая к теплу и неге.

8

К весне в Императрицынской гавани становится тесно. Из дальних морей и фиордов собрались к родным причалам черные змеи подводных лодок. Они сбились в стаю, словно угри, готовясь к долгому переходу в теплые моря...

Вопли чаек. Рыдание гармошки. Мерный дробот матросских сапог. Строй в бушлатах, в шинелях, в пилотках марширует по доскам причала. Лейтенант-строеводец налегке, в кительке и в обмятой — «грибом» — фуражке, шагает сбоку, ежась на свежем морском ветру. На крепких скулах матросов, на мальчишеском лице офицера ярые блики марта. Непривычное солнце — ох, долга ты, полярная ночь! — пляшет на горных снегах Императрицынского острова, на красных глыбах гранита, пересверкивает на зеленой ряби воды, греет черные лбы рубок и слепяще горит на блескучем титане носовых «бульб». Лодки, черно-красные, как паровозы, сипят и попыхивают зимогрейным паром.

У!

У!!

У!! — басит чей-то тифон. И что-то перронное, щемяще дорожное закрадывается в душу: в путь, в путь, в путь... Туда, за синий поворот залива, за боновые ворота, за крутой бок острова — откуда приносят норд-весты бодрящий

холодок ледяных полей Студеного океана и где под закатной багровой дугой тяжело перекачивается мертвая зыбь туманной Атлантики.

Ночь. На причале клубок моторных ревов. Наша лодка бьет зарядку аккумуляторной батареи. Выхлопы дизелей туги и гулки, как быстрые удары в турецкий барабан. Рядом ревет автокран. Сверху — с неба, из-под льдистых полярных звезд, — истошный вой ночного ракетно-носца. Торопливые сполохи сварки. Синие электромолнии, словно театральные мигалки, выхватывают из темноты разрозненные фазы движений, и оттого все вокруг лихорадочно скачет, пляшет, дергается: матросы, бегущие по причалу, торпеда, скользящая по лотку, огни, летящие над морем.

В грохоте, рокоте, вспышках вдруг остро ощущаешь: и там, по ту сторону океана, спешат точно так же. Мы должны выйти к далекому меридиану, на котором сойдутся наши корабли, как в старину съезжались и разъезжались на засечной черте дозоры враждебных войск.

Пусть знают: к дуэльному барьеру мы не опоздаем... Мы готовы.

Ирина приехала без детей, оставив их на попечение матери, но зато со всеми нехитрыми пожитками. Малое новоселье справляли вчетвером: Костя с Ириной и Степан Трофимович Лесных с супругой — веселой хохлушкой, не помнящей лет. Пили молдавский коньяк «Калараш», что принесли с собой гости, а потом голосили, к великому терзанию соседа-музыканта, «Вологду-гду» и «Ой вы, очи волошковы».

После полуночи подвалили завскладом автономного пайка мичман Юра с женой Наташей.

О времени в Северодаре понятие особое. Здесь не знают слова «поздно», и сон здесь не в чести. Можно в глухую полночь заявиться в гости, и никто не сочтет это дурным тоном. «Человек уходит в море», «человек вернулся с моря» — только это определяет рамки времени, а не жалкая цифирь суток.

Сегодня друг на берегу, сегодня друг дома, значит, у друга праздник, и ты идешь делить его с ним, не глядя на часы... Так живет плавсостав, и так живет весь город.

Север Ирине понравился: «Жаль, что смородина не растет. А так — жить можно...»

На другой день Костя купил мечту жизни — телевизор с ножками. Аппарат в военторговском магазине выбирал мичман Голицын. Уж он в этих делах дока — институт кончал. Телевизор и впрямь хороший попался. Баба теперь не заскучает. Хоть на весь год в моря уходи.

С плавказармы Марфин перетащил чемодан с новыми — флотскими — пожитками. На дне его лежал шерстяной аварийный свитер — Ирина распустит, кофточки детишкам навяжет; в плотную штурманскую кальку была завернута регенерационная пластина, вещество которой лучше всякого мыла отъедало посудную грязь; еще там были упрятаны две банки пайковой воблы, сломанная параллельная линейка из грушевого дерева, пара шарикоподшипников — сыну на самокат, сигнальный патрон трехзвездного огня и лишний кокский колпак из натурального хлопка. Колпак хорошо после бани на мокрые волосы надевать. Голова не простудится. Север все-таки...

Солнечной полярной ночью в оконный переплет постучал матрос-оповеститель. Сердце у Марфина догадливо екнуло: «В «автономку» зовут!» То, чего он опасался всю зиму и даже втайне надеялся: «А вдруг отменят?» — надвинулось неотвратимо.

Костя выбрался из-под жаркого Ирениного бока, оделся и, щурясь на чумное незакатное солнце, побежал к складу спецпитания получать продукты.

Провизию принимали долго и хлопотно. У Кости вся душа изболелась; легко ли смотреть, как матросы-грузчики иногда запускают руки в расковыренную коробку с сухофруктами. Оно понятно: погрузка продовольствия во все времена была «праздником живота», а все-таки жаль — добро-то какое изводится. Таких продуктов в Едимонове и в глаза не видали: севрюга в собственном соку, колбаса сырокопченая, языки в желе...

Вино, шоколад, дрожжи и воблу складывали помощнику в каюту под надежный запор. Банки же с консервированными картошкой и капустой рассыпали в трюме за торпедными аппаратами. На этот харч охотников мало. Коробки с проспиртованным для сохранности хлебом опускали, не вникая протестам Мартопляса, в аккумуляторные ямы. А куда еще? На подводной лодке — теснота теснот.

Автономное плавание — одиночный поход... Лодка уходит в глубины, превращаясь в океанский спутник планеты, в подводную орбитальную станцию с полным запасом топлива и провизии для десятков людей. Что бы ни случилось — пробойна, пожар, поломка, острая зубная боль

или что-нибудь похуже — надежда только на свои силы.

Внешне автономное плавание мало чем отличается от боевого похода в военное время. Уйдет подлодка на задание, и все так же будут тлеть плафоны в отсеках, все так же будут вращаться роторы, выкачивая из магнитных полсей электрическую силу, тепло, свет... Такими же осторожными будут редкие всплытия.

Подводник не ходит в штыковую атаку и никогда не видит противника в лицо. Но он в любую секунду готов схватиться врукопашную с взбесившейся от босвой раны машиной, с беспощадным в слепой ярости робота агрегатом — испускающим высоковольтные молнии, бьющим кипящим маслом, крутым паром, струями огня... Этот враг не берет в плен. Он не знает ни грана милосердия. Его не остановит победа. У него нет инстинкта самосохранения. Он бездушен, безумен и готов погибнуть вместе со своей жертвой.

Движения подводников в бою напоминают скорее работу в цеху, нежели действия атакующих бойцов: орудуют рычагами, маховиками, инструментами. Ничего героического, если, забыть, что орудуют они в толще океана, под прицелом ракетоторпед, над километровыми безднами, куда уж если канешь, то исчезнешь без следа.

...Утром она согрела мне чай и достала белый шарфик. Она связала его сама. Черное казенное кашне так и осталось у нее на вешалке.

По счастью, не было никаких прощальных слов — ни заверений, ни обещаний. А белый шарфик она повязала мне под шинель.

...Улица, ведущая к воротам гавани, светла и пустынна. Утренние сумерки белой весенней ночи. Свежо и безлюдно. И тревожная радость начала новой жизни.

Дорога спускается вниз, вниз, вниз к бревенчатым причалам, и там, за урезом воды, за кромкой прибоя, каменистое ее полотно переходит в подводный рельеф бухты, в абрис глубины... Можно считать — погружение уже началось.

Город спит, но гавань проснулась. Синеробые толпы матросов бухают сапожищами по деревянным настилам. Они бегут из казарм по причальному фронту — на зарядку.

Музыка кино — о, эти тревожные аккорды в роковых местах! — приучила нас и в жизни искать подобное сопровождение. Должны же поворотные точки судьбы выделяться особо — раскатами грома, боем часов, затмением светил?! Мы идем в океан, в мир иной — без земли и солнца, все круто меняется. Но вместо грома небесного — грохот сапог, мерный дых бегущей толпы, пряный дух горячего пота... Ну что ж, ведь это только мы знаем, что для нас это утро... В мире, в стране, в городе, и даже на подплаве, нынче обычный день. И начинается он разминочным бегом и закончится спуском флага, ужином, отбоем — только без нас.

Лет двадцать назад выход в океан был здесь событием. Теперь будни. Но каждый, кому выпало одиночное плавание, запомнит дату ухода и дату возвращения на всю жизнь...

Нашу змееликую красавицу перешвартовали крайним корпусом — удобнее отваливать. Стартовая позиция.

Офицеры прибывали на подводную лодку за-

долго до подъема флага. И оповестители были не нужны...

Корабль оживает от стояночной спячки.

Уже включены гирокомпасы, прогреты дизели, уже провернуты гребные валы. Боцман измерил осадку кормы и носа. Уже не вмоготу ждать последнего сигнала...

Серая теплая пасмурь. У зарядовой станции пестрая стайка притихших жен. Они «просочились» в гавань самовольно и потому держатся поодаль от черных «Волг» наехавшего начальства. Жен приглашают лишь на встречу корабля, видимо памятуя, что «долгие проводы — лишние слезы». Разбившись на группки, женщины высматривают на рубке родные лица — видит ли, что пришла? Махнет ли рукой?

Офицерам и мичманам разрешили подойти к женам.

...Прощальный шепот, быстрый и страстный, как нечаянная молитва. Руки, вскинутые на погоны...

— Окончить прощание! — командует старпом нарочито ледяным голосом. Лед смиряет боль.

— Всем вниз!

Юная жена лейтенанта Симаква припала к мужу, и поцелуй их никак не прервется.

Старпом молча стоит рядом — ждет.

Ирина пришла на пирс с покрасневшими глазами, подавленная и предстоящей разлукой, и жутковатым видом рыбацкого корабля, в утробе которого должен жить теперь муж.

— Я тебе «королевского» мохеру привезу, — пообещал Костя, морщась от неблагозвучного

иностранного словца.— А еще у них там, говорят, золото больно дешевое...

Марфин достал из-за пазухи бумажку со схемой, как пройти к самым дешевым лавкам в том заморском городе, где могла побывать лодка.

— За морем телушка-полушка...— грустно усмехнулась Ирина.— Сам-то хоть вернись, добытчик...

Они поспешно расцеловались, потому что за спиной стоял старпом и уже в третий раз громко повторял:

— Команде — строиться!

Построились на торпедном пирсе вдоль корпуса лодки. Адмирал наскоро обошел фронт, пожимая руки. Короткое напутствие.

— Товарищи подводники! Сегодня вы уходите в океан для защиты интересов нашей Родины. Помните об этом всегда. Ждем вас со щитом. Семь футов вам под киль!

— Команде вниз!

Подводники, подталкивая друг друга, ринулись с пирса на трап, с трапа на корпус, с корпуса — в овальную дверь рубки, в круглый зев входной шахты... Офицеры спускаются последними.

Перед тем как скрыться за стальной дверцей, Костя оглянулся, чтобы лучше запомнить тонкую фигурку Ирины, город, нависший над гаванью, белые языки не сползшего со скал снега.

Я стоял на мостике и старался не глядеть в сторону горы Вестник. Я знал, что оттуда на меня сейчас смотрят. Я ощущал на себе тонкий луч ее взгляда, летящий из оконца рубленого домика.

Гидрометеопост обещал хорошую погоду на выходе из залива.

Отданы швартовы. Забурлила вода под правым винтом. Между бревнами пирса и черным бортом ширится промежуток...

Причальный фронт, причальный фронт... Досками ли выстланы здешние причалы? Черта с два! Они устланы нашими разлуками, тревогами, встречами, они пропитаны живой памятью, которая сбережет их от тлена лучше, чем креозот.

Вскинули руки к козырькам все, кто остается на берегу — адмирал, штабные офицеры...

Уходит подводная лодка...

Боцман дает долгий гудок. Хриплый рев оглашает гавань и уходит гулять по извивам фьорда.

На мостике — не протолкнуться. Бросить прощальный взгляд на город вылезли и Федя-пом, и доктор... Штурман целится пеленгатором меж наших плеч, локтей, голов.

В заливе штиль. Взморщенная лодкой гладь не теряет своей зеркальности. В округлых складках, что разбегаются от наших бортов, отражаются красноватые скалы бухты, рыхлые облака, мачты рейдовых постов, родные чумазы чайки...

Сигнальщик стучит щитком фонаря-ратье-ра — отбивает позывные.

Ожерелье из ржавых поплавков размыкается, и мы выходим из ворот гавани.

Командир нажимает клавишу переговорного устройства:

— Внизу! Записать в журнал: «Вышли за боновое ограждение. Корабль начал автономное плавание...»

Чайки заматают крыльями след растаявшего в дымке корабля.

Утром постучал в каюту боцман, спросил голубую акварель. Зачем боцману голубая акварель? Пошел вслед за ним в центральный пост. Белохатко раскрошил акварель в белую эмаль и провел на жестяном прямоугольнике голубую полосу военно-морского флага. Под этим железным стягом мы и будем теперь ходить и погружаться. Его не истрепят никакие ветры. Его хватит надолго...

Атлантика разбушевалась... Вторые сутки идем в надводном положении, и вторые сутки над головой водопадный грохот волн по полому железу корпуса.

Швыряет так, что из подстаканников выскакивают стаканы.

Не качает, а именно швыряет, ибо в наших взлетах и провалах нет и намека на «гармонические колебания».

На Федю-пома рухнул с полки коралл и разбился вдребезги. На толстого неповоротливого помощника всегда что-то падает — то сорвется графин с каютной полки, то зеркало, то вентилятор. Похоже, он коллекционирует упавшие на него предметы.

— Надо ожидать, Федя, что скоро на тебя упадет кувалда, — мрачно предрекает механик, ковыряя вилкой опостылевшие макароны. — На первое — суп с макаронами, на второе — мака-

роны по-флотски... Я что, на итальянском флоте служу?

По должностной обязанности помощник командира отвечает за снабжение, за продовольствие. Рано или поздно в походе приедается все, и вот тут-то для помощника начинаются черные дни.

— Самый лучший хлеб — это Федины котлеты, — бросает невзначай Симбирцев. Это сигнал к обстрелу.

— Супчик тоже ничего, — кротко замечает механик. — Жидкий, но наваристый. Будешь с него тощий, но выносливый.

Руднев его не слышит. Бледный от приступов дурноты, он ушел в себя, как йог. Тучные люди переносят качку хуже, чем худые.

Наш ужин напоминает игру в пинг-понг. В одной руке держишь стакан с чаем, другой ловишь то, что несется на тебя с накренившегося стола. Остановил лавину стремительно сползающих тарелок. Молодец! Через секунду она помчится на соседа, сидящего напротив. Он сплоховал — тарелка с рыбой ударилась в спинку дивана, а блюдец со сгущенкой опрокинулось на колени. Два — ноль в пользу Атлантического океана.

В качку испытываешь как бы навязанное тебе состояние чужого опьянения: мир уходит из-под ног, тебя швыряет, тошнит...

Васильчиков, укачавшись, горько дремлет под усыпляющее зуденье гирокомпасов. Мартопляс — вот кого не берет морская болезнь! — прикнутил к дверям штурманской рубки объявление: «Меняю вестибулярный аппарат на торпедный».

В центральном посту заулыбались. Но механику этого мало. Соню нужно достойно проучить.

Мартопляс пробирается к автопрокладчику и переводит таймер ревуна, возвещающего время поворота на новый курс, с двух часов на две минуты. Сигнал верещит пронзительно, и штурман в ужасе вскакивает. Боцман тихо усмехается, поглядывая на расшалившихся офицеров с высоты своих сорока лет. Штурману двадцать пять, механику двадцать семь. Мальчишки! В эту минуту они и в самом деле проказливые школяры, если забыть, что вокруг штормовой океан, километровые глубины и натовские атомоходы.

Голос старпома с мостика ставит все на свои места:

— Центральный!

— Есть, центральный,— откликается вахтенный центрального поста.

— Зашло солнце. Записать в журнал: «В 20.30 зашло солнце. Включены ходовые огни».

Капитан-лейтенант Симбирцев, мокрый с головы до ног, спустился в центральный пост — нажал тумблер микрофона:

— Вниманию экипажа! Выход наверх запрещен!

Волны перекатываются через рубку так, что подлодка на время оказывается в родной стихии. Стрелки глубиномеров то и дело срываются с «нуля» и прыгают до пяти-, семиметровых отметок. Глубиномеры в море не отключают, даже если лодка идет в надводном положении...

Симбирцев стаскивает с себя резиновую рубашу химкомплекта. Резина на его широких плечах растягивается, вот-вот лопнет.

— Ну, швыряет! — радостно изумляется старпом. — Такого еще не видел. Торпедными аппа-

ратами в режиме зениток можно работать! Нос выбрасывает по нижнюю «бульбу».

Нижняя — килевая — «бульба» всегда скрыта под водой, увидеть ее можно разве что в доке, и уж если она обнажается, то океан и в самом деле разыгрался не на шутку.

Симбирцев возбужден и весел, как человек, счастливо закончивший опасное дело.

— Сергенч, — подмигивает он мне, — хочешь настоящес море понюхать? Бери у командира «добро» и лезь на мостик. Выстоишь — считай, что сдал зачет на вахтенного офицера!

Вчера Федя Руднев составлял график шахматного турнира. В одной команде были «уважаемые двухсменщики», то есть те офицеры, которые несут вахты посменно; в другой «презренные односменщики», у которых сутки не разбиты на четырехчасовые циклы. Мне не очень-то нравится ходить в «презренных односменщиках». Зачеты на допуск к якорной вахте давно сданы. Теперь пора осваивать и ходовую. Да и не откажешься от приглашения на мостик. Дело чести.

Абатуров отдыхает в каютке. Он с трудом разлепляет красные от морской соли и застарелой бессонницы веки, выслушивает просьбу, улыбается, морщась от боли в растресканных губах:

— Правильно, Сергенч. Место комиссара — там, где труднее.

Иронизирует он или нет — мне все равно. Главное, разрешил.

Абатуров нажимает клавишу в изголовье.

— Центральный, запишите в журнал. «Дублером вахтенного офицера заступил капитан-лейтенант Башилов».

— Есть!

— Привяжитесь там, а то смое!

Свитер под китель, ватные брюки, меховая «канадка» с капюшоном... Чтобы втиснуться в резиновые комбинезоны, нужны еще чьи-то руки. В тесноте боевой рубки я помогаю боцману, а боцман мне.

Лодка кренится, и мы то валимся друг на друга, то скачем на одной ноге — другая застряла в резиновой штанине. Должно быть, со стороны мы напоминаем героев чаплинских фильмов. Но со стороны смотреть некому.

Жаль, что сейчас смена Феди-помощника, а не старпома. Стоять с Симбирцевым было бы веселее.

Взбираемся по отвесному трапу; раздобревшие в плечах, еле протискиваемся в узкую шахту. Помощник отжимает тяжеленный кругляк верхнего рубочного люка и выбирается в ревущую темень, наполненную брызгами, воем ветра и водяным грохотом.

Увесистый заплеск обдает нас с боцманом и проливается в шахту ледяным душем. Белохатко — он вылезает последним — опускает литую крышку, размером с вагонное колесо, задраивает ее наглухо поворотом штурвальчика. Теперь мы втроем посреди железа, то и дело ныряющего в волны. От этой мысли становится не по себе, и мы поспешно лезем еще выше — на мостик, открывающий нас по грудь встречному ветру. Глаза быстро привыкают к темноте, слегка развеянной светом звезд и молодой луны. Куда ни глянь — всюду всхолмленный океан. Носовая «бульба» то вздымается выше горизонта, то зарывается в воду по подножье руб-

ки. Лодка в пене, как загнанная кобылица. Сквозь пену прорывается холодное зеленоватое свечение. Оно вспыхивает и гаснет, будто из-под воды нам кто-то сигналил.

Из дырчатой палубы обтекателя рубки хлещут воздушные струи, выжатые из-под стального настила ударами волн. словно гигантские пульверизаторы бьют снизу вверх. Полое железо воем на все лады.

Мы пристегиваем к поясу цепи, а цепи — к перископным тумбам.

«Бульба» размалывает волны так, что вода разлетается высокими белыми веерами. Встречный шквал швыряет брызги в лицо, словно заряд картечи. Увесистые капли выбьют по железу трескучую дробь и пребольно секанут сквозь резину шлема по голове — береги глаза! Бережем. Как только перед форштевнем взматается очередной белый взрыв, прикрываем брови кожаными рукавицами, через секунду ошметки волны наотмашь хлестанут по щекам, по рукавице, по резине, запорошат колючей солью глаза. Но надо успеть оглядеться по курсу и траверзам — не мелькнет ли в водяных холмах ходовой огонь какого-нибудь шального сейнера.

Этот вал мы заметили еще издали. Вздываясь среди гривастых волн, словно великан над пигмеями, он медленно подступал к лодке. Мы смотрели на него, слегка оцепенев. Спрятаться бы под козырек, нырнуть в шахту, запахнуть за собой люк, как захлопываешь в страшном сне дверь, спасаясь от чудовищ, — все это было уже поздно: оставались секунды.

На нас надвигался не вал — водяной хребет. Он приближался, рос, вспухал, вздымался все

выше и круче. Едва нос лодки уткнулся в его подножье, как высоченная вершина, не выдержав собственной тяжести, поехала вниз, kloкоча белыми языками, набирая силу, увлекая за собой всю гороподобную лавину... Так рушатся крепостные стены.

Глазомер ли, интуиция, но все мы поняли: удар придется точно в рубку; железо не прикроет; водопад низвергается прямо в вырезы мостика, на нас, на наши головы почти отвесно. Успел подумать: вот она, волна-«убийца», переламинающая корабли... Мы присели. Меня ткнуло лицом в колени, сжало со всех сторон, смяло, крутануло, поволокло на предательски удлинившейся вдруг цепи вниз, в проход, потом швырнуло вверх, больно ударив плечом о подволоку обтекателя. Рот забит тугим соленым кляпом.

Рубка всплывает, вода спадает, плавная сила возносит нас на вершину вала, и тогда снова открывается бугристая ширь взъярившегося океана. Он прекрасен — включенный безумный старец.

— О чем задумались, Андрей Иванович?

Боцман хитровато усмехается:

— Да вот, думаю, «рулям» моим работы поубавится — шторм всю надстройку вымыл.

Он прекрасно понимает, что это совсем не то, что мне бы хотелось услышать.

— Зуб, думаю, какой вставлять: золотой, или стальной...

Потешается боцман...

— Думаю, помирать буду, а погоду нынешнюю вспомню.

Вот это похоже на правду.

Нас снова накрывает.

Все-таки странную работенку выбрал себе этот бывший полтавский мужик — бултыхаться ночью посреди океана. Сидел бы сейчас в теплой хате при Одарке, варениках и цветном телевизоре. Плохо ли ему жилось, камбайнеру колхоза-миллионера? Не Жюля Верна же, в самом деле, начитался? Двадцать лет под водой морячить — тут родиться надо было с боцманской дудкой на шее.

Свитер под гидрокостюмом намок и хлупает при каждом поклоне. Ноги коченеют, холод ползет все выше и выше.

Трудно поверить, что под нами — стальной кокон прочного корпуса, полный тепла и света. Я ищу взглядом на палубе место, под которым находится моя каюта. Там, под сводами герметичной стали, мудрые книги, чай с бальзамом, тесная, но сухая и теплая постель... Кипящая волна пожирает палубу и то место, под которым дожидаются меня книги, чай и подушка. Носовая оконечность — длинная, черная, как гитарный гриф, снова зарывается в океан. Оттягиваю резиновую манжету, нажимаю кнопку подсветки электронных часов: еще каких-нибудь полтора-два минуты — и для нас распахнется наконец благодатный люк.

Верховой ветер разогнал тучи. Где-то у горизонта, изрытого водяными грядами, слышат молнии. Но гром грозы тонет в грохоте шторма.

Струя электрического огня рассекает небо, и расплесканный океан застывает, как на моментальном снимке. Мощный выскерк разбился на сотни бликов, вспыхнул и погас на стеклянистых склонах мертвой зыби. Вот так зарождалась жизнь на планете. Молнии били в океаны, и в их соленых чашах вершилось таинство зача-

тия: цепочки молекул, спирали и кольца органики сплетались в праоснову белка.

Гроза в ураган — феерическим зрелищем дарит нас Атлантика. Должно быть, в награду за стойкость верхней вахты. И даже жаль слезать с мостика, когда приходит смена.

Спускаемся вниз. Как здесь хорошо внутри — тепло, сухо, светло. Если бы не швыряло — и вовсе подводный рай. К боцману такое чувство, будто съели с ним пуд соли... Даже не хочется расходиться по отсекам — ему в кормовой аккумуляторный, мне — в носовой жилой.

2

Я шел через центральный отсек, тихо ликуя: выстоять такую вахту один на один с океаном — не еж чихнул. Наверное, в эти минуты только у меня одного был такой взъерошенно-радостный вид. Во втором отсеке я заглянул в пустую кают-компанию. Включил электрочайник, присел на диванчик... И вот тут к горлу подступил первый премерзкий ком тошноты. Я даже запомнил, в какое мгновение это случилось: фигуры на забытой кем-то шахматной доске ожили и пошли вдруг дружной фалангой — белые надвинулись, черные отпрянули. Внутри под ложечкой возникло тягостное чувство, в глазах потемнело, рот наполнился солоноватой слюной, и я опрометью бросился в спасительную кабину галюна... Вывернуло до слез в глазах. Я выбрался из кабинки и, пряча взгляд, кусая губы, побрел в родной отсек. С трудом одолел взбесившийся коридор, пролез в каюту и рухнул на куцый диванчик. Стало немного легче, но ненадолго. Дурные качели кач-

ки брали свое — голова налилась небывалой тяжестью и чугунным ядром вдавливалась в подушку.

Боже, какой прекрасной была бы морская служба, если бы не качка!

Дерматиновая грудь диванчика скрипуче дышала, то сжимая пружины на взлетах волны, то выпрастывая их в провальные мгновения, и тело мое, безвольная, бездвижная плоть, будто взвешивалось на дьявольских океанских весах.

Во всем виноват был желудок, вся дурнота шла от него. Я пытался усмирить его приказами, заклинаниями, аутотренингом, но поединок коры головного мозга с пищеварительным трактом шел вовсе не в пользу высокоорганизованной материи.

О гнусная требуха!.. Никогда не думал, что можно так постыдно ослабнуть только из-за того, что внутри тебя что-то легчает, что-то тяжелеет. Какое счастье, что меня сейчас не видит никто.

И когда же кончится эта болтанка? К вечеру? Через сутки? Через неделю?..

Капитан-лейтенант Башилов, ваше место сейчас в отсеках. Встаньте!

Ни за что в жизни. Сейчас вот тихо умру, и все.

Встань, сволочь!!! Иди к людям. Они вахту несут. Им труднее, чем тебе...

Ладно, сейчас встану... Еще чуточку полежу и встану. И пойду. Еще полминутки...

Я отговариваюсь теми же словами, какие бормотал из-под одеяла бабушке; она будила меня по утрам ласково, наклоняясь к уху: «Дети, в школу собирайтесь! Петушок пропел давно...»

Ну встань, пожалуйста... Ведь сможешь. На мостике было труднее. И опаснее. — Ведь выдержал?

Там было легче — свежий ветер, простор и видишь врага ясно — вон тот вал, сквозь который надо пронырнуть... А здесь какая-то бесплотная непостижимая сила сжимает желудок, как резиновую грушу... О мерзость... За что? И кто говорит, что дух сильнее тела? Вон она, душа, стонет, придавленная тяжестью семидесяти безжизненных килограммов.

Хватит философствовать! «Подъем!» — ору я себе симбирцевским басом.

Тщетно.

Я прибегаю к последнему средству: вызываю в памяти глаза Людмилы. Вот она смотрит на меня, вот кривятся в насмешке красивые губы... «Моряк»...

Стук в дверь.

— Товарищ капитан-лейтенант...

Сбрасываю ноги с диванчика, отворяю. На пороге мичман Шаман. Во время сеансов радиосвязи у него в моей каюте боевой пост. Смотрю на него с ненавистью — «принесла нелегкая» — и с радостью — «ну, уж теперь-то встанешь!». Встаю. Уступаю диванчик. Выбираюсь из каюты, застегиваю крючки воротничка...

Коридор среднего прохода то и дело меняет перспективу: уходит вниз, уходит вверх, вбок, вкось... Все в нем мерзостно — электрокоробки, выкрашенные в отвратительный зеленовато-желтый цвет, фанерные дверцы кают, змеинные извивы кабельных трасс, гнусный свет плафонов... В носовом конце коридора скорчился вахтенный электрик Тодор. Он смотрит на меня виновато.

— Голова шибко тяжелая, тарышкап-нант...

— Наверное, от ума...

Матрос кисло улыбается.

Я перебираюсь в центральный отсек. Сделать это непросто. Сначала нужно дождаться, когда центр тяжести четырехсоткилограммовой двери сместится так, что ее можно открыть, потом проскочить до того, как литой кругляк захлопнется на очередном наклоне и рубанет по ноге. В шторм хождения из отсека в отсек запрещены всем, кроме тех, кому это надо по службе.

В центральном — унылая тишина, если тишиной можно назвать грохот волн над головой да настырное жужжание приборов. Все, кроме вахты, лежат, пребывая не то в дурмане, не то в анабиозе.

Качка качке рознь. Сегодня какая-то особенно муторная — усыпляющая, мертвящая... То ли амплитуда волны такая, что попадает в резонанс с физиологическими колебаниями организма, то ли мы вошли в какой-то особенный район океана, вроде «сонного царства». Ведь прибывало же к берегу подводные лодки с экипажами, уснувшими намертво. Как в первую мировую войну, например. Что, отчего, почему — неизвестно. Одно ясно: шторм действует не только на вестибулярный аппарат, но прежде всего на психику. Поневоле поверишь во все истории про корабли, брошенные своими командами посреди моря, про «инфразвуковой голос» океана, сводящий моряков с ума, заставляющий их прыгать за борт...

Уверен, что на лодке сейчас нет ни одного человека в ясном, трезвом сознании. Качка туманит разум; одних она ввергает в полудремотное

забыть, других в бесконечную апатию, в полное безразличие к себе и товарищам, третьи витают в глубоких снах, у четвертых стоят перед глазами картины прошлого. Две трети экипажа ушли в воспоминания, сны, видения, грезы... И даже вахта, вперившая взгляды в экраны, планшеты, шкалы, циферблаты, кажется тоже погруженной в гибельное оцепенение.

Эта мысль мне нравится. Чтобы отвлечься от качки, я начинаю фантазировать: ну конечно же мы вошли в некий район Атлантики, где простирается неизученное «психическое поле». Оно усыпляет людей, и корабли превращаются в подобия «Летучего голландца». И вот я остался один из всех, кто сумел разорвать коварные пути. Я иду по отсекам и бужу своих засыпающих товарищей...

Игра приносит некоторое облегчение, тошнота отступает, возвращается осмысленный интерес к окружающему.

Вот рулевой Мишурнов, балабол и весельчак, доблестно несет вахту. На шее у него подвязана жестянка из-под компота, через каждые пять минут матрос зеленеет и пригибается к ней, но лодку держит на курсе исправно. В «боевой листок» его.

Перебираюсь в четвертый отсек, он же кормовой аккумуляторный. «Кормовой» не потому, что в нем корм готовят, поучал когда-то Симбирцев Марфина, а потому, что расположен ближе к корме. «Кормчий» Марфин в тропических шортах и сомнительно белой куртке отчаянно борется «за живучесть обеда». Лагуны заполнены на две трети, но борщ и компот все равно выплескиваются. Руки у Марфина ошпарены, ко лбу прилип морковный кружочек, взгляд страдальческий и решительный. Работа

его почти бессмысленна — к борщу никто не притронется, погрызут сухари, попьют «штормового компота» — кислого, без сахара — и вся трапеза. Но обед есть обед и должен быть готов к сроку, хоть умри кок у раскаленной плиты.

— Как дела, Константин Алексеевич? — Вся приветливость, на какую я сейчас способен, — в моем голосе. Марфин стирает со щек горячий пот.

— На первое — борщ, тарьшкапнант, на второе макароны по-флотски... На «нули» — дунайский салат.

«Нулевое блюдо» — холодная закуска. Противень с горкой консервированного салата выглядит весьма соблазнительно. Как больная кошка выискивает себе нужную траву, так и я вытягиваю за хвостик маринованный огурчик. Нет, право, жить в качку еще можно.

— А где камбузный наряд?

— Сморился! — добродушно окает Марфин и машет красной рукой в сторону боцманской выгородки. Заглядываю туда: матросы Жамбаров и Дуняшин по-братски привалились друг к другу. Стриженные по-походному головы их безвольно мотаются в такт качке.

— Не надо, тарьшкапнант! — окликает меня Марфин, заметив, что я хочу поднять «сморившихся». — От них сейчас проку мало. Сам управлюсь.

И он бросился к плите, где опять что-то зашипело и зачадило.

В пятом в уши ударил жаркий клекот дизелей. Хрустнули перепонки — лодку накрыло, сработали поплавковые клапаны воздухозаборников, и цилиндры дизелей «сосанули» воздух из отсека.

Вот где преисподняя!

Вахтенный моторист хотел крикнуть «смирно», но я показал ему: «Не надо». В сизой дымке сгоревшего соляра сидел на крышке дизеля старшина второй статьи Соколов и наяривал на гармошке что-то лихое и отчаянное, судя по рывкам мехов, но беззвучное, так как уши еще были заложены. Перепонки хрустнули еще раз — давление сравнялось, — и сквозь многослойный грохот цилиндров прорвались обрывки залиvistых персборов. Деревенской гулянкой повеяло в отсеке.

Играл Соколов не в веселье, играл назло, наперекор океану, шторму, выворачивающей душу качке... Худое вологодское лицо его со впалыми висками и глубокими глазницами выражало только одно — злую решимость переиграть все напасти взбесившегося за бортом мира. Его трясла дрожь работающего двигателя, его сбрасывали со скользкой крышки крутые крены, но сидел он прочно, цепко обхватив ногами пиллерс. Пальцы Соколова, побитые зубилом, изъеденные маслами, ловко перебегали по белым перламутровым кнопкам, обтрепанные, с некогда красным подбором мехи качали-раздували бойкий наигрыш.

Эх, яблочко, да ты не скроешься,
В бэчэ-пять попадешь, не отмоешься!

У Соколова в деревне под Белозерском молодая жена. Справил свадьбу в краткосрочном отпуске за отменный ремонт дизеля. Жена провожала до Северодара, да ворот казармы. Теперь их разделяют два океана и год службы.

Эх, яблочко, да автономное!
Ждет Маруся меня, жена законная...

Только русская гармошка могла перекрычать адский грохот снующего железа. И «психическое поле» шторма — материя слишком тонкая для тяжелых сил моторного отсека — рвалось и завивалось здесь в невидимые лохмы.

Зато в корме свободный от вахты народ лежал в лежку, отчего жилой торпедный отсек, загроможденный трехъярусными койками, напоминал госпитальный вагон санитарного поезда. Швыряло здесь так, будто подводная лодка виляла хвостом. Безжизненно перекачивались на подушках стриженные головы, качка бесцеремонно валлила с боку на бок дюжину безвольных тел.

Я стоял широко расставив ноги и уцепившись за стойку приставного трапа под аварийным люком. Я смотрел на это «лежбище котиков», как сказал бы Симбирцев, с состраданием и чувством некоторого превосходства: «Вы лежите, а я стою...»

Меж торпедных труб билась, дребезжа, гитара. Я вытащил ее. С подушки нижнего яруса вяло приподнялась голова хозяина.

— Там второй струны нет...

— Кетгут натяни. У доктора возьми.

Голова устало свалилась на подушку с рыжеватой наволочкой.

Отсек по-прежнему являл вид санитарной теплушки. Я стоял привалившись спиной к задним крышкам торпедных аппаратов и думал, что нет в мире таких слов, кроме двух: «боевая тревога», которые могли бы поднять этих полуживых от болтанки людей. А может, есть?

И тут меня осенило. Я сорвал трубку корабельного телефона и вызвал дизельный.

— Пятый слушает.

— Соколова срочно в корму! С инструментом.

- С аварийным?
- С музыкальным!
- Есть.

Через несколько минут распахнулась круглая переборочная дверь, и через комингс перелез Соколов, держа гармонь под мышкой.

- Играй здесь!
- Что?
- Что хочешь.

Соколов все понял. Присел на красный барабан буй-вьюшки, пристроил на коленке гармонь, прислушался на секунду к обвальному грохоту волн над головой и развернул мехи.

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...

Басы и пищики так явственно выговаривали слова, а слова — немудреные, матросские, щемящие, — так ладно ложились на водяные вздохи океана, на тарахтенье гребных винтов, взрезающих то волну, то воздух, на скрипы и стоны лодочного металла, что казалось — стародавняя песня только-только рождается, и никто ее еще не слышал, кроме нас, да и не услышит, ибо она так и останется здесь, в стальной бутылки прочного корпуса, в ревущей Атлантике, за тридевятым горизонтом.

Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от этой земли...

Соколов знал, что играть. На койках зашевелились, с верхнего яруса свесилась одна голова, другая... Вот уже кто-то и сел — заскрежета-ла матрасная сетка. Вот кто-то яростно трет виски, выгоняя качечную одурь. Поднялся и хозяин гитары. Ревниво покосился на пришельца из другого отсека, выждал, когда гармошка при-молкла, ударил по шербатым струнам:

Если вы утопнете и ко дну прилипнете,
День лежите, два лежите,
А потом привыкнете!

Носок тяжелого рабочего ботинка отбивал лихой ритм по стальным пойолам. Гитариста придерживали за плечи, чтобы не сбросило с койки. Пальцы его перебегали по грифу, словно сноровистые матросы по бушприту парусника. Гриф-бушприт ходил враскачку — гитара тоже перемогала шторм вместе с черным веретеном субмарины.

На койках зашевелились, задвигались, заулыбались.

«Санитарная теплушка» превращалась в боевой отсек.

Я возвращаюсь в центральный пост. Лодку по-прежнему раскачивает, выворачивает из моря, как больной зуб из десны. По-прежнему ломит виски, и каждое движение дается с трудом, точно онутан по рукам и ногам тягучими жгутами. Но на душе легче: я не лежу ничком, я одолел себя и качку, я что-то делаю...

— Где командир? — спрашиваю у штурмана. Васильчиков кивает вверх — на мостике. Лезу по мокрому скользкому трапу. Мрак в обтекателе рубки слегка рассеян подсветкой приборов. Толстые стекла их глубоководных кожухов чуть брезжат желтоватым светом. Различаю под козырьком фигуры Абатурова и Симбирцева. Курят, пряча от брызг огоньки сигарет в рукава канадок. А может, по привычке блюдут светомаскировку. И на минуту кажется странным, что в такой вселенский шторм, когда всякая живая душа, очутившаяся в этой бушующей пустыне, должна идти друг другу навстречу и радоваться любому огоньку в крошечной мгле, надо от кого-то таиться.

Абатуров протягивает мне початую пачку, хотя знает, что я не курю. Но сейчас это надо понимать как жест высшего благоволения: молодец, зам, не дрыхнешь в каюте, и я вытаскиваю подмокшую сигарету. Дымим вдвоем, молча вглядываясь каждый в свой иллюминатор.

— Ну, как, Алексей Сергееч, есть ли жизнь в отсеках? — задает старпом свой излюбленный вопрос.

В присутствии командира мы с Гошей не выходим из официальных рамок, и Абатурову это нравится.

— Теплится.

— Укачавшихся много?

— Прилично.

Я рассказываю про Мишурнова с банкой на шее и про то, как он стойко вахтит, про Марфина с обваренными руками, про Соколова с гармошкой... Тут же решаем, кто «созрел» для повышения в звании, а кого — в «сатирический листок».

3

Оттого, что спишь урывками, кажется, что в сутках умещается неделя. Совершенно теряется чувство времени. Но всеми чувствами на корабле правит служба. И чувство времени подвластно службе времени, со всеми ее календарями, хронометрами и астрономическими ежегодниками.

Сегодня понедельник, двадцатого июля тысяча девятьсот семьдесят... года. Понедельник — день политзанятий... Отменить их может только бой, но не шторм.

Моя старшинская группа собрана в электромоторном отсеке. Собрана — не то слово. Втис-

нута. Люди вжались в промежутки между агрегатами — кто где и кто как. Уж если крен, то кренятся все разом — будто каждый привинчен к фундаменту. Конспекты на коленях. Видавшие виды общие тетради — крапленные морской водицей и соляром... Тема: «Подводные силы американского флота в Атлантике». Тема что надо. Чтоб не забывали, из-за чего мы качаемся здесь, посреди океана.

Каждое слово мне приходится выкрикивать, иначе не переорать вой электрокомпрессора за спиной.

Старшины пишут старательно. Шторм превращает их строчки в каракули. Тем прочнее они запомнят названия американских атомарин, число их ракетных шахт и радиусы досягаемости ядерных ударов. Двадцатилетние парни со старшинскими лычками очень серьезны. Сегодня цифры миль и меготонн из выкладок военных обозревателей наливаются для них тяжестью весьма ощутимой...

А шторм не унимается всю неделю. И всю неделю, как назло, мы шли над водой — в крейсерском положении. Холодно и сыро. В центральном посту боцман то и дело протирает запотевшие глубиномеры.

Сижу в каюте, пишу письма... С вентиля аварийной захлопки капает прямо на бумагу, и в каждом письме приходится объяснять, что это не «следы слез», а конденсат — влага, оседающая на холодном металле.

Пора бы уже давно «прикачаться», но тошнотный комок стоит в горле — только расслабься. Он не отступает, даже когда лежишь. Сказывается общая усталость. Голова то легчает,

как воздушный шарик, то тяжелеет, как чугу́нное ядро. Препротивненько.

Наверху что-то гулко бьет по железу.

— Мостик, посмотрите, не открылась ли рубочная дверь? — спрашивает командир из своей каюты и, не дожидаясь доклада, отправляется в центральный пост.

Ко всем содроганиям корабля прислушиваешься так, будто вздрагивает собственное тело. Прочный корпус, объявший своей сталью десятки наших жизней, единственная защита от разбушевавшейся стихии. Случись сейчас с ним что-нибудь — и никакие спасатели, никакие вертолеты, ничто нам не поможет. Гибель корабля — это наша гибель. Шлюпкам на подлодках места нет.

Я гоню эти мысли прочь. Вот письмо И мне надо его дописать, как бы ни швыряло и ни качало.

Глухой стонущий удар раздается под полом каюты. Через несколько секунд удар повторяется, но уже в носовой части отсека. Жалобно дребезжит лампочка в плафоне. Я прислушиваюсь. Что-то со скрежетом проносится под настилом отсека и яростно бьет в кормовую переборку. Это в аккумуляторной яме. Сорвало бак элемента? Маловероятно. В тесноте ямы бак не будет так греметь. Удары повторяются равномерно в такт качке: дифферент на нос — удар в носу, дифферент на корму — удар в корме. Странно, что пикто не реагирует. Где вахтенный отсека? Я выглядываю из каюты.

— Тодор!

Выгородка за командирской каютой, где обычно сидит вахтенный электрик, пуста. Я заглянул в кают-компанию — никого.

Под ногами снова загрохотало...

Откинув коврик в офицерском коридоре, я с трудом оторвал присосанную вытяжной вентиляцией крышку лаза в аккумуляторную яму. Пахнуло густым духом резины, мастики, антикислотной краски. Под тусклыми плафонами чернели ряды аккумуляторных баков, оплетенных кабелями. В узеньком проходе лежал, уткнувшись лицом в обрешетник, матрос. На чернявом затылке расплылось кровавое пятно. Тодор!

Я спрыгнул вниз, и в ту же секунду голову мою ожгло болью — что-то стремительно пронеслось мимо и с лязгом врезалось в носовую переборку. Я схватился за темя, с ужасом ожидая нащупать раздробленный череп, но обнаружил лишь ссадину. Стальная тележка для передвижки аккумуляторов прогромычала поверху — по подвочным рельсам — и, набрав на растущей крутизне скорость, долбанула в выгородку, где акустики хранили запасные блоки. Тележку эту электрики прозвали «пауком» — за разлапистый вид, за то, что бегаёт по «потолку». Трехнудовый «паук» выждал, когда лодочный нос пошел вверх, оторвался от выгородки и покатился через всю яму в корму.

Б-ба-бах!

Качка разболтала плохо поджатые стопоры, тележка сорвалась и теперь посылается по направляющим, как бык Минотавр в подземном лабиринте.

Я перевернул Тодора, придерживая ему голову. Матрос слабо застонал. Жив!

— В отсеке! — заорал я, стараясь перекрыть гул шторма и визг тележечных колес.

— В отсеке!!!

В овале лаза мелькнуло лицо мицмана Голицына.

— Доктора — живо!

Голицын исчез. Но прежде чем спустится сюда доктор, надо остановить «паука». Вот он снова несется по рельсам... Я вижу клочок своих волос, торчащих в зажиме, и бешеная ненависть просыпается к этой тупой беспощадной железяке. Я ненавижу ее, как можно ненавидеть живое существо — подлос, жестокое. Оно подкараулило и оглушило матроса, оно только что покушалось на меня, оно убьет всякого, кто спустится в его владения.

Нечего и думать, чтобы остановить «паука» на лету — руку оторвет. Надо подстеречь его у переборки, когда, ударившись, тележка замрет на несколько секунд. Проход в корму мне загроживает тело Тодора. Пробираюсь в нос, прихватываясь на крепах за аккумуляторные баки и клинья, которыми они подбиты. Узенькая тропка уходит из-под ног — пригибаюсь, и над головой проносится «паук». Он вминается в стальной лист выгородки так, что облетает краска. Еще два шага, и я ухвачу своего врага. Но лодка задирает нос, и «паук» уползает в корму с лязгом и визгом. Удар! Замер.

Замер и я, поджидая тележку у выгородки. Вот она снова трогается, набирает скорость, мчится... Хочется поглубже втянуть в плечи голову, заденет — череп вдребезги... Веки сжимаются сами... В уши бьет грохот стали о сталь.

«Паук» застыл до очередного дифферента. Обхватываю тележку, ищу стопорные винты.... Куда они подевались?.. Вот один. Завинтить не успею, нужен ключ. Маслянистая головка болта выскальзывает из пальцев. Что это? Колесики дрогнули, сейчас покатаются... Покатились. «Паук» тащит меня за собой. Цепляюсь ногами за расклинку, за обмоточные кабели. Надо бы отпустить... Протащит по Тодору, швырнет на

железо, разmozжит... Ноги проваливаются в лаз нижнего яруса. Рывок — «паук» замер, хотя уклон нарастает. Я вишу, как воздушный гимнаст на трапеции. Недолго. Носки ботинок соскальзывают с закраины лаза. Меня снова волочет... Но стопор все же выпущен. Пусть самую малость; болт царапает направляющую. Тележка замедляет бег. Останавливается. Я поджимаю второй болт. Все, Минотавр укрощен.

Ссадина на голове жжет, ноет ушибленная нога, но обо всем этом не хочется и думать.

В лаз ямы спускаются ноги в офицерских ботинках, затем медицинская сумка... Капитан Андреев приподнимает голову Тодора, ощупывает череп, дает понюхать из пузырька. Матрос мычит, открывает глаза.

— Как себя чувствуешь? Голова кружится? Тошнит?

— Тошнит... С утра еще, — сообщает элек-трик, порываясь встать.

— Лежи, лежи... Сейчас башку твою перевяжу... Как это тебя угораздило?

— Полез контрольный обмер делать. А тут «паук» сорвался...

— Ну, Тодор, — ворчит доктор, довольный тем, что кости затылка целы, — были бы мозги, сотрясение заработал. Ясно же всех предупреждали — крепить имущество по-штормовому... Сама себя раба бьет... Вахту достоиншь или снять тебя?

— Достою.

Я смотрю на Тодора с тихой благодарностью. Я благодарен ему за то, что он остался жив и не надо готовить донесение о ЧП. Я благодарен ему за то, что забыл про дурноту и качку. Внутри все улеглось, и недавние страдания кажутся смешными. В кро-

ви еще играет азарт поединка, сна ни в одном глазу. Я готов работать, проводить занятия, взбадривать укачавшихся, шутить, петь... Разумеется, Тодора придется наказать и по строевой линии, и по комсомольской. Он не снял «паука» с направляющих, не закрепил по-штурмовому... Океан вlepил ему хороший подзатыльник, который запомнится ему пуще всяких нравовучений.

Мы вылезаем из ямы под быстрое кряканье ревуна. Срочное погружение. Наконец-то!

Маслянисто чавкают гидравлические машинки; вода врывается в цистерны с яростным взвистом, и водяное «ф-фох!» звучит, как общий вздох облегчения.

Плеск волн над головой отдаляется, стихает, смолкает — погружаемся. Лодку еще покачивает, шторм достает нас на глубине много ниже перископной. Но это уже не та качка, что выматывала душу целую неделю. В отсеках сразу закипела жизнь. Объявили малую приборку.

— Любовь к подводному положению, — варьирует любимый афоризм Симбирцев, — прививается невыносимой жизнью на поверхности. Что-то давно мы фильму не крутили, Сергеич?

Из-за шторма кино не смотрели: проектор ерзал по столу; пытались удерживать руками, но «картинка» сползала с экрана и герои оказывались то на переборочной двери, то на аптечных ящиках, неся во лбу красный крест с красным полумесяцем.

Киномеханики тащат в кают-компанию многострадальную «Украину». Крутили какой-то одесский детектив. Вдруг заметил — улыбка актрисы чуть похожа на усмешку Людмилы. Из-за этой улыбки досмотрел весь фильм — дрянной и скучный — до конца.

А «бой Тезея с Минотавром» в пересказе доктора выглядел так. Командир спросил его, что с Тодором.

— Полез в аккумуляторную яму. Шарахнуло по кумполу «пауком». Но кумпол крепкий. Оклемался.

Я ждал, когда Абатуров спросит: «А кто остановил «паука»?» Но он не спросил. Да если бы и спросил, док ничего не видел.

4

Мое нынешнее положение в пространстве определяется престранным адресом: Атлантический океан, Н-ская впадина, широта..., долгота..., глубина..., второй отсек, правый борт, каюта у ...дцатого шпангоута возле цистерны главного балласта № 3.

Чтобы дополнить картину, можно сказать, что под полом каюты находится носовая аккумуляторная яма. А над каютой за оболочкой прочного корпуса — номерная группа баллонов воздуха высокого давления.

Опа так мала, моя каюта, что в ней можно либо сидеть, либо лежать. Портфель, поставленный па пол, не даст никуда ступить. Стальной стол, тесно прижатый к нему узкий диванчик, сколоченный вместе со шкафчиком и книжной полкой, составляют единую мебельную конструкцию, в которую я влезаю, как в некий деревянный скафандр.

Самое обидное, что на скудное мое пространство претендуют доктор и мичман Шаман. Во время похода первый втискивает ко мне сейф с медикаментами группы «А» (яды, наркотики), второй — железную шкатулку с документами по связи. Пролезть к диванчику тогда можно, толь-

ко согнувшись в три погибели, ступая коленями по железным ящикам. В таком виде каютка моя весьма походит на берлогу под стволом поваленного дерева: «ствол» — толстенное колено вентиляционной магистрали, проходящей по подволоку. Крутой свод борта усиливает впечатление ямы. Посредине — на уровне лба — торчат красные вентили аварийной захлопки и аварийного продувания балластной цистерны. Стоит только задуматься, и они враз отобьют охоту забывать, где ты находишься. Пришлось обмотать маховички поролоном. Это уже для гостей, потому что я научился входить и выходить, скособочив голову на особый манер.

И все-таки в ней уютно, в моей стальной берлоге. Особенно когда на застеленном диванчике белеет свежей наволочкой, выданной в банный день баталером, подушка, а рядом на столике дымится стакан темно-красного чая. Редкую ночь можно провести вот так — слегка разомлев после забортной воды из системы охлаждения дизелей (какой-никакой, а все-таки душ), забравшись под чистую простыню с булгаковским томиком. Механик расщедрился — работает кондиционер. Маленький плафончик в изголовье освещает только краешек стола с мельхиоровым подстаканником да книжные страницы. И мертвая подводная тишина глуха, как та, что смыкалась по ночам вокруг юного врача в его погребенном под снегом доме. И вместе с ним я пил «черный холодный чай», и слушал вой ветра в трубах, и мечтал об уездном городе, где «было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно», и делил его страх перед «неправильными родами» или ущемленной грыжей... И так же, как он, я вздрагиваю «от

грохота в двери», потому что стучат и в мою дверь. В низеньком проемчике сутулится механик. Он молча кладет мне на стол обрывки папиросных бумажек. На них змеились витиеватые — восточные, должно быть, — письма.

— Что это?

— Буддийские молитвы. Снял с вентиля в центральном посту.

— Шутка?

— Трюмный Жамбалов. Устроил на станции всплытия и погружения буддистскую кумирню... Я не могу поручить станцию матросу, который верит в загробную жизнь... Этак он нас всех в нирвану погрузит!

Мартопляс посторонился, и в дверях возник матрос Дамба Жамбалов. Круглое бурятское лицо было спокойно. Щелки глаз надежно защищали его буддистскую душу от чужого взгляда...

Потом выяснилось, что многочисленные маховички воздушных колонок напоминали Дамбе дацанские хурдэ — молитвенные колеса. Красные, желтые, синие барабанчики, набитые свитками бумажных лент с молитвами, вращались руками богомольцев, ветром, водой, и каждый оборот их считался вознесенной молитвой. Молитвообороты отбивались колокольцами. В первый же день, когда трюмный старшина показывал Жамбалову, куда и в каком порядке крутить маховички вентиля, Дамбе пришла в голову благостная мысль превратить разноцветные колесики в хурдэ. Десять колесиков — десять хурдэ, на каждый маховик он наклеил с тыла ободранные с папирос бумажки, на бумажках написал имена от первого до четырнадцатого перерожденца, чья душа на протяжении многих веков переселяется в тела смертных людей. Теперь, продувая балластные цистерны, вращая

маховики вентиля, он возносил в честь каждого святого по меньшей мере пять молитв. Вот эти-то папиросные бумажки с именами и заклинаниями и обнаружил механик.

— Проходи, Дамба... Садись.

Я втиснулся в изголовье своего прокрустового ложа, и Жамбалов осторожно присел на красшек диванчика. Мартопляс деликатно исчез.

— Чаю хочешь?

Дамба покачал круглой стриженной головой: нет. Но я все-таки достал из рундучка стаканы и кипятильник. Чайные приготовления давали время собраться с мыслями. Верующий матрос — редкость, матрос-ламаист — и подавно. Может быть, на мою долю выпал и вовсе единственный случай за всю историю подводного флота. Но от этого не легче. Я набиваю заварочную ложку чаем и лихорадочно вспоминаю, что у меня в библиотечке из книг по научному атеизму. Брошюра «Жил ли Христос?». Если бы «Жил ли Будда?»... «Забавная Библия». Но «Забавный Ганджур» еще никто не написал...

Пока закипает вода, я вызываю в памяти профессора Панцхаву и его лекции по научному атеизму. «Ламаизм — шаманизированный буддизм бурят, тувинцев, калмыков... Запрет на убийство любых живых существ... Раскрашенные маски ритуальных мистерий... Будда... Нирвана... Колесо перерождений... «Ха-рошу-ю религию придумали индусы!..» — вертится в голове вместе с «колесом перерождений» настырная песенка. Кажется, но ламаизму я получил зачет-автомат. Сейчас повторный экзамен. Вот он сидит передо мной, мой беспощадный профессор с боевым номером на матросской рубе. Что я ему скажу? Чем поколеблю вековые устои буддийских истин? Как сделать так, чтобы

Жамбалов верил мне, капитан-лейтенанту Башпилову, а не четырнадцатому перерожденцу?

Механик все испортил. Привел его ко мне, как преступника. Перевоспитывайте!

Главное, убедить матроса, что я не собираюсь его наказывать. Чай заварился.

— Пей,— кивнул я. Жамбалов вынул стакан из подстаканника и держал его, немыслимо горячий, в пальцах.

— Что это за бумажки, Дамба?

— Молитвы.

— На каком языке?

— На тибетском.

— Ты знаешь тибетский?

— Немного. Лама учил.

— Как ты попал к ламе?

— Брат матери. Дядя Гарма. Он в дацане живет.

Порасспросив еще немного о том, о сем, я отпустил Жамбалова на малую приборку. Открыл сейф, достал тощее «личное дело» в конверте из мягкого картона: характеристика, автобиография, служебная карточка, медицинский лист, свидетельство о легководолазной подготовке...

Характеристику подписал командир учебной роты. «Дисциплинирован. Уставы знает и выполняет... Военную тайну хранить умеет...» Автобиография еще короче. «Родился в улусе Кодунский станок. Окончил 10 классов Хоринской средней школы. Работал скотником в совхозе...» В служебной карточке два поощрения: «За отличную приборку кубрика» и «За активное участие в художественной самодеятельности». Интересно, что он там представлял: ритуальные танцы или «позу лотоса»?

Мартопляс пересел Жамбалова подальше от воздушных колонок — в трюм кормового отсека, где жили и несли вахту мидчеллисты. Я навещался к нему несколько раз. Он встречает меня настороженно. Нас разделяет слишком многое, чтобы наши «разговоры по душам» велись на равных. Дамба косился на мои офицерские нашивки, и я стал приходить к нему в обычной комбинезонной куртке без знаков различий. Но это помогает мало. Жамбалов охотно соглашается со всеми моими аргументами против загробной жизни и переселения душ. При этом он кивает круглой стриженной головой. Азиатский человек. Хочет, чтобы я побыстрее закончил разговор и ушел. Он никак не может взять в толк: зачем мне нужно, чтобы он, матрос Дамба Жамбалов, перестал верить Будде. Он считает, что его перевели из трюмных центрального поста в корму за провинность — наклеил бумажки на маховички вентилях. В сущности, это пустяк. С таким же успехом он мог наклеить их и на гребные валы — на скорости хода подводной лодки это не сказалось бы. Но он продолжает думать, что механик наказал его за ущерб, нанесенный корабельной технике.

Лишь однажды Жамбалов оживился и в его глазах вспыхнул неподдельный интерес. Я принес ему номер «Науки и религии» с фотографией во весь разворот. На снимке застыл в горестном оцепенении буддистский старец. Он сидел в зале бангкокского пресс-центра в окружении фотостендов, где были запечатлены жертвы головорезов Пол Пота. Тела монахов, прикрытых оранжевыми мантиями, были уложены в ряды, и ряды эти, словно оранжевые лучи, разбегались от старика во все стороны. Полпотовцы вырезали монастырь поголовно. Уцелел только этот

старик. Он окаменел посреди пресс-центра...

— Дамба, эти люди вели праведный образ жизни. Почему их бог не пришел им на помощь?

Жамбалов не ответил. Я оставил ему журнал и выбрался из трюма.

5

Рано или поздно в отсеках появляются женские лица. Они глядят на тебя из-под настольных стекол в офицерских каютах, они улыбаются с крышек контакторных коробок, они мелькают в зарослях трубопроводов, там, где не ступала нога старпома. Они появляются в самых диковинных и неожиданных местах — фотографии офицерских жен и матросских невест... Наивные глаза школьной подруги. Лихая челка портовой зазнобы. Милая головка, утопающая в мехах. Усталый взгляд верной жены. Беспечная улыбка коварной прелестницы. Заполярная мадонна с мальчуганом в папиной пилюлке...

Механик-«женоборец» выдирает карточки из рамок служебных инструкций, из буртиков пусковых кнопок, из смотровых окошечек агрегатных панелей... Но на другой день в других местах вновь проглядывают женские лица. Так возникают в лесу цветы взамен сорванных.

Их столько, сколько всех пас. Это второй состав экипажа, это женская ипостась команды... Фотопризраки населяют подводную лодку, как фантомы Соляриса орбитальную станцию. Магнитные пленки хранят их голоса, их шепот, их смех, их вздохи... Светомagnetные копии наших подруг плывут под водой вместе с нами...

Сквозь рябь фотораствора проступает ее лицо. Черты все резче, тени все темнее. Кажется,

еще немного, и она выступит из плотной белизны бумажного листа. Оживет. Улыбнется. Как всегда — чуть насмешливо и ласково. «Ну что, — спросит она, — ты меня еще не забыл? Ты опять не знаешь, когда вернешься?»...

Вместо фотофонаря горит красный плафон боевого освещения. Как странно видеть ее в трюме дизельного отсека. Сюда притащили увеличитель и ванночки. Я смотрю в воду, насыщенную чудодейственными солями. Мгновенье света, упавшего с ее лица, застыло на почерневшем фотосеребре. Мгновение ее жизни остановлено на лету и навсегда даровано мне.

...Она любила гадать на свече. Воткнет рядом с фитилем три спички, подожжет и поставит на подоконник под струйку ветра из щели. Три язычка пляшут не в лад, дрожат, мечутся, словно три огненных человечка. Они то застывают в форме сердца, то вытягиваются в виде пули, то, повинуясь порыву пурги, бешено взвиваются. Один огонек гаснет. Два оставшихся то тянутся друг к другу, то шарахаются прочь...

6

Утром чуть не поссорился с Симбирцевым. Снял без моего ведома «Доску почета» в четвертом отсеке. Не понравилось то, как одеты на фотографиях матросы-отличники. Кто в пилотке, кто в бескозырке, кто без головного убора. Формально он прав — нарушен принцип воинского единообразия. Но мне обидно — мог бы поделikatней.

Весь день дуемся друг на друга, не разговариваем. За столом в кают-компании симбирцевский локоть вторгается на мою «территорию», ощущать его наглую неколебимость противно.

Но я не уступаю ни сантиметра, мой локоть яростно вжат в столешницу — попробуй сдвинь. Сидим вопреки пословице — и в тесноте, и в обиде. Понимаешь, что обида пустяковая, что шалют нервы, но поделаться ничего не можешь — трещина ширится, отчуждение растет.

К вечеру Абатуров приказал всплыть под перископ. Оглядел горизонт — никого. Акустик тоже подтверждает — горизонт чист.

Море спокойное.

— По местам стоять, под РДП становиться!..

РДП — работа дизеля под водой. Будем бить зарядку аккумуляторных батарей не всплывая. Из обтекателя рубки выдвигается широкая труба воздухозаборника с навершием в виде рыцарского шлема. Она вспарывает штилевую гладь моря, открываются захлопки, и дизеля жадно всасывают в свои цилиндры драгоценный морской озон. Кроме шахты РДП над водой торчат сейчас выдвижные антенны и оба перископа — зенитный и командирский. Все офицеры, включая и доктора, посменно наблюдают в перископ за морем и небом. На акустиков надежда плохая — грохот дизелей им мешает. Зато нас обнаружить нетрудно — за колоннадой выдвижных мачт тянется предательский белый бурун, шлифованная сталь отбрасывает «зайчики»... Появись патрульный самолет — и в низких лучах закатного солнца наш пенный след будет виден летчикам долго-долго, даже если мы и уйдем на глубину.

Мы с Симбирцевым расписаны в одну смену, он вжимает глаз в окуляр командирского перископа, я — в окуляр зенитного.

Куда ни поверни толстые рукоятки, всюду одно и то же геометрическое зрелище: круг, разделенный горизонтом на две половинки — ниж-

нюю, синевзморщенную (море) и верхнюю, уныло-голубую (небо).

Симбирцев следит за носовым сектором, я за кормовым. Морской горизонт мы поделили пополам — ему полукруг и мне полукруг. Мы тикаемся в границы румбов, точь-в-точь как упирались за столом локтями — зло и молча.

В моем секторе солнце и слепящая дорожка. Всякий раз, когда зрительный круг приближается к светилу, приходится закрывать глаз, чтобы не окриветь от луча, усиленного мощными линзами.

После бессонной ночи так и тянет уткнуться лбом в мягкий резиновый наглазник и слегка подремать. Дремать нельзя — прозеваешь чужой корабль или, что еще проще, самолет, и вся наша скрытность пойдет прахом.

Мы ходим вокруг перископных колодцев и час, и другой... Я печаянно залезаю в симбирцевский сектор, вижу «плосколицую» головку, венчающую его перископ. Гоша тоже видит меня, точнее мое овальное стеклянное око. Мы стоим рядом в боевой рубке, но взгляды наши престранным образом встретились в подсолнечном мире, над водой. Поворотная призма командирского перископа резко опускается и поднимается — будто подмигивает. Ну конечно, подмигивает! Я тоже «мигаю» в ответ.

— Ну что, Сергеич, постоял у перископа — глаз горит, как у циклопа?

— Горит, — соглашаюсь я.

В том глазу, которым смотрел на солнечную рябь, в полумраке прочной рубки горит нечто оранжево-багровое.

— Ничего не заметил? — спрашивает старпом.

— Ничего.

— И у меня все чисто... Посмотри по курсовому двадцать.

Я разворачиваю перископ в сторону носа. Синюю гладь взрезают три черных стежка — три сверкнувших спины, описав крутые полукружья, плавно уходят в воду. Дельфины!

Добрая примета — к хорошим новостям. Может, придет почта?

Жаль, нет времени полюбоваться...

Резвится целая стая. Подошли бы поближе. Или их пугают наши подводные выхлопы? Чафф-чафф-чафф! Торопливый дых натужного паровоза.

Разворачиваюсь в свой сектор. Алый диск солнца вот-вот коснется горизонта. Дорожка уже не слепит, море выстлано красными бликами.

С хрустким шорохом вращаются перископные трубы. Вращаем их мы — уже ноет в плечах. Подлодка идет, полагаясь только на наши с Гошей глаза. Не прозевать бы самолет. Все время чудятся черные точки, возникающие в плотной небесной синеве. Это от напряжения. Иногда для подстраховки меняемся секторами.

Мы ходим со старпомом вокруг перископных колодцев, как кони, вращающие ворот. В тесноте рубки я то и дело ощущаю широкую симбирцевскую спину. Сразу чувствуешь себя увереннее. На этой вахте мы прикрываем друг друга, как в кулачном бою.

7

Струйка воды льется на лицо, и оттого пробуждение ужасно. Все равно что человеку, ожидающему выстрела, хлопнуть над ухом. Пробоина? Прорвало забортный трубопровод? Откуда топит?

Струйка перемещается вдоль шеи, вдоль позвоночника, приятно холодит спину сквозь намокающую простыню... Все в порядке. Это вестовой Дуняшин выполняет мою вчерашнюю просьбу. Через каждые два часа, когда ткань пересыхает, он поливает меня из чайника, усердно, словно садовник грядку. Уснуть можно, только завернувшись в мокрую простыню и включив вентилятор.

Жара, зной тропических вод и дурное тепло, идущее из аккумуляторных ям, от работающих машин и агрегатов, сводят с ума. Мы забыли, что такое одеяла и верхняя одежда. Продрогнуть, ощутить мурашки от холода — кажется несбыточным счастьем. Прохладой веет только от погончиков с литерами «СФ» — «Северный флот». Какой, к черту, Северный, когда от жары плавится шоколад в провизионке и пластиковые печати на ружейных пирамидах?! Иссохли ядра в орехах, чернила в авторучках, зубная паста в тюбиках, штемпельные подушки...

Подводное электрическое пекло; что ни отсек, то духовая печь.

Тело мое приобрело дьявольскую чувствительность — к малейшим токам отсечного воздуха, к перепадам температуры в десятые доли градусов. Неотступное желание — прижать горячие ладони к чему-нибудь холодному. Вчера Симбирцев сделал мне роскошный подарок: позвал в трюм центрального поста и там с труб рефмашины наскреб пригоршню инея. Комок искусственного снега растаял почти мгновенно, оставив в ладонях восхитительное чувство прохлады. О, нега турецких султанов!..

На Мартопляса смотрят зверем. Он не включает кондиционеры, экономя электроэнергию.

Скупой рыцарь аккумуляторных ям. Холод небольшими порциями подается только в центральный пост, чтобы мозги вахтенного офицера, штурмана и рулевого не плавилась вместе с шоколадом и пластилином. У нас появился неизвестный человечеству вид воровства — хладокрадство. Холод центрального поста крадут из смежных отсеков, приоткрывая исподтишка межпереборочные люки. Теперь вахтенные офицеры зорко следят не только за приборами, но и за рычагами кремальерных запоров. Приподнимается стальная рукоять, а обитатели благодатного оазиса уже на чеку...

И все согласны в одном: лучше уж мерзнуть, чем исходить потом. Холод милосерднее жары. От мороза можно спрятаться в шинель, в тулуп, но, сколько ни раздевайся, сколько ни закатывай «разовые» трусы, прохладнее не станет...

На ночных всплываниях из распахнутой шахты рубочных люков вздымается высокий столб тепла. В токе струистого жара дрожат и зыбятся звезды. Вахтенный офицер выбирается на мостик в комбинезонной куртке, натянутой на голые плечи. Счастливчик, уж он-то к утру наверняка продрогнет.

Во всех снах я видел снег: крепко сметанные сугробы с волнистыми козырьками, скрипучий снег морозной пороши, влажный снег весны — серый и зернистый, как грубая соль... А снег Северодара? Сухой, игольчатый и потому искристый; под луной и фонарями он пересверкивает крохотными огоньками; такой снег выпадает только перед прилетом Снежной королевы; королевский снег. Я видел сквозь анфиладу отсеков заснеженные купола старого университета и сугробы у подножья Василия Блаженного, из

которых, точно из белых казематов, торчали рыла медных пушек. Дымились холода той великой московской стужи, когда смерзались трамвайные стрелки и алые вагоны разбредались по чужим маршрутам... И чудился на раскаленном лбу целебный холод тонких пальцев и лед прощального поцелуя.

Но что это? Подушка мокра от слез... Неужели плакал во сне? Нервы? Да нет, что-то с глазами... Боже, как щиплет глаза!

Хлор! Ну конечно, хлор! Морская вода попала в электролит, и из аккумуляторов повалил удушливый газ. Батарея как раз подомной...

Плаксивый крик доктора возвращает надежду на спасение:

— Шура! Ну что ты как кнехт с ушами! Ну что ты смотришь на меня зелеными брызгами?! Ну что ты стоишь, как святой Себастьян со стрелами в животе?! Иди в четвертый и чисти лук у помощника под дверью!

По всему отсеку клубились слезоточивые миазмы.

— Это же не матрос! — взывал доктор к обитателям второго отсека.

Шура Дуняшин — бывший трюмный, а ныне вестовой офицерской кают-компания — абсолютно круглая голова, обаятельная ухмылка от уха до уха, хитрый, как Карлсон, личный враг помощника Федя, у которого он состоит в приборщиках каюты. Если можно Швейка представить в матросской робе, то это Шура Дуняшин, славный сын города Изманла. Он ниспослан нам свыше, чтобы жизнь на подводной лодке не казалась однообразной...

На шум и запах выглянул из каюты командир. Возмутитель спокойствия выдворен из умы-

вальника с кастрюлей лука и отправлен в четвертый отсек, где стоят специальные запахопоглотительные фильтры. Вахтенному офицеру отдано приказание перемешать воздух между отсеками.

На подводных лодках кроме многих прочих табу блюдется запрет на летучие вещества, в том числе и на медицинский эфир. Не принято пользоваться резкими одеколонами. Поэтому, когда Федя-пом проходит через центральный пост, благоухая «Шипром», старший помощник не удерживается от шпильки:

— Федя, скрытность нарушаешь! Нас найдут по газовому следу твоего кавалерийского одеколона!

8

В мичманскую кают-компанию или старшинскую, где вместе с семьей койками сотоварищей находится и его, марфинское, подвесное ложе, Костя почти не заходил. Глыба еще непрожитого походного времени давила в унылой тишине старшинской с особой силой. Здесь почти не разговаривали, обменивались односложными репликами лишь за общей трапезой. Мичманы, сломавшие не одну «автономку», зная, как остерчают они друг друга к концу похода, избегали пока слишком тесного общения, пытаясь оттянуть хотя бы на месяц неизбежные свары, склоки и прочие проявления того, что называется на научном языке «признаками психологической несовместимости». Даже добродушный «трюмач» Ых, Степан Трофимыч, и тот поостыл к Косте, даром что распевали вместе «Вологдугду»; сидел в своем закутке и мастерил из эбонита модельку лодки. Один лишь штурманский

электрик Фролов приставал ко всем с праздными разговорами. Человек начитанный и острый на язык, он почему-то сразу невзлюбил Марфина, а заодно и его кулинарную продукцию:

— Рагу отдай врагу,— враг с горя околеет,— упражнялся Фролов в остроумии за столом — обедом, завтраком и ужином. Щи — сернокислотные... Суп а-ля гастрит...

Шут с ними, с подначками. Костя человек не гордый. Но ехидный электрик дознался, что Костина жена осталась под одной крышей с соседом-лейтенантом, и принялся изводить кока нарочно подобранными песенками.

— «В нашем доме поселился замечательный сосед»... — мурлыкал Фролов, поглядывая на Костю, и, не допев одну, начинал другую. — «Я от солнышка сыночка родила...», «С любовью справлюсь я одна, а ты плыви за бо-нами...».

Марфин бледнел, уходил в кормовой отсек и там долго и тщательно вострил на электроточиле топорик для разделки мяса. За какую-нибудь неделю он сточил его до самого обуха, чем навлек на свою голову гнев помощника командира:

— Где я тебе в океане другой возьму?

Самое досадное, что никто за Костю не заступался. Даже боцман — старший мичман Белохатко, которому на правах первенствующего лица в мичманской кают-компании ничего не стоило осадить остряка, — хранил безразличное молчание.

Море скрадывает расстояние и время. Подводные дни, монотонные, сливаются в один про-

зрачный кристалл, в котором границы педель и месяцев ничуть не заметны и сквозь который последние события береговой жизни видятся ярко и отчетливо, почти ничем не заслоненные. Любое сколько-нибудь значительное происшествие застывает в этом слитке, как мошка в янтаре. А в остальном монолитная глыба времени входит в память и изымается из нее единым блоком — «автономка».

...В первый день осени пришла радиограмма: «В вашем районе дрейфует полузатопленная шлюпка. Соблюдать осторожность при всплытии». А вслед за ней распоряжение — всплыть, подойти к борту танкера, заправиться водой и получить почту.

Письма! Ждет ли их еще кто-нибудь, как ждут подводники. Разве что зимовщики в Антарктиде, когда самолет задерживается на полгода... На подводные лодки корреспонденция никогда прямо не попадает. Мешки с почтой кочуют по всему океану, пока наконец чудом на какой-нибудь якорной стоянке у черта на куличках залетный тральщик или эсминец не передаст на ободранную штормами и обросшую зеленью подлодку экстренный семафор: «Вам почта». И бывает, письмо — «наш малыш уже ходит!» — приходит раньше, чем телеграмма о рождении сына.

Весть о почте облетела всех и сразу, и в отсеках воцарилось оживление почти болезненное: что-то там дома... Предчувствия и предвкушения...

Ликовал только кок Марфин. Новость застала его в душевой кабинке, и теперь он радостно всех убеждал:

— Это я намыл!.. Это я!..

Радиограмма сообщала и координаты той

точки, где нам разрешалось бросить якорь.

Такие точки в нейтральных водах — наперечет. Обычно это песчаные или скальные банки — плоские вершины подводных гор, вулканические поднятия морского дна или языки континентального шельфа. Корабли в дальних походах добираются к ним, как пловцы к буйкам — передохнуть. Все острова Мирового океана давным-давно поделены между прибрежными государствами, и только эти — подводные — открыты кораблям всех флагов, открыты без дипломатических формальностей. Зацепился якорем за грунт, считай, что ты наполовину в порту; отдыхают машины, штурману нет нужды суетиться, рассчитывать течения, брать контрольные пеленги, как если бы корабль лежал в дрейфе, — пожалуйста, точка якорной стоянки определена с астрономической точностью. Можно подкраситься и подремонтироваться, спустить за борт водолаза, а если есть купальная сеть, то и ее тоже. Можно устроить наконец шлюпочные учения с гонками, можно послать к соседу по стоянке баркас с мичманом-уховертом, который сменяет у тамошнего баталера шило на мыло: перловку на гречку, сухое молоко на сгущенное, зубной порошок на яичный, а также короб с драмым фильмом «Три сестры» на «Трех мушкетеров».

Абатуров глянул на карту и слегка расстроился. Грунт в районе нашей стоянки — туф. Каменистое дно плохо держит якорь.

Зато спали как люди — всю ночь, без тревог на всплытия, без срочных погружений. А утром выбрались на корпус и делали гимнастику под бодрые пионерские песни из радиоприемника, который ловит Москву не украдкой — из-под воды, а во весь рост лодочных антенн.

Долгожданный танкер возник из морской синевы и солнечного блеска. Длинный, осанистый, он приближался к нам не спеша, гася инерцию хода. Из иллюминаторов его торчали жестяные совки-ветрогоны. Жарко.

На корме — название белорусского городка — «Слоним». Прочитал, и посреди бескрайней голубой пустыни вдруг повеяло детством. Зеленая речка Щара с плосконосими зелеными щуками, которых выуживали слонимские рыбаки прямо с плотов. Старинные костелы под сенью древних лип, душистые заросли персидской сирени и тревожный гуд роскошных майских жуков...

В первую очередь передали мешки с почтой. Я хлопочу возле них, как инкассатор на вокзале, ибо почту готовы растерзать прямо на палубе.

Ну конечно же в кают-компании уже начали рвать пакеты, и доктор раздает письма. Но это моя святая обязанность, и я забираю все мешки к себе в каюту. Они забивают ее доверху, так что мы с доктором едва в ней вмещаемся. Вспарываем тугие свертки суточной почты боцманскими ножами и потрошим их, словно рыб. Письма вложены между скрученными в трубку журналами, и мы выгребаем их дрожащими от нетерпения пальцами, как браконьеры выгребают красную икру, как грабители — деньги из сейфа, распаляясь с каждой новой пачкой. Письма! Письма!! Письма!!!

Я рассовываю свои конверты по карманам, даже не прочитав толком — от кого. «Не от нее... Не от нее... Не от нее...»

В тамбурчике — толпа, побившая рекорд американцев, втиснувших в телефонную будку двадцать четыре человека. Мы слишком давно не

получали почту... Письма, письма... Мало! Мало!! Мало!!! Скорее следующий пакет... Там будут еще... Следующий, следующий...

Ночью никто не спал — читали письма. Ходили по отсекам, делились новостями. Информационный взрыв.

У лейтенанта Васильчикова родился сын. Поздравлений и шуток — через край.

Помощник Федя в трансе. Письма от молодой жены где-то гуляют по морям-океанам. Зато пришел конверт от двоюродной тетки.

— Сто лет бы от нее не получал!..

9

У высокого борта танкера колыхалась синяя, словно спирт-сырец, морская вода. Стеклоплатная, она не скрывала под грузной кормой зеленую бронзу гребных винтов. Гражданские матросы высыпали на палубу пестрые, как корсары. Мы разглядываем их, смуглых, длинноволосых, во все глаза — точно марсиан, а они, точно так же, нас — белолицых, в диковинных синих пилюльках с козырьками.

— У борта не курить! Не курить! — покрывает со шланговой палубы «слонимский» боцман — волосогрудый малый в зеркальных очках. На голове у него матерчатое кепи с надписью «Нида».

— Гнида, — уточняет Еремеев, поглядывая на боцмана снизу вверх. — Разве так встречают героев-подводников?

И, будто услышав его бурчание, капитан «Слонима», моложавый южанин в лняных джинсах, присылает приглашение на ужин.

Командир, Симбирцев и я охотно перебираемся по зыбкому трапу, мимо жадно трясущихся шлангов. Тугие струи соляра полнят цистерны.

Всякий раз, когда я вижу, как машины подражают людям или животным, мне становится не по себе.

— Что наш штурманец сгущенку тянет — один к одному! — ласково поглядывает Симбирцев на лодку с высоты танкерной надстройки. И сразу представился Васильчиков, по-вампирски всосавшийся в пробитую банку. Похоже.

На трапе жилой палубы промелькнула голоногая женщина в красной юбке-клеш. Мы провожаем ее глазами, как видение из мира иного... Буфетчица? Горничная? Кокша?

— Все, Сергеич! — вздыхает Симбирцев. — Завязываем с ВЭМЭФэ и переходим плавать на белые пароходы!

В двухкомнатную каюту из полированного ясеня, приятно настуженную кондиционером, устланную паласом, вступаем робко, как во дворец после окопной землянки.

Гостеприимство хозяина — его зовут Олимпий — не имело границ. Мало того, что он предоставил нам — столько месяцев не мывшимся горячей пресной водой — свою ванную комнату с набором заграничных шампуней, дезодорантов, ароматизаторов, который составил бы честь туалетному столику кинозвезды, капитан накрыл такой стол, что непритязательные гости с застарелой оскоминой от консервированного хлеба и баночной картошки переглянулись и зацокали языками.

На белоснежной скатерти из груды сицилийских апельсинов, кипрских яблок, марокканских гранатов, винограда и бананов выглядыва-

ли изящные бутылочные горла греческого коньяка «Метакса» и отечественного «боржоми». Нежно розовела ветчина, плакал сыр, и благоухали маслины. Прежде всего мы набросились на яблоки. Крепкие и спелые, они кололись на зубах, как сахар. Мы стыдливо прятали кровавые следы десен. «Метаксу», во избежание соблазна, командир, под тяжкий вздох старпома, попросил убрать до лучших времен.

Потом, когда утолены были первый голод и первая жажда, когда обсказано было все, что может волновать моряков, независимо от того, под каким флагом: синим, вспомогательным, или бело-голубым, военным, — они ходят, когда беседа, несмотря на взрывную силу чашечек с турецким кофе, пошла на спад и паузы все чаще и чаще стали заполняться клубами сигаретного дыма. Олимпий нажал клавишу японского магнитофона, и мощные стереодинамики испустили вдруг глубокий и томный вздох женщины. Тут же возникла торопливая мяукающая музыка; сквозь нее пробивался ритм неспешный, но властный...

— «Любовь мулатки», — подмигнул хозяин, — музыкальный этюд с натуры. В Палермо покупал.

Ритм нарастал. Вздохи женщины учащались. Они становились все нетерпеливее, мулатка изнемогала.

Я покосился на Симбирцева: он слегка изменился в лице; сигара в пальцах дрогнула — серый столбик пепла отломился и припорошил брюки. Светлые усы проступили на побледневшем лице темной полоской... У командира мелко задрожал кофе в чашечке, и он поспешно поставил ее на стол.

Мы так давно не видели женщин — фотогра-

фии не в счет,— что грешные видения перестали являться даже во сне. В отсеках ничто не напоминало о прекрасном поле; кто-то невидимый и мудрый извлек на время из мужских душ томительные мысли о недоступном. О женщинах почти не говорили, на эту тему само собой легло негласное табу...

Мулатка бесновалась...

Хороший парень Олимпий даже не догадывался, что устроил нам, быть может, самое тяжкое испытание за весь поход. Я уже чуть было не взмолился, чуть было не попросил выключить адскую машинку, но не захотел просить пощады первым. Командир тоже держал марку и даже унял дрожь в пальцах; отводил сигарету к пепельнице нарочито ленивым и плавным движением, но на фильтре были видны следы зубов...

К концу у Симбирцева заиграли желваки, и я заопасался, как бы он не хряпнул по изящной заграничной машинке кулачищем. То-то бы расстроил радушного хозяина.

— Ну как? — спросил Олимпий, когда мулатка изомлела.

— Ни-че-го, — ровным голосом обронил Гоша.

Как выглядит ныне посланец судьбы? Распохивается дверь каюты, и через комингс переступает бритоголовый мичман-крепыш в тропических шортах и золотопогонной куртке-полурукавке. Лицо у мичмана Шамана в волдырях от солнечных ожогов, в руке красная папка, в папке — бланк радиограммы.

— Прошуршения! — деловито шуршит посланец судьбы.— Товарищ командир, вам персональное радио.

Абатуров пробегает строчки, набросанные простым карандашом, вскидывает брови и передает бланк мне. Я читаю, слегка меняясь в лице, затем кладу листок перед Симбирцевым.

Олимпий изнывает от любопытства, но чувство мужского достоинства пересиливает, и хозяин роскошных апартаментов отводит взгляд в сторону. «Ох и надоели мне ваши военные тайны...» — разве что не говорит он вслух, принимая деланно равнодушный вид.

Перед тем как вернуть радиogramму мичману, Абатуров перечитывает текст, будто хочет выучить его наизусть.

Каллиграфические строчки, выведенные набитой рукой, сначала бесстрастно сообщали о том, что в Средиземном море начинаются противолодочные учения ВМС НАТО под кодовым названием «Голд нет» («Золотая сеть»), а затем властно приказывали выйти как можно быстрее из района учений и, соблюдая скрытность, перейти в другую точку.

— Спасибо, Олимпий, за хлеб и соль!

— За секс и алкоголь, — кисло усмехается Симбирцев. — В Союзе свидимся — бывай!

Абатуров первым скатывается по трапу, отдавая приказания на бегу:

— Георгий Вячеславович, заправку прекратить, со швартовых сниматься, корабль к бою и походу!

Море зыбилось, и лодка под высоким бортом «Слонима» терлась об огромные кранцы танкера так, что мокрая резина истошно визжала, а швартовы то натягивались до струнного звона, то провисали, будто норовистый конь рвался с привязи.

За Геркулесовыми столбами атомная авианосная армада развернулась в походный ордер, который разительно напоминал эскорт телохранителей вокруг лимузина американского президента. Место правительственного «линкольна» занимал атомный ударный авианосец «Колумб», а мотоциклистов кортежа заменяли три ракетных крейсера и пять эскадренных миноносцев с пусковыми балками управляемых ракет.

Через щель Гибралтара армада проникала по частям: сначала в кильватерном строю проскользнули эсминцы, затем втянулась трехсот-тридцатитрехметровая громадина авианосца с сотней самолетов на борту, а чуть позже «Колумб» догнали ракетные крейсера «Калифорния» и «Южная Каролина». Крейсер «Техас» вместе с атомной подводной лодкой «Рей» вышли навстречу из Картахены. Как циклон свивается из воздушных вихрей, так ранним осенним утром в Альборановом море возник стальной смерч из кораблей, самолетов, подлодок, спутников, всколыхнувших море, небо и эфир от подводных хребтов до околоземного космоса. Смерч этот под названием «Голд нет» — «Золотая сеть» — двинулся на восток, ширясь по фронту и выбрасывая радиоэлектронные языки на сотни миль вперед...

Противолодочные учения начались с того, что с палубы «Колумба» стартовал и ушел по курсу странный самолет, похожий на гибрид дельфина, птицы и черепахи. Это был «Трей-

сер» — палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Его дельфинью спину покрывал черепаший панцирь — обтекатель вращающейся антенны лоатора. Отлетев миль на двести, «Трейсер» стал выписывать «восьмерки» между испанским и алжирским берегами.

Под грибовидным панцирем его вращалась антенна, и все, что засекал ее электронный глаз, возникало на экранах «Колумба», в подпалубных залах «змеиной ямы», как называли на авианосце боевой информационный пост. Кинескопы обзорной «иконорамы» рисовали выход из Альборанова моря. Нескончаемые караваны танкеров, сухогрузов, лайнеров тянулись по обе стороны разделительной зоны к воротам Средиземного моря.

Тем временем подводный атомоход «Рей» занял свое место далеко впереди ордера — в глубинном дозоре, прощупывая лучами гидролокаторов бирюзовую толщу. От их мощного ультразвука менялись в цвете средиземноморские осминоги.

За невидимым «Реем» в пять форштевней резал волну первый эшелон легких сил. Пять ракетных эсминцев, включив гидролокаторы и радары, прорабатывали с взаимным перекрытием подводное и воздушное пространство так, что впереди боевого ядра образовывалась электронная чаша, в которой сразу становилось видным все летящее и плывущее навстречу.

Во втором поясе прикрытия шел ракетный крейсер «Калифорния». Справа и слева от него кружили два беспилотных противолодочных вертолета, управляемых с крейсера по радио. Время от времени летучие роботы зависали над морем, выпускали из брюха яйцеобразные капсулы и макали их на тросе в воду.

Гидрофоны, упрятанные в звукопрозрачные капсулы, вслушивались в глубины — не шумят ли где винты чужих субмарин. Все это было достойно бредовой кисти Босха, которому в голову не пришло изобразить стрекоз, чьи уши в яйцах, выпущенных на ниточке из брюха. Картина могла бы называться так «Охота яйцеуших стрекоз на подводных ящеров».

Наконец, поотстав от «Калифорнии», широко пенил море сам «Колумб». С обоих бортов прикрывали авианосец от ракет и торпед крейсера «Техас» и «Южная Каролина», готовые выставить огневые завесы на пути любой угрозы. Сверху над авианосцем барражировала эскадрилья «демонов» — палубных истребителей, оглашавших морское небо визжащим ревом. Под ними гудел хоровод «морских королей» — тяжелых противолодочных вертолетов «Си Кинг»: круговое охранение боевого ядра. Облетая ордер с кормовых углов, пилоты «морских королей» видели, как втягивается в Гибралтарский пролив хвост армады — два танкера с топливом для крейсеров и эсминцев, водоналивное судно, плавучая мастерская, транспорт-ракето-воз и носитель боевых дельфинов.

Сеть, сплетенную из посылок гидролокаторов и радарных импульсов, корабли армады тянули меж берегов Европы и африканского побережья в надежде выловить любую ненатовскую субмарину — арабскую, греческую, советскую...

Им нужна была добыча, и, чтобы застать ее врасплох, о военно-морских маневрах «Голд нет» американские газеты объявили лишь в последний момент, когда противолодочная армада сошлась и развернулась за Геркулесовыми столбами.

Высокий, худой, чем-то похожий на свое длинное офицерское звание «капитан-лейтенант-инженер», Михаил Мартопляс склонен к фаталистическому взгляду на жизнь: «Все, что может сломаться, ломается». Но это вовсе не мешает ему внушать своим мотористам, электрикам, трюмным истину: «Нет аварийности неизбежной и оправданной. За каждой поломкой — чья-то халатность, разгильдяйство, неисполнительность».

Мартопляс, как и многие подводники, не выносил звонков громкого боя. Ревун — другое дело. Ревун звучит деловито и мягко. Ревун — это погружение, это зов к бою. Звонок — вопль несчастья. Трезвон в отсеках — аварийная тревога: пожар, пробоина, вода... Но сейчас он мечтал о тревожных звонковых трелях. Он лежал в каютке, закинув длинные побитые ноги на сейф с канистрой спирта — для устрашения на дверцу нанесен знак радиоактивной опасности, — и перекачивал под языком таблетку валидола. Сердце щемило, подергивало, ныло...

Надо же так глупо поссориться с командиром, поссориться смертельно, вдрызг, навсегда...

Капитан танкера, этот джинсовый пижон Олимпий, перерыл все свои бумаги, но так и не мог найти паспорт на дизельное топливо. «Ухо с ручкой!» — обозвал про себя Мартопляс капитана и перебрался по зыбкой сходне на подводную лодку. Абатуров вылез ему навстречу, прикрыв дверь ограждения рубки.

— Ну что, мех, за сколько управимся?

— Похоже, останемся без заправки, товарищ командир... Они паспорт на топливо потеряли.

Абатуров присвистнул и сбил на затылок тропическую пилотку с длинным синим козырьком:

— Че де?

Мартопляс пожал плечами.

— А что делать? — ответил сам себе командир. — Будем принимать!

— Товарищ капитан третьего ранга, без паспорта нельзя!.. Неизвестно ни коксовое число, ни цетановое...

— Мех, известно время, к какому мы должны прибыть в точку!

— Запорем дизеля!

— Надо сделать так, чтобы не запороть.

— Это невозможно! Я не знаю качества топлива.

— Дать РДО: «Район занять не могу, так как не могу заправиться без топливного паспорта»?! Засмеют... На мостике! Вахтенный офицер: «По местам стоять! К приемке топлива!»

Мартопляс почувствовал, как ему изменяет обычная покладистость. Внутри закипело, и он, не узнавая своего голоса, отчеканил:

— Я не буду заправляться, товарищ командир!

— Что-о?!

— Я не имею права принять топливо без паспорта.

Но и Абатунова уже понесло: перечить командиру в открытом море?! Да за такое — под трибунал идут.

— Товарищ капитан-лейтенант-инженер, я вам приказываю начать приемку топлива!

Это уже был не просто приказ, это было юридическое заклинание, после которого отказ

Мартопляса становился воинским преступлением.

— Есть, начать приемку топлива! — ответил он так, как требовалось, чтобы отвести занесенный меч военной юстиции. Но Мартопляс не желтоперый лейтенант, вышедший в первую «автономку».

— Товарищ командир, прошу записать ваше приказание в вахтенный журнал!

— Хорошо. Запишу, — цедит Абатуров, и оба понимают, что с этой минуты они объявляют друг другу тихую войну; вместе им больше не служить...

Уходить с лодки, разумеется, придется ему, Мартоплясу, сразу же по возвращении в базу. Надо приискивать новый корабль, а это все равно что поменять жену и заново привыкать к иной подруге жизни.

Убитый таким поворотом дел, Мартопляс лежит на койке, смотрит в полукруглый подволок и растирает о нёбо желатиновую капсулу с валидолом.

«Флотоводец, штопанный в гроб! Пижон на сдобных ножках! Как погружение, так обязательно из-под дизелей на полном ходу. С брызгами! А что дизеля греются и их потом надо маслом прокачивать, это его не колышет... Батарею харчит почем зря, а лечебный цикл провести — суток не выпросишь...»

Механик долго перебирал все прегрешения Абатурова перед лодочной техникой и распалялся, как дизель, пущенный вразнос.

Они прихотливы, эти механизмы, как месячные младенцы. Масло в регулятор оборотов заливается подогретым. Если холодное — то только порциями: по стакану через каждые пять минут. Вода, охлаждающая цилиндры, должна

быть чистым дистиллятом, как аптечная «аквадиста», которой доктор разводит лекарства. На худой конец можно залить и питьевую, но с минимальным содержанием хлоридов... Нет, дорогой товарищ, машину содержать — это не ручки телеграфные дергать: «Полный вперед!» «Полный назад!»

О, если бы «движки» сейчас скисли!.. Но беспаспортное топливо оказалось добротным. Все дизели, как назло, запустились с пол-оборота и работали мягко, плавно, бездымно.

3

Мустанги для удара поворачиваются задом, бизоны — передом. Авианосцы — разворачиваются против ветра и развивают полный ход. Так стартующие самолеты, подминая ветер под крылья, быстрее набирают высоту.

«Утро великого гона», как назвал первый день противолодочной недели командир «Колумба» кэптен Комтон, началось с досадного происшествия. Вахтенный рулевой мастер-чиф-петти-офицер Хэмп слишком круто переложил рули, и авианосец, описывая циркуляцию на полном ходу, накренился так, что два самолета «Викинг», стоявших на парковом участке, за «островом»¹, покатались по полетной палубе к правому борту. По счастью, оба наткнулись на леерные стойки, смяли их, но в воду не свалились. Комтон обругал командира палубного дивизиона обезьяной с мозгами медузы, а из жалованья мастер-чиф-петти-офицера Хэмпна приказал вычесть стоимость поломки.

¹ Главная надстройка авианосца.

И все же утро обещало быть добрым. Юное восточное солнце всплывало точно по курсу. Море, спрессованное линзами бинокля, рябило, искрилось, переливалось всеми оттенками синего, голубого, лазурного. Дельфины, встретившие авианосец у Гибралтара, не отставали и резвились то справа, то слева. Дельфины у Скалы¹ всегда сулили удачу, а удача кэптену Комтону грезилась нынче только в виде «черной рыбки», попавшей в «Золотую сеть». Лучше всего, если бы это была русская «черная рыбка». На рыбу из России всегда был большой спрос.

«А вот и меню,— пошутил про себя Комтон, раскрыв ксерокопию телевизионного сценария.— Точнее, поваренная книга: как лучше приготовить непойманную рыбу».

Сценарий телевизионного шоу ему передал офицер информации, прикомандированный к съемочной группе, что обосновалась на борту авианосца с первого дня учений. Телевизионная мадам — энергичная шатенка в голубом комбинезоне с «молниями» на всех пикантных местах — вытребовала в распоряжение операторов палубный вертолет, и теперь все ее мальчики с нетерпением ждали, когда же «Колумб» поднимет подводную лодку.

Комтон битый час объяснял этой нимфе эфира, что поднять субмарину не так-то просто. Сначала нужно услышать ее в глубине или засечь радаром на поверхности. Потом несколько суток вести ее под водой, не давая увильнуть в сторону, пока подлодка не разрядит аккумуляторную батарею. И уж только тогда она всплывет под прицелы телевизионных камер.

¹ Скала — жаргонное название Гибралтара.

С этого момента и начиналось главное действие прямого репортажа. По замыслу автора шоу, командир авианосца должен был передать командиру подводной лодки издевательский семафор: «Сэр, приглашаю вас на чашечку кофе! Приношу извинения за то, что посылки наших гидролокаторов причинили вам головную боль!» Русский командир, разумеется, отказывается от приглашения, и тогда с борта авианосца летит в сторону лодки шар-зонд, к которому подвязана огромная бутафорская чашка с «кофе», приготовленного из отстоя топливных баков.

После такого пролога мощный проекционный луч, пущенный с борта одного из кораблей сопровождения, изображал на рубке затравленной субмарины портрет гросс-адмирала Деница. Глядя на командующего подводным флотом фашистской Германии, комментатор вопрошал телезрителей: «Что делают красные пираты в море, очищенном союзниками от подводных лодок фюрера и дуче?»

Комтон был не в восторге от этого спектакля. В большую войну его отец водил караваны в Мурманск и считал русских неплохими моряками.

Комтон впервые выходил на боевое патрулирование командиром авианосца. До «Колумба» он командовал десантным кораблем «Эль Пасо». Разумеется, ему льстило, что вожди из *пятиугольного вигвама*¹ назначили именно его на один из самых больших кораблей мира, который вытесняет своими бортами из *теплого пруда*² без малого сто тысяч тонн воды и который

¹ Пентагон.

² Средиземное море.

несет на себе со скоростью курьерского экспреса сотню самолетов и вертолетов, а экипаж его превышает население того оклахомского городка, где Комтон родился: 6 286 человек, из них полтысячи офицеров.

Но то, чем гордился кэптен перед однокашниками по Аннаполису¹: мощь атомной энергетической установки, дальность плавания с одним комплектом активных зон — миллион миль и прочее, прочее, прочее, — самому ему нравилось меньше всего. На огромной палубе «Колумба», в высоченном ангаре, в многоярусном лабиринте внутренних коридоров, с трапами бездонных сходов и шахт, после уютного «Эль Пасо» Комтон чувствовал себя точно так же, как в тот год, когда впервые попал из своего тихого городка в дьявольский муравейник Нью-Йорка.

Он недолюбливал этот плавучий аэродром, побаивался его и называл в интимном кругу «пороховым погребом в бензоскладе, устроенном на атомном вулкане». Старший помощник Комтона командер Молдин не внушал доверия как моряк, ибо до недавнего времени командовал эскадрильей палубных штурмовиков. Он только что кончил школу специалистов атомного флота и в корабельных делах был еще сущим *зомби*². Впрочем, в кают-компании его окрестили Киви — по имени бескрылой новозеландской птицы, что весьма раздражало Молдина, наверное, еще и потому, что лицо его разительно напоминало то ли марабу, то ли эту злополучную киви. Коммандер несколько раз просил Комтона разрешить ему вылет на поиск, но кэптен не-

¹ Привилегированное военно-морское училище в США.

² Новобранец, «салага».

двусмысленно давал понять, что он предпочитает видеть своего старпома на мостике, под рукой, нежели в небе за облаками. Похоже, что Молдин тихо ненавидел его за постоянные отказы. Во всяком случае, все свободное время Молдин проводил в летной кают-компании. Но сегодня ему повезло. Утром старпом подкараулил у дверей флагманского салона вице-адмирала Андрюса и обратился с просьбой к нему. *Вице* разрешил ему слетать на воздушную разведку.

Пусть летит... Все равно от него на мостике толку, как от капеллана на *Sanset boulevard*¹.

В это утро Комтон делал все, чтобы не раздражаться, не терять присутствия духа. «Хорошее начало полдела откачало». А для хорошего начала «противолодочной недели» требовалось только одно — крепкие нервы.

4

Если бы Косте Марфину сказали, что через год-другой судьба забросит его под форштевни атомной эскадры за тридевять морей от родного Едимонова, он бы решил, что провидец не в своем уме.

Да что Марфин... Мне и то не верилось до конца — особенно зимой, в отпуске, когда посиживал где-нибудь в уютном подвальчике в Столешниках или просто несла меня московская толчея с ее (такими смешными из недр отсека и океана) заботами и делами, радостями и огорчениями, — не верилось, что жизнь столкнет ме-

¹ Бульвар Солнечных Закатов — центр ночной жизни Лос-Анджелеса.

ня, и очень скоро, лицом к лицу с теми, кого я привык видеть разве что на газетных карикатурах да на последней странице «крокодильской» обложки: черные корабли, ошестинившиеся зевластыми пушками и пузатыми ракетами, а на них черные костлявые адмиралы, козлобородые, в крутоверхих фуражках. Теперь это жутковатое воинство становилось явью, оно входило в мою жизнь так же реально, как все, что было в ней до сих пор, оно надвигалось, летело, несло на нас, покрывая по семьсот миль в сутки от восхода до восхода.

Капитан третьего ранга Абатуров больше, чем кто-либо на лодке, был готов к встрече с авианосной поисково-ударной группой. Он много раз рисовал на картах синие треугольнички кораблей, прикрывавшие широкий клин с крестом — авианосец. Он вычерчивал круги, обозначающие зоны действия корабельных гидролокаторов, и знал, куда и как проложить курс красного утюжка — своей подводной лодки, — чтобы не попасть в полосу поиска. Все это он проделывал много раз и на командно-штабных учениях, и на военно-морских играх. Но сейчас вместо голубой глади карты вокруг простиралось беспокойное море, окруженное сплошь чужими берегами, а условные значки превратились в быстроходные и беспощадные корабли кичливой державы.

Азарт, греющий кровь и охлаждающий сердце азарт — вот что испытал Абатуров, прочитав радиogramму о начале учений «Голд нет». Первым делом он бросился в штурманскую рубку к верной советнице — карте. Воззив одну иглу измерителя в точку якорной стоянки, он дотянулся

другой до меридиана, к которому подходил первый эшелон противолодочной армады. Времени на выход из зоны поиска оставалось в обрез, и Абатуров порадовался тому, как вовремя он начал заправку. Не хотелось даже думать, что ожидало бы их сейчас — завтра, например, дай он уговорить себя меху-буквоеду не принимать топливо. Болтались бы как цветок в проруби у «супостата» на виду.

Из штурманской рубки он метнулся на мостик:

— Прекратить приемку топлива! По местам стоять, со швартовых сниматься!.. Командир бэчэ-пять, сколько тонн не успели принять?

— Почти все приняли,— мрачно отозвался Мартопляс.— Тонны три подарим танкеру.

— Ну, соколики, понеслись! Крути машина шибче-ка, вовек чтоб не смолкла...

5

Морское солнце высекало авианосец из глыбы ступенчатого, угловатого железа резкими тенями и слепящими бликами. «Колумб» разворачивался против ветра, разглаживая подветренным бортом синие волны с прозрачными гребнями. На гафеле его рогатой мачты трепетали сигнальные флаги «юниформ-янки» и цифровые выпелы, образуя международный сигнал: «Я готовлюсь к подъему в воздух самолетов на истинном курсе 120°».

На носовом срезе авианосца, там, где обрывались разгонные дорожки катапульт, словно индейский костер войны, задымил факел ветроуказателя.

На топс мачты заработал радиомаяк «Такан», а с крыльев мостика понеслись в небо мо-

литвы: одна на языке древних римлян, другая на языке древних иудеев. Обе призывали бога даровать летчикам «Колумба» благополучие и удачу в полетах. Чтобы молитвы не перепутывались, военный капеллан обращался к богу с левого крыла (Библия читается слева), с правого же взывал к всевышнему военный раввин (Тора читается справа). Точно так же, чтобы не создавать взаимных помех, были разнесены по бортам антенны сорока двух радиоустройств «Колумба».

— Патер ностер кви эст ин коэлис... — пел *небесный лоцман*.

— Ба-рух А-та А-до-най Элохей-ну-у... — тянул *охотник на дьяволов*.

Но обе молитвы потонули в реве газотурбинных двигателей. Это сорвался и ушел в небо *ангел* — тяжелый аварийно-спасательный вертолет «Си Спрайт» («Морской эльф»). Ему висеть до конца полетов, ему вылавливать тех, кому не повезет в воздухе, но посчастливится удержаться на воде...

Тренькая тревожными звонками, пошли наверх площадки бортовых элеваторов. Они выставили по паре серебристых машин с заломленными по-ангарному крыльями и снова ушли вниз. Конвейер ангар — палуба — небо заработал...

На флагманский командный пункт, занимавший самый верхний этаж *острова*, все поднялись в синей парадной форме. К этому обязывал ритуал первого дня больших маневров.

Щелкнул динамик. Голос инженера-механика сообщил из поста энергетики и живучести, что на катапульты подали пар, а на щиты газоотбойников — забортная вода охлаждения. После

этого доклада в рубке стало еще напряженнее. Комтон взглянул на браслет японских часов с датчиком кровяного давления. Пунктирные цифорки показывали 70 на 120.

О' кэй!

Оранжевые палубные тягачи выкатывали «Викинги» на старт, и по пути самолеты опускали консоли складных крыльев, точно разминали их после тесноты ангара. У катапульт матросы палубного дивизиона — *пыль земли, обезьяны, джеки* — помогали самолетам отцентровать, скрепляли челноки катапульт разрывными кольцами с палубными рымами.

— За линию! — орал в мегафон толстяк Тротт, командир стартовиков. На плече у него торчала антенна минирации, а уши были забраны в чаши шумофонов. *Джеки, обезьяны, пыль земли* отбегали за белую черту безопасности, летчики давали газ — оранжевое пламя билось в щиты, так что содрогалась бронированная палуба, а море подергивалось от рева мелкой рябью.

— Старт! — рычало в наушниках у Тротта, и капитан нажимал на кнопки палубного пульта. Пар ударял в цилиндры челноков, лопались стопорные кольца, и острокрылые человеко-самолеты срывались с места стремительно, словно стрелы спущенного арбалета. Они вонзались в небо, такое тугое и плотное в этот миг, вскидывали в выраже плоскости и быстро исчезали в бездонной синеве морского неба. Но глаз успевал заметить, как из-под хвостов взмывающих «Викингов» выдвигались длинные жала — штыри магнитометров.

Металлические птицы улетали на поиски металлических рыб, продолжая древнюю войну крыла и плавника.

Четыре скорострельные катапульты выметывали самолеты с интервалом в минуту.

— Так, так, мальчики! — прищелкивал пальцами Молдин. Он стоял за спиной у Комтона и терпеливо дожидался, когда шеф отпустит его с мостика. Челюсти Молдина месили жвачку с тоником. Блок этой слабонаркотизированной резинки подарил ему начальник корабельной полиции майор Дафтон, изъывший сей «предмет седьмой категории»¹ в одном из кубриков.

В воздухе уже было четыре пары «Викингов», когда с дорожек угловой палубы стали взлетать истребители прикрытия.

Первый!

Второй!

Третий!

Четвертый!

Пятый... Пятый с двумя желтыми «тройками» на киле вдруг замедлил взлет, кивнул и круто вошел в воду, взметнув куст ослепительных брызг. Через секунду на месте падения вспучилось несколько пузырей да вспорхнуло облачко пара, выброшенного огнем из работающего сопла. Это белое облачко показалось всем душой пилота, вырвавшейся из пучины в небо.

— Кто? — спросил *вице* Андрюс.

Командир авиакрыла достал из портативной картотеки формуляр:

— Первый лейтенант Томас Бьорке. Двадцать четыре года. Штат Огайо. Холост. Баптист. Пилот второго класса, сэр.

И полковник переложил формуляр в другой ящичек с надписью: «Безвозвратные потери».

¹ На американском флоте все предметы снабжения разбиты на пять категорий. Шестым в шутку называют спиртное, седьмым — наркотики.

«Фантомы» взлетали. Истошный визг последнего самолета перелился в мягкий тающий рокот...

На «Колумбе» и ракетных крейсерах, наблюдавших катастрофу, спустили флаги.

Вице-адмирал Андрюс вылез из кресла, взял микрофон общей трансляции:

— Пилот Томас Бьорке пал при защите государственных интересов Америки. Да упокоит господь его смелую душу! Аминь.

— Реквием? — спросил Комтон.

— Государственный гимн.

Пожалуй, флагман был прав. Траурная мелодия охладит боевой порыв экипажа.

Элеваторы поднимали на палубу тяжелые вертолеты.

Винты их вращались, и тропическое солнце зажигало на дрожащих нимбах блестящие мальтийские кресты.

6

Мартопляс приказал машинной вахте смотреть за контрольными приборами в оба и о малейших отклонениях от нормы докладывать тотчас же. И когда лейтенант-инженер Серпокрылов просунул голову в дверь и доложил, что на правом дизеле сработал сигнальный клапан третьего цилиндра, механик вскочил, точно ему принесли долгожданную весть. Он приказал немедленно застопорить правый двигатель. Затем доложил на мостик, испытывая легкое мстительное чувство:

— Мостик, остановлен правый дизель!

— Пятый, в чем дело? — запросил динамик голосом Феди-пома.

— Выясняем! — отрезал Мартопляс. Командир наверняка рядом, пусть попереживает... Ему это полезно. Но Абатуров оставаться в неведении не захотел и тут же вызвал механика на мостик.

Мостик — олимп подводных богов. Подышать наи чи стейшим в мире воздухом — с ветру, не замутненным никакими вытяжками испарениями — поднимаются сюда считанные люди. Воздух здесь столь легок, что, кажется, вдохни поглубже раз, другой, третий — и поднимешься, как аэростат. Мартопляс даже за поручень прихватился, прокачивая грудь солоноватым терпким озоном.

Абатуров смотрел на него сверху, с откидной площадки.

— Что случилось, мех?

— Похоже, коксуются насос-форсунки, — невозмутимо доложил Мартопляс. — Прошу разрешения разобрать правый дизель и очистить коксовые отложения.

Абатуров покусал губы. Выдавил:

— Разбирайте.

Снятую насос-форсунку Мартопляс разбирал у себя в каюте. Никакого кокса, как он и ожидал, ни в соплах, ни в каналах не было. Кто-то из мотористов, несмотря на запрет, протирал разобранные детали ветошью, и волокнца забились форсуночную иглу. Пустяк. Можно было вывести из работы третий цилиндр, и дизель «пахал» бы и так. Но Мартопляс твердо решил проучить «заплававшего стратега» и через полчаса услышал в цилиндрах среднего дизеля «подозрительные стуки». Он велел выключить топливный насос, и «стук» пропал. Разумеется, «барахлили» все те же форсунки, забитые некондиционным соляром.

Если стук слышен инженер-механику, то его подчиненные услышат тоже. Сказка про голого короля повторялась в дизельном варианте. Остановили и средний двигатель. Работал еще левый, но ведь и он питался все тем же топливом, коксовое число которого было никому не известно. Час, другой — «застучит» и он.

Потерять ход в океане, да еще сорвав при этом учебно-боевую задачу, — позорнейшее ЧП, о котором сразу становится известно на всех флотах. Командира снимают с должности, а если и оставят на прежнем месте, то до конца службы будут вспоминать: «Тот, который болтался в море без хода».

И винить некого — механик предупреждал. Запись в вахтенном журнале не вычеркнешь.

Кто спешит, тот опаздывает.

Сами виноваты, товарищ Абатуров, не надо было брать кота в мешке. Не война, не горит... А если топливо и в самом деле оказалось бы высокосернистым? Запороли бы движки, как пить дать.

Мартопляс хмурил брови, пряча довольную усмешку, и с превеликой озабоченностью щелкал кнопками на панели термодатчиков — лично следил за температурой газов в цилиндрах левого, работающего пока дизеля.

Он не был зловредным по натуре, но чувство собственной правоты и профессиональной гордости, задетое абатуровским окриком, взывало к отмщению, и Мартопляс, пощипывая рыжеватый ус, решал: сейчас ли доложить, что и левый «скисает», или потянуть еще немного, чтобы командир потомился в тягостном ожидании рокового доклада.

Впервые за службу судьба подводного бога — всевластного, грозного, насмешливого — оказа-

лась вдруг всецело в руках механика. Мартопляс даже поглядел на свои ладони с темными пятнами застарелых ожогов и белыми шрамами по числу форсуночных сопел: курсантом подставил руку под отверстия сопел — хотел посмотреть, с какой силой впрыскивается в цилиндр топливо, — качнул рычаг насоса, и острые струйки пробili кожу; капли крови смешались с соляром. «Ну вот, — усмехнулся преподаватель, «дед» с фронтовой «шуки», — у настоящего механика в жилах всегда есть толика соляра».

У Абатурова руки не такие — они покрыты ровным загаром, то ли от частых встреч с солнцем на мостике, то ли от «кварцевых ванн», которые принимает командир, когда лодка под водой. И в душу Мартопляса закрадывается колючая неприязнь к обладателю чистых загорелых рук, замешенная на вековой розни «палубы» и «машины». Ему хочется посмотреть, каким станет абатуровское лицо, когда он доложит, что и левый дизель пора стопорить... Механик берет за поручни трапа, ведущего из отсека, но тут в «дистанционку», отгороженную от дизелей сферической переборкой, вырывает Серпокрылов, выпустив из приоткрытой двери ком яростного грохота.

— Михаил Иванович, — встревоженно выпаливает лейтенант, — у Данилова нашего — аппендицит! Доктор получил добро на операцию!

При слове «операция» Мартопляс ощутил в паху острый холодок скальпеля. Передсрнул плечами. В прошлом году ему вырезали грыжу. Но то было в береговом госпитале, в первоклассной операционной. Не хотел бы он оказаться в отсеке со вскрытым животом. Да еще в такую жару. Жаль Данилова, хороший мидчелист...

Рассуждая таким образом, Мартопляс пере-

бирается в жилой отсек, где на дверце родной каюты поблескивает табличка «Командир БЧ-5», затем пролезает в центральный пост.

— Абатуров наверху? — спрашивает он у штурмана, чья рубка соседствует с трапом на мостик.

— У себя в каюте! — тычет Васильчиков карандашом в носовую переборку. И механик, согнувшись, переносит ногу в круглый лаз офицерского отсека.

В кают-компании доктор распаковывает дорожный микроскоп «Билам», напевая себе под нос.

Дверца командирской каюты отодвинута. Видна ссутуленная абатуровская спина, обтянутая ярко-синей тропической курткой. Золотые погоны сломаны в плечах. Круглый затылок высеребрен чудно — кольцами. Сейчас к ним прибавится еще одно — от доклада о левом дизеле. Мартопляс медлит. Похоже, что он пришел стрелять в спину.

Механика оттесняет доктор:

— Товарищ командир, у Данилова идиосинкразия к новокаину...

Абатуров не оборачивается, утопив голову в нахохленных плечах.

— Док, мы люди простые — от сохи и стакана. Ты бы попроще...

— У него абсолютная непереносимость новокаина.... Нечем обезболить. Придется, как говорили на фронте, под криком. Может, поверхность заморозку?

— Доктор, ты в своем деле большой аксакал, и я тебе не советчик... Пусть кричит, но чтоб встал на ноги, как огурчик. С пупырышками...

— Есть, с пупырышками! — кисло отшучивается доктор.

Данилова, прикрытого простыней, проносят на носилках под сочувственные взгляды центрального поста, просовывают в лаз второго отсека...

Абатуров поворачивается, замечает механика, и на лице его застывает гримаса тоски и отчаяния. Так смотрят на почтальона, в сумке которого похоронка. Мартопляс откашливается. Он сам не узнает свою наигранно бодрую скороговорку:

— Обстановка такая, товарищ командир. Левый дизель «пашет» нормально. На правом перебрали форсунку. Готовы к пуску. Средний собираем. Насчет топлива в голову не берите. Добавлю присадки, похимичим с фильтрами. Выгребем!

— Добро, мех,— шумно вздыхает Абатуров. — Правый на зарядку. Батарею до полной плотности, и будем погружаться.

— Есть.

7

Операция длилась два с половиной часа. Доктор оправдывался: «Аппендикс оказался не на штатном месте, пришлось порыться, пока нашел». Теперь эти полтора-два минут надо было наверстывать из всех лошадиных сил дизельной «тройки».

Всплыли и понеслись, загнав стрелки тахометров под красные ограничители. Лодка шла полным надводным ходом — благо приказ разрешал «использовать по возможности светлое время суток». Светлое время... Здесь под палящим тропическим солнцем оно было скорее ослепительным, чем просто светлым. Вахтенные офицеры без темных очков на мостик не поднима-

лись, а спускались — багроволицые, с волдырями ультрафиолетовых ожогов.

Ветер, рожденный движением корабля, не освежал: с желтого — африканского — берега веяло застойным жаром пустыни. Черное железо легкого корпуса впитывало зной, как губка воду.

Вентиляторы гнали по отсекам горячие ветры, и их струи обвивали голые тела сухими шершавыми лентами.

Темнота не принесла прохлады: хамсин — горячий ветер пустынь — уносил зной песков далеко в море. К тому же всю ночь шла зарядка аккумуляторной батареи, и потеплевший электродит нагревал воздух в лодке еще больше.

Абатуров стоял на мостике и невольно прислушивался к водяному шуму полного хода. Близкая и недоступная вода дразнила слух всеми обещающими прохладу звуками. Захлестывая на корпус, она журчала, булькала, плескалась, пенилась, шипела... И тут же осыхала, оставляя на раскаленном железе белые соляные разводы.

— Штурман.

— Есть, штурман!

— Температура забортной воды?

— Двадцать девять градусов.

Море прогибалось мягко, не образуя валов, и так же плавно вздымалось, точно и ему тоже было трудно дышать в такую жару.

Внизу мечтали о погружении. Под водой включался кондиционер, и райская прохлада растекалась по отсекам...

...Я отдраил дверь в дизельный отсек. В лицо пахнуло жаром горновой печи. Раскаленные цилиндры заливались торопливым грохотом. Обыч-

но, когда идешь в корму, стараешься пройти моторный отсек как можно быстрее. Но сейчас именно здесь решалась судьба нашего похода. Сбавь обороты хотя бы один дизель, и нам уже не вырваться из «Золотой сети»...

Плечи мотористов блестят от пота, на лицах, одуревших от жары и грохота — одно желание: скорее бы под воду. Лишь у Еремеева, давнего моего недруга, в глазах мелькает тень любопытства: чего это зама принесло? Он толкает локтем Соколова, старшину команды мотористов, тот нехотя оборачивается и для проформы кричит «смирно». Я это угадываю по движению губ — уши забиты грохотом плотно и колко, как стекловатой.

Во взгляде Соколова тоже вопрос: в чем дело? Что не так?

Да все так!.. Вы настоящие парни. Не знаю, кем надо быть, чтобы выстаивать такие вахты... Я пришел к вам лишь сказать, что сейчас, как никогда больше, надо выжать из дизелей всю их мощь — до последней лошадиной силы.

Но говорить бесполезно — я не слышу сам себя, слова тонут в адском грохоте. Что делать? Постоять и уйти? Глупо. Уж лучше б не приходил. Еремеев потом будет посмеиваться: зам пришел, губами похлопал и слинял. А то еще похлеще что-нибудь выдаст...

Я оглядываюсь по сторонам. Раскладной столик, за которым мотористы обедают, накрыт старой контурной картой в рыжих соляных пятнах. Качается подвешенный к трубопроводу чайник... Стоп! Карта. Я пробираюсь к столику, отыскиваю район нашего плаванья и подзываю Соколова с Еремеевым. У Соколова торчит за ухом синий карандаш. То, что надо. Я рисую ост-

рый клин авианосца в окружении мелких треугольничков — кораблей охранения, подчеркиваю полосу поиска и зоны действия гидролокаторов. Мотористы сбились у столика, кто с ветошью, кто с ключом... Смотрят с любопытством: штурманская рубка далеко, да и вход в нее не каждому разрешен, а тут все как на ладони. Я рисую утюжок нашей подлодки и жирную стрелу курса, по которому мы выходим из полосы поиска. Все довольно зримо, но уж очень отвлеченно. Схема есть схема... Тогда я набрасываю сеть, в ячейках которой бьется рыба-субмарина. Вот теперь дошло: на чумазых лицах кривые усмешки. Еремеев берет у меня карандаш и переделывает лодку в кукиш, обращенный к авианосцу.

Матросы смеются, смех их беззвучен в железной стукотне разъяренных дизелей.

8

В ангаре Молдин сам выбрал себе машину — хорошо облетанный F-3A «Викинг». Он сам выбрал себе штурмана-оператора первого лейтенанта Рольфа. Рольф, несмотря на свои щенячьи двадцать пять, носил *гонг* за Вьетнам и состоял членом *клуба золотой рыбки*, куда принимали только тех удалцов, кому доводилось катапультироваться в море.

Они взлетали в два часа пополудни. *Черную рыбку* легче всего обнаружить ночью, когда она всплывает на звезды, а также взять воздух и подзарядить батареи.

Формально Молдин не имел права на ночной полет, не совершив тренировочного взлета с палубы. Но командир авиакрыла не стал за-

нудствовать, ибо понимал, кто поднимается в воздух.

— Ахтунг, ахтунг, в небе Гай Молдин! — шутливо бросал он в эфир в те добрые времена, когда Молдин командовал эскадрилей «Викингов».

В огромных палубных зеркалах — индикаторах посадки — сиял бугорчатый шар луны. Черное небо было плотно вымощено золотом звезд. Хорошая ночь, летная.

Молдин поудобнее устроился в чаше кресла, утвердил затылок в подголовнике, подобрался в томительном ожидании толчка.

Оба двигателя уже ревели...

«Эмилен, с именем твоим возношусь!» — мелькнула молитвенная мысль, и Молдин не счел ее сентиментальной.

Старт!

Тело вмялось в ложе спинки с чудовищной силой. Молдину показалось на миг, что глазные яблоки вдавились в сетчатку.

Он ослеп и обездвижел на секунды броска. Первыми ожили руки: с преогромным усилием они удержали штурвал во взлетном положении. Потом тяжесть плавно отступила, и Молдин жадно вздохнул. Как быстро отвыкаешь от перегрузок.

В стеклах *оранжереи* — прозрачного колпака кабины — роились граненые южные звезды. Они поплеядно уходили вниз и вправо. Гай закончил левый разворот и наградил себя новой таблеткой *тоник-гамма*. Хорошая штука, успокаивает нервы и обостряет ночное зрение.

— Как поживаешь, Рольф?

— О'кэй! — откликнулся штурман.

Молдин прибавил газу и по кратчайшей прямой пересек район воздушного поиска, в кото-

ром со старанием школяров звено «Викингов» выписывало магнитометрические галсы.

«Ищите, мальчики, ищите!»

9

Тяжелый все-таки народ собрался в старшинской. Марфина туда на аркане не затянешь. Только спать приходит. Да еще когда баталер Стратилатов гитару свою берет. Хорошо поет, «скобарь пскопской». И песни-то у него все складные — про подводничье житье-бытье:

Зачем нам жены,
Зачем нам дети?
Земные радости не для нас!
Все, чем живем мы сейчас на свете, —
Немного воздуха и приказ...

Насчет жен и детей он чуток перебрал. А вот воздуха, — это точно, маловато. За воздухом — еще никем не дышанным, терпким от морской пыли, чистым и холодным, как родниковая вода, — надо подниматься по стальному колодцу наверх, и то в глухую полночь, когда лодка всплывает, погасив бортовые огни, когда акустик и радиометрист, прослушав глубину и эфир, доложат, что горизонт чист, когда сам командир, торопливо вскарабкавшись на мостик, убедится своими глазами, что вокруг ни огонька, — только тогда разрешат выход в тесный закуток ограждения рубки — по одному из отсека, на пять минут... И нет ничего слаще и пьянее этого воздуха, украденного у сторожащих ночной океан патрульных самолетов и противолодочных кораблей. И хватаешь его жадными губами во весь размах легочных крыл до тихого звона в ушах, до круговерти петушиных хвостов в глазах. Правда, чаще всего долгожданную эту услугу отравляют

курильщики. Засунув в рот по три сигареты, они дымили нещадно, пытаясь накуриться впрок. Некурящее меньшинство, ворча, отступало в кормовую часть ограждения, где из-за колоннады выдвижных устройств несло гальюном, мокрой ветошью и соляром. Но все же Костя приспособился. Как только лодка всплывала в позиционное положение и в центральном посту начиналась легкая суматоха — готовились к выходу на мостик астрономический расчет, команда по выброске мусора и прочий дежурный люд, — Марфин боком-боком пробирался в боевую рубку вроде как проведать мичмана Стратилатова на вертикальном руле и, перекинувшись с ним парой фраз, бесшумно и шустро одолевал остаток пути наверх. Там, укрывшись от ока вахтенного офицера в густой, как деготь, тьме, он вволю дышал свежим воздухом, пока продували выхлопными газами балласт, пока брали звезды и выбрасывали мусор, пока не поднимались, наконец, клятые курильщики.

В этот раз ему также удалось проскользнуть незамеченным, и Костя, порадовавшись своей ловкости, протиснулся между маслянистыми стволами перископов в боцманскую выгородку, где хранились швартовы и запасной буксирный трос. Здесь же было прорезано в обшивке и квадратное отверстие наподобие печной вьюшки.

Костя сидел у распахнутого оконца, наслаждаясь одиночеством и созерцанием махровых южных звезд. Небо походило на стол гранильщика алмазов — так густо сверкало оно драгоценными крупинками. Страшно было вдохнуть по сильнее — того и глядихватишь в легкие звездную пыль. Ночной горизонт отбивался четко, как край гранитной плиты. Входила луна, и ее бугристый желтый глобус висел в черной пусто-

те так близко, что до него можно было дотянуться рукой.

Костя очень хорошо запомнил и это небо, и притихший океан, и эту луну, потому что потом...

Потом он услышал, как сверху за спиной — на мостике — крикнул динамик переговорного устройства и испуганный голос метриста прокричал:

— Наблюдаю работу самолетного локатора. Сила сигнала три балла!

— Стоп дизеля! — заторопился командир. — Все вниз! Срочное погружение.

Марфин секунду еще сидел, лихорадочно соображая, откликнуться ли ему сейчас или попытаться добежать до люка, прежде чем нырнет в него командир. Выбрал последнее, вскочил, зацепился за железо, рванулся, оставив клочок кителя, пропихнулся между перископами, взлетел через приступочку в лобовую часть ограждения и оцепенел перед крышкой задраенного люка — глухой и тяжелой, как надгробная плита. Тогда Костя закричал срывающимся голосом — точно-точно каким он взывал о помощи в дурных снах, заколотил по стальному кругляку каблук, но тут снизу что-то охнуло, зашипел вырывающийся из воды воздух, дырчатая палуба подалась вперед и пошла вниз. В ту же секунду ноги Марфина оказались в воде, и люк — заветный вход в мир тепла, света, жизни — скрылся под бурлящей воронкой. Вода очень быстро подступала к поясу, к груди, к горлу, и Костя забарахтался поближе к вырезу в крыше ограждения. Вырез этот, довольно просторный, сам собой нанизался на тело, Марфин закачался на мелких волнах, которые только что созерцал сверху из роскошного своего убежища. Как ни

был он ошарашен случившимся, все же заметил, как прямо под ним не очень глубоко забрезжило фосфорической зеленью гигантское веретено. Контуры его быстро размывались, свечение меркло, но Марфин засек направление исчезнувшей субмарины, и из всех сил поплыл вслед за ней, как бегут пассажиры, охваченные первым порывом отчаяния, за набирающим скорость поездом. Он беспорядочно молотил руками, не чувствуя больше едкой горечи морского рассола. Луна расстилала по воде не дорожку даже — широченный проспект, и Марфин поплыл по нему, вцепившись взглядом в ноздреватый лунный шар — единственный предмет в бескрайней пустыне океана. На миг ему показалось, что он непременно доплывет до него, обхватит руками и закачается, как на спасательном буге.

«Не дури!» — приказал себе Марфин, и смятение сразу же приутихло, будто в дело вмешался голос постороннего существа, которое знает, что и как сейчас делать. Для начала надо сбросить намокшие китель и брюки и грести по-экономнее. Конечно же в отсеке очень скоро обнаружат его отсутствие, лодка всплывет, развернется, включит прожектор — не шторм же ведь и луна — вон какой светильник! — отыщут, поднимут на борт, разотрут спиртом, да еще и глотнуть дадут. Потом, известное дело, «выговорешник» вкатят, а то и эНэСэС. Да хоть бы в тюрягу засадили, лишь бы не барахтаться посреди океана, лишь бы жить...

Тельник Марфин сбрасывать не стал — белополосатое пятно легче заметить. Только бы судорога не свела.

Утопленника Марфин видел лишь один раз, но запомнил на всю жизнь, как у едимоновского дебаркадера доставали парня, свалившегося

с пристани по пьяной лавочке. Вначале в коричневатой темени волжской воды что-то тускло заблестало — золотые часы на окоченевшей торчком руке, затем появилось бледно-голубое, как бы озябшее лицо с фиолетовыми губами и страшная морда водолаза-спасателя.

А отсюда никакие водолазы не достанут — глубины километровые.

Марфину опять сделалось страшно, и он из всех сил заколотил руками и ногами, точно рядом была отмель и до нее можно было добратся. Он яростно раздвигал ставшую такой вдруг неподатливо вязкой воду, задира л голову — берег от нее рот и ноздри, но она, соленая и горькая, ничуть не уставала смыкаться, там, где разрывали ее руки.

И еще подхлестывала обидная мысль: насмешник Фролов, узнав о его, Костиной, гибели, скажет что-нибудь вроде: «Ну вот, подводник, от слова «подвода». И до Ирины так дойдет...

Ну уж нет! О мертвых плохо не говорят! Лесных не позволит, да и боцман вступится. За ужином разольет мичман Ых вино по стопкам и скажет: «За помин души Константина Марфина... Хороший кок был!» «Человек», — поправит его боцман. А поправит ли?

Марфин выбился из сил — ноги тянуло книзу. Оставалось последнее средство — перевернуться на спину и полежать на воде, если не будет захлестывать лицо. Он с трудом добился равновесия и открыл зажмуренные веки. Тихо охнул: «Эк ведь вызвездило!»

Созвездия переливались всюду, сколько могло поместиться в распахнутых глазах. Ковш Большой Медведицы торчал в искряном мерцалице, словно половник во щах. Его-то только

и смог отыскать Марфин. Сколько раз соби-
рался сходить к штурману, попросить, чтобы
показал, где какая звезда, так и не удосу-
жился...

Как-то на всплытии Марфин нечаянно под-
слушал разговор штурмана с доктором.

— Все-таки в море,— уверял старший лейте-
нант,— самая гигиеничная смерть. Никакого те-
бе гниения, запаха, червей... Рыбки скелет в два
счета обгложут — и извольте радоваться — вы
снова частица великого биоценоза.

— Ну, Виктор Сергеевич,— противился док-
тор навязанной теме,— опять на любимого конь-
ка потянуло.

— Нет, ты сам посуди. Хоронить в море ку-
да разумнее. Правда, «не скажет ни камень, ни
крест, где легли...». Но ведь координаты точек
захоронения мы определяем по конкретной звез-
де. Так сказать, погребальной, звезде. И в изве-
щении вместе с долготой и широтой надо ее
указывать: «Ваш муж похоронен под Альфой
Ориона — звездой Бетельгейзе».

— Тьфу! — разозлился Андреев.— Пей теп-
лый нарзан, штурманило, и смотри довоенные
фильмы. От меланхолии помогает...

Где-то в млечных росзвездах океанского неба
затерялась и его, марфинская, погребальная
звезда. Не та ли вон, крупная, желтая,— мигает,
лучится, приближается...

Когда-то подводные лодки выдавал лишь
след перископа, затем шум винтов. Ныне — лю-
бое излучение — радиоволновое, тепловое, маг-
нитное... Но и субмарины научились ловить
электронные взгляды охотников, научились мгно-

венно определять, кто и откуда направил на них электромагнитный ли, ультразвуковой луч.

Эмблему палубной противолодочной авиации украшала летучая мышь с распростертыми перепончатыми крыльями. Нетопырь средиземноморский весьма точно представлял тактику и оружие «Викингов» — ночную охоту и эхолокацию. Даже профиль полета противолодочных самолетов — с резкими взлетами и пике почти к самой воде — разительно напоминал воздушные скачки рукокрылых.

Зевы самолетных турбин с ревом пожирали воздух ночного неба.

— Включить *Мики Маус*¹? — спросил Рольф.

— Пока не надо. Держи радар на прогреве.

В ясные лунные ночи Молдин не включал локатор. Самолет с работающим радаром напоминал ночного сторожа, который шумом колоушки оповещает всех о своем приближении. *Черные рыбки* сразу же ныряют, едва их антенны ловят импульсы самолетного излучателя. В такие ночи, как эта, Молдин предпочитал всем магнитометрам, тепlopеленгаторам и прочим электронным штучкам собственные глаза. С тысячеметровой высоты широкая рябь лунных дорожек проглядывается далеко и четко. Лунная дорожка вела к городу, где ждала его Эмилен...

Молдин призвал на помощь весь свой опыт охотника за субмаринами. Его редкостное, неприменимое в мире военное ремесло служило теперь лично ему, оно было залогом свидания

¹ Жаргонное название радара.

с Эмилен, и Молдин искал лодку столь же неистово, как язычник гонялся бы за жертвенным животным, зная, что боги, соверши он заклатие, готовы исполнить заветную его просьбу. Он должен был найти лодку, и предерзкая уверенность в том, вопреки осторожности бывалого игрока — не спугнуть бы счастье, — обостряла волю и интуицию. Коммандер Молдин найдет сегодня подводную лодку. Он, и никто иной! Дьявол всем в глотку!

Как ни обидно, но, если быть честным, первым лодку заметил не он, а этот парень, сидящий у него за спиной.

— Коммандир, слева сорок — работа прожектора! — доложил Рольф. В стороне от лунной ряби ночную темень пронзал короткий лучик, быстро пробежал по воде, гас и вспыхивал снова. Молдин выключил бортовые огни, развернулся и пошел в пике на прожектор. На высоте двухсот метров он нажал кнопку *ночного солнца*: сто двадцать миллионов свечей вспыхнуло под правым крылом «Викинга», и в мощном конусе света промелькнула черная рыбина подводной лодки. Глаз успел выхватить скошенную вперед рубку, длинный хвост угря и змеино-головый нос.

«Русская, типа «менуэт»!» — еще не веря счастливому видению, определил Молдин.

— «Менуэт»! — радостно подтвердил Рольф.

Подводная лодка вела себя странно: она не ныряла в глубину, как это велит ей инстинкт самосохранения, она продолжала светить прожектором и позволила «Викингу» еще раз спикировать.

Впрочем, Молдина не занимало ни поведение, ни судьба русского «менуэта»!.. Он сообщил на «Колумб» координаты лодки, и это было самое

главное. В цифрах широты и долготы брезжило заветное имя — Эмилен...

Теперь пусть поработают *плейбои* из дозорного звена. Пусть принимают контакт и передают эсминцам первого эшелона. А там хваткие ребята. Будут молотить гидролокаторами, пока *утопленнички* не всплывут...

Молдин сбросил буй-маркер, который загорелся на черной воде малиновым пламенем, выпустил серию боев-слухачей, записал их сигналы на бортовой магнитофон и лег на обратный курс.

11

Очнулся Марфин под двумя одеялами, шинелью и меховой «канадкой» на нижней, боцманской койке. В старшинской стоял непривычный гул общего разговора.

— Ну, Константин, — заулыбался Ых, дорогой Степан Трофимыч. — Пеки штурманам пирог. Четко сработали. В точку погружения как по ниточке вышли.

— Фролову пеки! — вмешался акустик Голицын. — Это он первый хватился.

— Доктору! — слабо запротестовал электрик. — Полканистры спирта на тебя извел.

— Командиру пирог, — рассудил боцман. — Он режим скрытности нарушил. Теперь все шишки на его голову посыпятся. Из-за тебя, такой-сякой, намазанный-сухой...

В первую минуту Абатуров не поверил докладу: оставить человека на поверхности! Такое могло быть только в анекдоте, но уж никак не наяву.

— Проверить все трюма, ямы и выгородки! Может, уснул где-нибудь...

И, не дожидаясь ничьих сообщений, приказал всплывать...

Абатуров с детства помнил дедовскую поговорку: «Пришла беда — отворяй ворота». От радиограммы о начале «противолодочной недели» НАТО повеяло бедой, но все же это была не беда, а лишь вызов померяться силами. Даже самая грубая прикидка убеждала, что подводная лодка успеет выйти из зоны поиска. Ледяное дыхание беды Абатуров ощутил после доклада механика. Соляр неизвестного качества коксовал форсунки. Это было страшно — остаться без хода на пути противолодочной армады. Разумеется, никто бы их не тронул в нейтральных водах, но уж напотешились бы над беспомощной лодкой вдоволь — фотографировали бы в хвост и в гриву, снимали бы на киноплёнку, забросали семафорами с издевательскими предложениями...

Пока не пришел в каюту механик, Абатуров пережил мучительнейший час в жизни. «Сам виноват, сам виноват!» — стучало в висках. Наверное, прав был Мартопляс, не стоило принимать топливо без паспорта. Но правота механика, и Абатуров это чувствовал, была бескрылой, трусливой... Она исключала выбор, а выбор был: или пан, или пропал. Абатуров не боялся равновероятного расклада, он умел рисковать, зная, что риск — стихия военной службы, веря в свою счастливую звезду. И это знание, и эта вера выручали его не раз... Даже когда доктор осложнил и без того аховую ситуацию докладом о необходимости срочной операции, Абатуров и тут не пал духом, хотя так тянуло запе-

реться в каюте, обхватить голову руками и забыть про все.

Потом он стыдился признаться себе в малодушном желании, ибо звезда удачи сияла, как прежде. Механик переделал фильтры, а доктор успешно прооперировал мидчелиста. Правда, время было потеряно, но у него оставалось немало шансов выйти из полосы поиска незамеченным. Игру с «Золотой сетью» теперь надо было вести на равных, только и всего. В конце концов, интересно проверить возможности механизмов, аппаратуры, экипажа в реальном поединке...

Ночью метристы дважды засекали локаторы патрульных самолетов, брали их на предельной дальности, и дважды лодка благополучно скрывалась в толще моря, пока на мостик не выбрался этот недотепистый кок.

Судьба, случай, фортуна, стихия — все эти понятия сливались для Абатурова в единое: Море. Море было разумно, могуче и жестоко. Однако с этим коварным божеством можно было потягаться, поспорить, побороться.

Абатуров верил, что он и его корабль, живущий в недрах этого таинственного существа, находятся в некоем негласном сговоре с Морем. В тот момент, когда луч корабельного прожектора нащупал в волнах голову Марфина, а прожектор «Викинга» осветил лодку, Абатуров вывел для себя, что Море решило сыграть с ним баш на баш: за жизнь мичмана — потеря скрытности.

Едва спустили окоченевшего кока в боевую рубку, Абатуров сыграл срочное погружение, и, как только затих в цистернах рев воды, все слышали сквозь сталь прочного корпуса пре-

дательский писк «квакеров», радиогидроакустических буев. Серебристые поплавки, сброшенные «Викингом», выставив из воды усы антенн, выстреливали в эфир один и тот же сигнал: «...здесь лодка, здесь лодка, здесь лодка...» И на тревожный этот зов уже летели самолеты дальнего дозора, уже поворачивали эсминцы первого пояса, вызванные по радио счастливым Киви. Разнотональные пiski «квакеров» напоминали Абатурову первые такты грустной песни: «В кавалергардах век недолог...» Позавчера в кают-компании крутили новый фильм, и теперь во всех отсеках мурлыкали, насвистывали, напевали: «Не обещайте деве юной любви вечной на земле...»

«Квакеры» не унимались. Никакой другой звук не сообщит уху подводника столько щемящей тревоги, сколько это вкрадчивое попискивание, пронзающее толщу воды и сталь корпуса. Странно или нет, но Абатуров прислушивался к ним почти с радостью. После многих месяцев одиночного плавания, сплетенных из нудного жужжания приборов, забортной тишины да сыromятной тоски отсечных будней, море наконец-то обещало живое дело, погоню отнюдь не условную, поединок вовсе не учебный.

«В кавалергардах век недолог...» — пророчили посылки буев-шпионов. И душа Абатурова наполнялась дерзостным ликованием: «Это мы еще посмотрим, долог или нет!»

Пищали не «квакеры», гремели охотничьи роги, и будоражащие их клики гнали прочь сонную одурь малоподвижной жизни. И еще окрыляла небывалая командирская свобода: за спиной не стояли осторожные советчики, здесь не было рамок полигонных границ и теснот рекомендованных фарватеров. Все решал он, капитан

третьего ранга Абатуров, — куда уклоняться, каким курсом, на какой глубине, с какой скоростью. То была упительная свобода пилота, бросающего свою машину по наитию опыта, отваги и страсти.

От барьера из бுவ, выставленных «Викингом», Абатуров ушел довольно быстро. Но уходить надо было в самое невероятное для погони место.

Карта, мудрая, немая пифия, подсказывала одно: безопаснее всего там, где опаснее всего. Красная сыпь «поднятых» штурманом банок покрывала южную часть района. Еще вчера, перейдя на новый лист путевой карты, лейтенант Васильчиков обвел и растушевал красным карандашом мелководные поднятия дна. Среди них не было рифов; вершины подводных гор не доходили до поверхности метров на десять. Над ними без особой опаски могли пройти и фрегаты, и эсминцы, но подводники всегда предпочитают держаться от таких мест в стороне. Ошибись в счислении на пару миль и, не ровен час, напорешься на подводную скалу, не обозначенную к тому же на карте.

Уйти туда, к черту на руга?

Абатуров поймал взгляд Симбирцева и прочел то, о чем только что подумал. В низенькой бочкобокой штурманской рубке, над походной картой сам собой собрался «малый военный совет». Лейтенант Васильчиков вжимался в закуток между автопрокладчиком и радиоприемником, уступая место командиру и крутому плечу старпома.

Карта... В минуты тревог и сомнений она притягивает к себе, как костер в ночи. Возле нее собираются без приглашения...

— Товарищ командир, — Васильчиков вырвал

листок из блокнота,— вот последний расчет нашего места.

Это был подарок судьбы! Увалень-штурман, пока искали Костю Марфина, успел поймать в секстан звезду. И какую — самую надежную, любимую Абатуровым — Полярную. Теперь световой крестик автопрокладчика обозначал точнейшие получасовой давности координаты лодки; с такой привязкой можно было рискнуть войти в желобы и каньоны подводного хребта. Неровности дна, банки, расщелины разбрасывали посылки гидролокаторов, рассеивали их, путали, дробили. Кто-кто, а Абатуров, старый акустик, знал об этом не понаслышке.

— Ну что, Вячеславич, укроемся в «шхерах?» — спросил Абатуров, почти не сомневаясь, что старпом, рискованный парень, мысленно давно молит его об этом. Симбирцев просиял.

12

...Светало. Желто-красная радуга плотно охватывала Землю по восточному горизонту. Молдин много раз наблюдал с высоты, как рождается утро. Сначала над скруглением планетного шара брезжит голубоватая дуга. Дуга желтеет, а затем, по каким-то металлургическим законам, начинает играть цветами побежалости точно стальная лента на огне.

Море застыло под крыльями, заблестело, словно синее рытое стекло. Два фрегата тянули за собой рваные белые борозды. Они неслись туда, где уже кружили над погасшим маркером шилохвостые «Викинги». А может, шли на подмогу дозорным эсминцам, которые уже запустили свои электронные пальцы *рыбке*

в жабры. Молдин покачал кораблям крыльями: «Спешите, ребята, спешите!»

«Колумб» запрашивал удаление.

«Колумб» разрешал посадку.

Радиоэлектронные импульсы такая же неотъемлемая часть современного морского оружия, как и сама взрывчатка. Погибает тот, кого обнаруживают первым.

В начале века исход корабельных баталий решала дальность артиллерийского залпа; в конце века победу в бою стала определять дальность радиоэлектронного обнаружения. Сравнивали не калибры и количество стволов — заговорили о киловаттах, «лепестках направленности» и числе антенн. Не наводчики орудий, а радиометристы и гидроакустики стали фаворитами командиров.

Отдав приказание на руль. Абатуров перебрался из штурманской рубки в рубку акустиков. Голицын привычно потеснился, уступив место за экраном и штурвальчик шумопеленгатора. Абатуров сам поворачивал сферическое антенное «ухо», наводя его на источник любого подозрительного шума. В тесном винтовом креслице он чувствовал себя так же уверенно, как в казачьем седле его дед, красный сотник.

Абатуров пригнулся к пульта станции, словно к шее коня. Он уводил своих людей от погони.

«Квакеры» давно стихли, но они сделали свое шпионское дело: навели на след лодки эсминцы первого пояса.

Первым услышал «американца» Голицын. Он

перехватил абатуровскую руку на штурвальчике пеленгатора:

— Задержитесь, товарищ командир!

Абатуров вслушался и в гулких вздохах глубины разобрал едва различимые посылки гидролокатора.

Ти-нннн... Ти-нннн... Ти-нннн... Будто кто-то пощелкивал ногтем по краю хрустального бокала. Потом и по другому пеленгу возникли такие же нежно-певучие замирающие стоны.

Ти-нннн... Ти-нннн... Ти-нннн...

Ишут. Безобидно печальные ловчие звуки заволакивали, точно пенье сладкогласных сирен. Абатуров передернул плечами, стряхнул гипноз, источаемый коварными манка́ми.

— Штурман,— нажал он кнопку микрофона.— По пеленгам... работают гидролокаторы эсминцев. Дистанция... кабельтовых.

— Есты! — бодро откликнулся Васильчиков, герой дня.

Посылки нарастали, приближались. Они вонзались в барабанные перепонки, словно иглы измерителя в карту... Хотелось втянуть голову, как от свиста пуль.

Ти-нннн... Ти-нннн... Ти-нннн...

Нашупывают. Как ночной самолет, ловят в клещи прожекторов.

Куда уклоняться? Подвсплыть или уйти на предельную глубину? Замереть или рвануть самым полным ходом?

Ти-нннн... Ти-нннн... Ти-нннн...

— Товарищ командир, цель номер два — пеленг не меняется! На нас прет.

— Слышу... Боцман, ныряй на глубину... метров!.. Объявляю режим «тишина». Свободным от вахт лечь в койки!

Неужели взяли?

Море, мудрое великое могучее Море, ты не выдашь дочь своих глубин! Укрой же ее плотным соленым слоем, как плащом, поглоти, рассей лучи чужих вибраторов. Ты чудотворно, Море, твои игры со звуком непредсказуемы, тайны живых твоих недр неподсудны электронному мозгу.

Не возвращай им эхо, Море!

Ти-нннь... Ти-нннь... Ти-нннь...

13

Ну вот и настал наш час! Дуэль антенн. Пока антенн...

Я перебираюсь в центральный пост.

В тусклом свете боевого освещения поблескивают стекла приборов, шлифованная сталь механизмов, тлеют сигнальные лампочки. Жарко. В многослойных наростах кабельных трасс, трубопроводов, агрегатных коробок затерялись люди. Мокрая спина боцмана сутулится над шкалами дифференциметров. Мартопляс вперила невидящий от усталости взгляд в стрелку глубиномера; на голых его ногах, открытых шортами, темные следы от ударов об острое и горячее машинное железо. Трюмный мичман Ых, не снимая рук с вентилей воздуха высокого давления, привалился к ограждению перископной шахты.

Гоша Симбирцев в голубой майке и таких же «небесных» трусах загромоздил собой половину штурманской рубки. Лейтенант Васильчиков — тоже не тростиночка — ютится на краешке прокладочного стола. Почти соприкасаясь лбами, они вглядываются в серую от графитовой пыли карту. Карандашные линии изобража-

ют надводную обстановку: поисковые галсы кораблей охранения... Не очень-то Симбирцев верит штурманской графике. И дело даже не в том, что Васильчиков молод. Все эти линии прочерчены по докладам акустика — на слух... А как там на самом деле? Что там — на поверхности?

Хорошо летчикам. У них легкое мировосприятие — сверху вниз. Мир под ними. Над подводниками мир нависает всей своей мощью, всеми своими дамокловыми мечами — киями противолодочных кораблей, океанской толщью... Давит. Все время поглядываешь вверх, словно и впрямь что-то увидишь...

Ти-нннь... Ти-нннь... Ти-нннь...

Будто натянули нервы на арфу и щиплют...

Могу поручиться, из памяти Симбирцева ушло сейчас все, что не связано с выходом из зоны поиска. И вспухает на левом виске жила. И покусывают нижнюю губу сухие зубы. Не выдержав цепящей немоты карты, он срывается с места, резко вздев рычаг кремальеры, перебирается в офицерский отсек к акустикам. Там хоть слышишь противника, и даже видишь, пусть иллюзорно, почти символически, — пляшет на экранчике зеленоватый эллипс, исковерканный чужими импульсами, но на душе легчает: вот он, супостат! А вот и пеленг на него!.. И уж если что успокаивает, так это точные, по-звериному вкрадчивые движения Голицына, виртуозная игра пальцев с тумблерами и верньерами... И эти рысьи зрачки, чье зрение обращено в слух. Игольный луч взгляда выхватывает только цифры на лимбах. И все. И ничего больше.

Чтобы уничтожить подводную лодку, достаточно порой одного снаряда весом не тяжелее

утюга. Это хрупкий корабль. Его можно потопить ударом кия небольшого судна. У субмарины нет брони. Главный наш щит — темнота: тьма ночи и тьма глубин. Но спасительный мрак ночи развеян радарами. Да и непроглядная толща моря, скрывающая подлодку от преследователей, стала куда «прозрачнее», когда корабли-охотники оснастили гидролокаторами.

Силы, определяющие успех подводной лодки, чаще всего бесплотны и незримы. Это соленость и тепловые перепады морской воды, образующие слои, в которых шум лодочных винтов слышен противнику за сотни миль.

Это воздушные токи атмосферного океана либо размывающие газовой след лодки, либо сохраняющие ее выхлопной шлейф для электронного обоняния самолетов.

Это ионосферные штили и бури.

Это, наконец, воля командира и спаянность экипажа — факторы сколь бесплотные, неизмеримые, столь и реальные.

14

«Викинг» набирал высоту. Молдин нажал кнопку, и шестиметровое жало магнитометра втянулось в хвост самолета. Меч в ножны!

«Прощай, *черная рыбка!* Ты принесла мне счастье...»

Молдин распечатал новую пачку *тоник-гама*. Оттого что дело было сделано, и сделано хорошо, ему хотелось крутнуть «бочку» или выкинуть что-нибудь похлеще.

— Рольф, — сказал он, сдерживая ликование. — За мной дюжина виски. И дюжина настоящего кьянти.

— Откуда кьянти? — деловито осведомился штурман.

— Из Неаполя.

Свой призовой отпуск Молдин намеревался провести именно там. Раз в неделю с палубы «Колумба» транспортный вертолет отправлялся в Гаэту, городок под Неаполем, где располагался штаб главнокомандующего вооруженными силами НАТО на южном фланге. Черт с ним, со штабом! В Неаполе жила Эмилен.

Молдин не сомневался, что одно из мест в «летающем салоне» будет оставлено для героя «противолодочной недели».

15

До спасительной банки оставалось несколько миль, когда в центральном посту раздался горестный возглас акустика.

— Товарищ командир. Похоже, взяли нас! Пеленг на цель номер два не меняется. Дистанция быстро сокращается...

Абатуров кошкой метнулся в гидроакустическую рубку.

— Прет как танк,— добавил Голицын, подавая вторую пару наушников.

Абатуров тут же услышал торопливый писк чужого гидролокатора. Посылки шли одна за другой — это американский акустик переключился на диапазон ближнего поиска. Для точного определения подводного объекта ему нужно было получить как можно больше ответных эхосигналов, потому и строчил его вибратор, как пулемет. Американец работал на высоких частотах, сменив ненужный ему теперь круговой поисковый обзор на режим направленного слежения. Сомнений не оставалось — вцепился!

Абатуров без труда представил себе радостное оживление в гидроакустической рубке чужого эсминца. Операторы только что доложили о контакте командир и теперь с удвоенным вниманием следят за огненной точкой на экране. Точка движется по оцифрованному кругу, как шарик по колесу рулетки. Точка-шарик уже отметила выигрышное число — одно из трехсот шестидесяти делений горизонта, то самое, что указывает пеленг на подводную лодку.

Все это снилось Абатурову в дурных снах, все это сейчас происходило наяву.

— Затихли, товарищ командир, — Голицын шумно выдохнул. Минуты две он не дышал вообще, держа в груди воздух, как учили старые акустики — для лучшего слуха. Но как ни вслушивался он в забортный шум — писк гидролокатора стих, как будто его и не было.

— Стоп моторы! — распорядился Абатуров в микрофон. И Голицын понял, что никакого чуда, не произошло. Просто «американец» вырубил гидролокатор, остановил турбины и перешел на режим шумопеленгования — пытается определить тип лодки по звуку ее винтов.

Ага! Забеспокоились. Не слышит... В наушниках снова настырно запищало.

Абатуров нажал кнопку боевой трансляции:

— Вниманию экипажа! Мы находимся в полосе наблюдения американского эсминца. Мы должны оторваться от слежения. Это дело чести нашего флага!.. Слушать в отсеках!

— Есть, первый!

— Есть, второй!

— Есть, третий! — отзывались отсеки голосами их командиров, и Симбирцев, Мартопляс, все кто был в центральном посту, невольно подня-

ли глаза на динамик. Эти набившие оскомину доклады звучали сейчас, как короткие клятвы.

Абатуров приказал положить руль право на борт — в сторону от подводных вершин заветной банки. Он знал, что делал, как знал и то, что будет делать дальше. Пусть потом это назовут авантюрой, пусть осудят на тактических разборах, пусть снимают с должности. Но пока командир подводной лодки он — капитан третьего ранга Абатуров. И слава богу, никто не стоит за спиной!

— Пищит, Дима? — нагнулся он к Голицыну. Мичман щелкнул тумблером, и в рубку ворвался истошный писк гидролокатора.

— Ну-ка, врежь-ка ему на той же частоте! — Абатуров не удержался от разбойной улыбочки, и мичман просиял тоже. Наконец-то живое дело! И душу можно отвести... Никогда в жизни он не настраивал свой гидролокатор с такой сноровкой. А настроив, еще раз взглянул на командира.

— Давай! — кивнул Абатуров.

И Голицын с наслаждением выпустил серию коротких посылок по тому же каналу, по какому шло облучение. Импульс в импульс, луч в луч! То-то сейчас чертыхаются на эсминце. Та еще свистоплясочка на экране!

Колесо фортуны крутнули в другую сторону, и огненный шарик развертки заплясал, сбившись с выигрышной клетки...

Теперь, когда операторы эсминца на время «ослепли», нельзя было терять ни секунды. Абатуров вернул лодку на прежний курс.

— Три мотора самый полный вперед!

Стрелки машинного телеграфа дважды скакнули до упора, что означало крайнюю срочность,

и в шестом отсеке дружно взвыли роторы электромоторов.

Подводная лодка неслась к безымянной банке, взвивая за собой невидимые вихри. Пока Голицын «забивал» своими посылками гидроакустический тракт эсминца, Абатуров под шумок включил эхолот. Увы, глубины под килем не радовали. Самописцы чертили рельеф дна, и неровная линия не поднималась выше той, которую жаждал командир. Да и карта утверждала бесстрастно: глубины вокруг пока что запретные или околопредельные — для задуманного маневра не годятся. Абатуровский план был прост и сулил надежды вполне реальные: под покровом помех оторваться от слежения, на максимальных ходах отскочить к банке и лечь на грунт, затаившись среди складок дна. К тому же район изобиловал потопленными в войну судами, среди них были и две немецкие подводные лодки. Эхосигналы, отраженные их корпусами, ничем не отличались бы от тех, что могли выдасть и притихшую субмарину. На этом и строился командирский расчет: переждать преследователей и всплыть, когда они удалятся на безопасное расстояние. Гладко было на бумаге... Но даже бумага — добротная картографическая бумага — и та не обещала никакой гладкости. Грунт облюбованного плато напоминал лоскутное одеяло: тут тебе и ракушечник, тут тебе и ил, и, что самое неприятное, — не угадаешь, где плитняк. Абатуров же с курсантских времен знал: подводные лодки на плитняк не ложатся, как не приземляются на каменистые поля самолеты. Знал он и то, что покладка на глубинах, ниже рабочих, запрещена. И когда Абатуров все же сказал старпому: «Георгий Вячеславович, убирайте лаг» (на языке лег-

чиков это означало бы «выпускайте шасси»), Симбирцев посмотрел на командира весьма выразительно. И прочитал в ответ немое: «Решено!»

Абатуров взял микрофон, он поднял его так, будто кривая пластмассовая палочка налилась вдруг тяжестью несусветной.

— Погружаемся на предельную глубину. Ложимся на грунт. Слушать забортные шумы!

16

За тридцать миль до авианосца Молдин закончил последний разворот, лег на курс «Колумба» и выпустил тормозные щитки. «Такан», радиомаяк на топе мачты, подзывал одиночный «Викниг», как наседка цыпленка — настойчиво, неумоимо. Дисплей автоштурмана выдавал точные координаты авианосца и самолета, и даже рисовал для пущей наглядности взаимное положение «наседки» и «цыпленка». Усни пилот — и радиоавтоматика сама выведет самолет на глиссаду, выпустит посадочный гак, зацепит его за тормозные тросы аэрофинишера. Но Молдин засыпать не собирался. Он вообще редко прибегал к услугам посадочной автоматики, считая зазорным для настоящего аса садиться так, как это делают желторотые *додо*¹ — зажмурившись от страха и вверив свою жизнь *радионянке*. И дело даже не в гоноре. Лучше не разнеживать себя без нужды, а садиться так, как это делали *пилотяги* в добрые старые времена — выйти на корму за одиннадцать километров,

¹ Курсант, не совершивший самостоятельного полета. (Додо — вымершая нелетающая птица.)

имея под крыльями триста метров высоты. Молдин сманеврировал снайперски: в контрольной точке подлета посадочные зеркала «Колумба» приветливо сверкнули — «заходи, ты на верном курсе!». А через минуту он увидел знакомый силуэт «Колумбовой» палубы. Ее зеленоватый абрис походил на погрудную мишень, перечернутую желто-белой разметкой, словно орденской лентой. В носу, на срезе взлетного участка, желтели огромные цифры палубного номера — «69». Номер-перевертыш считался у летчиков счастливым. Но странное дело: вместо того чтобы крупнеть, расти, цифры вдруг стали уменьшаться, как если бы авианосец удалялся со скоростью большей, чем нагонял его самолет. Это было невероятно и в то же время столь очевидно, что Молдин невольно прибавил газу и взял пониже. Однако наваждение продолжалось: «Колумб» уменьшался! Молдина прошиб холодный пот, но он был готов поклясться, что желтый номер-перевертыш закувыркался, отделился от палубы и распластался на синей глади моря. Это было последнее, чему он успел ужаснуться, так и не поняв, что произошло с авианосцем, а может быть, с его, Молдина, глазами...

С ракетных крейсеров хорошо видели, как заходивший на посадку «Викинг» вдруг круто клюнул и врезался в портик кормового ангара. Семнадцать тонн металла, помноженные на пятисоткилометровую скорость, сотрясли крупнейший корабль мира. Корма его вздыбилась и выбросила клуб соломенного огня. Пламя оторвалось от палубы, свилось в рыжий венец, который, вихрясь и полыхая, втягивал в себя столб чернейшего дыма...

Три часа назад по лодке разнеслась команда, никогда ранее никем не слышанная; по крайней мере, мной.

— Легли на грунт. Осмотреться в отсеках. Вахта по пребыванию на грунте. Первой смене заступить.

Легли, по всей вероятности, удачно. Стрелки приборов застыли, не доходя всего десяти метров до отметки предельной глубины. Правда, когда коснулись грунта, по правому борту слышался скрежет. Должно быть, задела о камень. Однако футштоки не вылетали, и на том спасибо.

А самое главное — эсминцы нас потеряли. Гидролокаторы их слышны, но работают они на низких — поисковых — частотах и импульсы шлют не по пеленгу, не в точном направлении, а рассылают посылки по секторам — прощупывают глубину то тут, то там. Один из кораблей прошел почти «над головой». Слышно было, как прострекотали его винты, буравя воду, как заунывно оглашали окрестную глубину стоны подкильного вибратора, будто эсминец жаловался — упустил добычу. В отсеках и без того стояла тишина, а тут и вовсе все замерли.

Все гудящие и жужжащие агрегаты выключены. Приказания отдаются не по громкой связи, а по телефону — вполголоса.

— Есть, второй! — отвечает центральному электрик Тодор, и я догадываюсь, что вахтенный офицер распорядился замерить состав воздуха. Представляю себе сейчас этот состав! Коктейль, а не воздух. Давно пора снаряжать регенерационные установки. Но Симбирцев — это его хозяйство — не спешит, экономит кислород.

Кто знает, сколько придется пролежать на грунте — сутки? Двое? Трое?

А Мартопляс, как всегда, экономит электроэнергию. На этот раз — самым скаредным образом. В отсеках горят только плафоны дежурного освещения. Погасил и я свою крохотную лампочку в изголовье. В каютке темно, холодно и тихо. Всем, кроме вахтенных, приказано лечь в койки... Меньше хождений, меньше шума... Вахтенные ходят только в носках.

Меня всегда поражало, как это альпинисты могут спать, прикрепив свои гамаки к отвесным скальным стенкам где-нибудь на высоте небоскреба. Но и лежать на «глубине небоскреба» не более уютно. Кажется, я впервые жалею, что у меня каюта-одиночка. Из лейтенантской четырехместки доносится приглушенный говор, сдавленный смех... Это Васильчикову смешно. Наверное, вот так же бузил в пионерлагере во время «тихого» часа...

Боже мой, неужели это все существует — пионерлагеря, лесные опушки, тихие речки?.. И люди ходят свободно, не пригибаясь, не боясь звука собственных шагов... Все правильно. Даже у птиц есть свои дозоры. Вот и мы лежим здесь «в секрете». И какая разница, что над головой — кроны приграничных кустов или океанская толща?

Обед раздали сухим пайком. Марфинские электроплиты слишком прожорливы для наших аккумуляторных ям. Федя-пом расщедрился на сухари и воблу, чтобы лежать в койках было не так скучно.

Лучше всего бы уснуть, но сна ни в одном глазу. Никогда не думал, что так противно лежать поневоле... Воспоминания вдруг нахлынули сплошными беспорядочным потоком. Будто

вывалилась из коробки киноплёнка и заструилась, свиваясь в немыслимые узлы и спирали. Вспомнилось то, что никогда в жизни и не вспоминал. Чего только не хранит в себе человеческая память! Даже вензеля, выцарапанные кем-то на заиндевевшем стекле троллейбуса лет десять назад.

В два часа ночи произошло необъяснимое. Эсминцы выключили станции, легли на обратный курс и ушли к западу на полных оборотах.

Абатуров не спешил радоваться прежде времени. Гидролокаторы стихли, но корабли могли рыскать неподалеку.

Днем подводная лодка чуть подвсплыла, чтобы не присосало илистое дно, и снова легла на грунт.

И только вечером, переждав опасное световое время, Абатуров приказал всплывать под перископ.

Покачивать начало уже на пятидесяти метрах, а на перископной глубине всем пришлось крепко держаться, чтобы устоять на ногах.

— Тихо водичка журчит в галльоне, служба подводная нравится мне,— подмигнул Марфину извечный его насмешник Фролов, глядя, как зеленеет кок от первых приступов «морской болезни».

Абатуров поднял командирский перископ, но увидел очень немного: темные взгорбья волн вставали у самых линз, заслоняя ночной горизонт.

Шторм разыгрывался. Как он нужен был сейчас! Рев его забил бы гидрофоны чужих шумопеленгаторов. Чем выше валы, тем больше помех на экранах самолетных радаров. Правда, сильная зыбь могла перемешать звукорассеивающие слои, под которыми можно было укры-

ваться, как под хорошим пологом. Но добра без худа, как и худа без добра, не бывает. Абатуров опустил в шахту перископ, приказал боцману уходить на рабочую глубину, а вахтенному офицеру объявить «готовность два подводную, команде чай пить».

Перед самым рассветом командир получил персональную радиogramму, которая сообщала, что из-за пожара на авианосце «Колумб» противолодочное учение «Золотая сеть» прерывается. Эта же радиogramма разрешала подводной лодке всплыть и встать на трехдневную якорную стоянку.

18

«Колумб» горел с кормы. Густой черный дым заволок парковый участок полетной палубы, окутал ядовитыми клубами *остров*, так что надстройку пришлось задраить по противоатомному варианту.

Кэптен Комтон приказал развернуться против ветра, но ни один из четырех рулей авианосца не переключался. В румпельном помещении бушевал огонь. Все же «Колумб» развернулся, работая винтами враздрай. Дым свалился за борт и тяжело закружился по воде, оставляя на бирюзовых волнах длинные пряди копти.

Через несколько минут после катастрофы «Викинга» в рубку флагмана стали поступать доклады один тревожнее другого.

Самым скверным было то, что вышел из строя механизм опускания огнезащитных штор, и потому пожар охватил сразу весь кормовой ангар. Горели самолеты, плотно начиненные электроникой, горел алюминий обходных мости-

ков, разбрасывая огненные брызги; чадно пылала авиационная резина... Как ни бушевали пожарные сплинклеры, как ни извергались пеногоны, пламя проникло на трюмную палубу и подбиралось к цистернам авиатоплива. Единственное, что удалось сделать вовремя, это затопить кормовые погреба самолетных боеприпасов.

Командир авиакрыла напомнил Комтону, что в воздухе находится эскадрилья «Викингов». Надо было что-то с ними решать — посадочная полоса не могла их принять. Комтон не успел сказать командиру авиакрыла и полслова, как его вниманием всецело завладел пост энергетики и живучести. Механик просил срочно убрать самолеты из среднего ангара, так как броневая переборка, отделяющая его от горячей кормы, опасно накалилась.

И уже совсем не вовремя сунулся с докладом начальник полицейского участка, который успел произвести обыск в каюте старпома и установил, что командер Молдин был наркоманом, ибо держал в своем столе наполовину опустошенный блок героинизированной жевательной резинки.

Комтон послал сыщика к дьяволу и нажал клавишу громкой связи с рубкой руководителя полетов:

— Посадка на корабль запрещена! Всем самолетам следовать на ближайший береговой аэродром.

Командир авиакрыла пытался втолковать Комтону, что трем самолетам не хватит горючего дотянуть до берега, но тот его не слышал. Он оцепенело вперил взгляд в развороченную корму, заваленную хлопьями черной от гари пены. Странная мысль пришла ему в голову. Тот «индейский» костер войны, который он зажег

на носовом срезе полетной палубы, перекинулся вдруг на корму и пожирал теперь корабль, точно фараонова змея — собственный хвост...

...Пожар на «Колумбе» удалось потушить к исходу вторых суток. Комтону положили на стол список потерь: семь человек погибших, двадцать три тяжелообожженных, девятнадцать легко раненных...

Прервав «противолодочную неделю», ударный авианосец направился в Неаполь, где его поджидал док.

Глава пятая ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

О, одиночество корабля в море. Одиночество путника в пустыне. Но чему уподобить одиночество подводной лодки в толще океана?

И был поход — дальний и долгий, как космический полет к иным мирам. И были иные миры — жаркие страны с белоглиняными городами. И были штормы и срочные погружения. И были дни, недели и месяцы, сотканые, как один, из мерного жужжания приборов, неживого света плафонов, смен вахт и ожидания ночных всплытий «на звезды».

И был долгожданный приказ, прорвавшийся к нам сквозь ионосферные бури, сквозь помехи от содрогавших эфир радиостанций американских авианосцев, — домой!

Примета осени — вестовой старпома пришивает подворотничок к кителю. Значит, наверху похолодало.

В отсеках появились ватники. Их извлекли из дальних закоулков и держат наготове — вот-вот понадобятся. После опостылевшей за лето «тропички» смотришь на них с удовольствием. Они предвещают холод, север, берег, дом.

Домой! Счет похода пошел на сутки. Разменяли последнюю декаду, последнюю неделю. У календаря в кают-компании ведутся нескончаемые подсчеты последнего «вторника», последнего «воскресенья». Старпом сердится: в море нельзя загадывать наперед.

И все-таки лейтенант Симаков не удерживается от радостного возгласа:

— Последняя «разуха»!

Лодочный баталер в последний раз выдал комплекты «разового» белья.

Веками моряк определял приближение к берегу по облакам, птицам, множеству других признаков. У подводников иные приметы...

Близость берега ощущается и по «слепым» пока картам: изобары глубин пошли на убыль — триста, двести, сто метров... Вот-вот появятся очертания материка...

Сегодня ночью увидели первое северное сияние. Вылезли на мостик и кричали:

— Лепота-а!

Лейтенант Симаков стоял на продувном ветру в одном кителе, и, прикрыв уши ладонями, вглядывался в радужное небо.

Северное сияние развернулось из единственного всполоха — быстро и пестро, как китайская циновка. Оно закурчавилось малахитовыми завитушками и понеслось по небу неровными пугливыми скачками.

Едва легли на «ноль», на «чистый норд», и Полярная звезда, еще не взошедшая в зе-

нит, поворотила к себе нос корабля, едва стало ясно, что идем домой прямым ходом, без отклонений и попутных задач, как запретные воспоминания — весь поход на них лежало табу — забрезжили, ожили, беспощадно заполняя собой часы недолгого одиочества. Будто на секретном пакете сломали сургучные печати...

2

В отсеке за центральным постом, там, где камбуз и мичманская кают-компания, живут только два офицера: инженер-механик Мартопляс и помощник командира Федя Руднев. Их шкафоподобные каютки втиснуты под правый борт рядышком — через фанерную переборку — и выходят отдвижными дверцами в средний коридор. Это соседство, пожалуй, единственное, что побуждает их к дружбе, весьма странной и неровной.

Федя-помощник сбрил бороду, сидит в кают-компании розовый и уплетает оладьи с вареньем. Входит Мартопляс:

— Ладушки-ладушки, Федя ест оладушки!

Руднев вдруг необъяснимо раздражается:

— Для кого Федя, а для кого «помощник командира подводной лодки».

— Виноват, товарищ помощник командира подводной лодки, — скучнеет механик. У него великолепно развито то «верхнее офицерское чутье», которое подсказывает, где и когда можно звать старшего по должности на «ты» и по имени. Чутье это не ошиблось и на сей раз, ошибся всплывший Федя. Он сам это чувствует и пытается сгладить неловкость:

— Мех, сколько весит кнехт?

— Встань на весы — узнаешь, — мрачно роняет механик под громовой хохот стола. Улыбается вестовой, улыбается и сам Федя:

— Ладно, мех, один — ноль в твою...

Но Мартопляс не спешит на мировую. Он старше Феде па пять лет — на полный курс военно-морского училища, — и ему обидны начальственные наскоки «карася», к тому же неблагодарного. Не он ли готовил Федю к допуску на самостоятельное управление подводной лодкой? Сколько трюмов обползали вместе, пока помощник понял и запомнил извивы дифферентовочных, осушительных, масляных, топливных и прочих магистралей? И вот на тебе, да еще на людях: «Для кого Федя, а для кого...»

Но Федя не хочет ссориться с соседом по отсеку. Вечером он вваливается к механику в каюту так, как будто ничего не случилось, бесцеремонно присаживается на застеленный диванчик. Федя явно наслаждается ледяным презрением, которое источает взгляд механика. Федя чувствует себя хозяином положения — он принес такую новость, что Мартопляс простит ему все сразу, — и потому для пущего куражу достает плоскую жестяную фляжку, небрежно кивает на сейф со спиртом:

— Плесни-ка для дезинфекции камбузного инвентаря...

Мартопляс бледнеет от бешенства, он набирает в грудь воздуха, чтобы прореветь все, что он думает о Рудневе и его камбужном инвентаре, но Федя, мастер интриги, опережает гневную тираду:

— С тебя причитается, мех! Капудан-паша написал представления на ордена. Тебе и доктору.

Мартопляс сбит и растерян: орден! За что? Недоумение его столь искренне, что Федя считает нужным пояснить:

— Доку за операцию, тебе,— наизусть цитирует помощник,— за «решение сложной технической проблемы, способствовавшей успешному выполнению учебно-боевой задачи». В общем, за форсунки и фильтры! Наливай!

Федя ушел с полной фляжкой. А Мартопляс долго не мог успокоиться; его бросало то в жар, то в холод.

Кто бы мог подумать — орден? В базе флагмех потребует отчета: как вышли из положения. Сразу выяснится, что никакого чудодейственного фильтра Мартопляс не изобрел, форсунки не коксовались, да и топливо в норме. Вот будет позорище. Липовый орденосец... Нет, нет, надо что-то придумать, что-то сделать...

Попросить Абатурова не посылать представление? Подумает — ложная скромность, и все равно пошлет.

Объяснить ему все? Убьет. А не убьет — на парткомиссию, а то и под трибунал отправит.

Что же делать?

Высокий лоб Мартопляса взмок и чутко улавливал токи отсечного воздуха...

3

Мы возвращаемся под барабанный бой пишущих машинок. Отчеты, отчеты, отчеты... Старпом, командиры боевых частей, примостившись кто где, пишут пухлые тома отчетов о торпедных стрельбах, о маневрировании на учениях, обо всем, что случилось с нами в походе. Глядя на подводные лодки, трудно поверить, что эти могучие стальные рыбы больны такой постыд-

ной канцелярской болезнью, как бумажная парша. Боже, сколько бумаг!

Если бы Фрэнсиса Дрейка или Моргана заставили документировать все свои действия, пиратство бы вывелось на корню.

На прокладочном столе скучная карта-сетка без глубин, без островов. Она означает некое условное пространство и пригодна для любого района Мирового океана на данной широте. Долгота проставляется карандашом под безымянными меридианами. Кажется, будто мы вообще вышли, выпали из реальных земных координат и превратились в абстрактное тело, такое же условное, как значок, представляющий нас на магнитной карте Главного штаба ВМФ. Мы случайно перескочили в двухмерное пространство и теперь обречены жить в плоскостном мире координатных сеток. От этого ощущения можно было бы повредиться, если бы на штурманском пульте, висящем над столом автопрокладчика, не проплывали в окошечке лага цифры пройденных миль, а на шкалах счислителя не выскакивали градусы широты-долготы. Хотя вся эта штурманская цифирь так же неосвязаема, как и пространство карты-сетки, тем не менее гудящий штурманский пульт с многочисленными окошечками, в которых пошевеливаются картушки гирокомпасов, вращаются цифровые барабанчики с узлами и милями, он, этот путепрядный станок, приободряет, к нему тянет, от него трудно оторваться...

Мысль об ордене преследовала Мартопляса неотступно, лишала сна и душевного покоя. Кто бы мог подумать, что история с беспаспортным топливом повернется таким боком?! Конечно,

неплохо было бы достать кортик и продырявить борт парадной тужурки для тяжелой темно-вишневой звезды. Он где-то слышал, что была на флоте такая традиция — дырки под ордена сверлить острием кортика. Но... И вот тут-то голос флотского благоразумия подавлял тщеславие доводами весьма весомыми. Пусть вернется он, Михаил Мартопляс, в базу героем. Сразу же флагманский механик спросит: за что и как? Начнет выявлять передовой опыт... Можно повесить лапшу на уши «лейтенанту минус инженеру» Серпокрылову, можно убедить далекого от дизельной техники Абатурова в чудодейственности мифических фильтров и присадок. Но уж капитан второго ранга инженер Гарбузов, бог дизелей и король механиков, сообразит, что к чему. Достаточно взять на анализ остатки топлива... И все! А там и до трибунала недалеко. Попробуй потом объясни, что командира хотел воспитнуть, уважение к «боевой части пять» привить...

Хоть иди к Абатурову, проси, чтоб порвал представление... Не порвет. Подумает, заскромничал «дед»...

От тяжести ли раздумий, от нехватки ли витаминов, от рук ли, неотмываемых от въевшихся масел даже пемзовым мылом, на деснах и нёбе появились мелкие язвочки. Мартопляс отловил доктора и заставил его заглянуть себе в рот.

— Стоматит, — поморщился доктор. — Хочешь, йодом смажу? А еще лучше, прополощи спиртом.

Вечером перед вахтой инженер-механик открыл сейф, налил из канистры полстакана, спирта, старательно прополоскал рот, сплюнул «огненную влагу» в раковину умывальника, вытер усы и отправился в центральный пост.

В узком проходике между вентилями воздушных колонок и ограждением выдвижных устройств Мартопляс разминутся с командиром. Абатуров направлялся в корму, но вдруг обернулся, принялся и подозвал механика.

— Вот что, Михаил Иванович,— процедил он вполголоса, чтобы не слышали трюмные,— идите в каюту, проспитесь!.. На вахту — Серпокрылова.

Мартопляс от изумления открыл рот, отчего спиртом повеяло еще сильнее, слова о докторе, о стоматите готовы были сорваться с копчика языка, но, к счастью, не сорвались, ибо механика осенило: вот он, выход из тупика!

— Есть...— ответил он, пьяно ворочая языком.

— И объяснительную записку мне на стол!

— Бузьзелано!

Пьяниц Абатуров ненавидел люто и убирал их с корабля при первой возможности. Об этом знали все. О врожденной неприязни Абатурова к спиртному ходили анекдоты. Стопку пайкового вина, которую командир оставлял за обедом нетронутой, если ее не выпивал старпом, разыгрывали в кают-компании на «морского козла».

Объяснительную записку Мартопляс написал с несвойственной ему наглостью: «Привел себя в нетрезвое состояние по случаю представления к ордену». Бумагу передал командиру через старшего помощника.

Утром в каюту механика ввалился сосед — Федя-пом.

— Ну и пентюх же ты, Март! — искренне огорчился помощник. — Пропил свой орден. Амба!

— Не извольте беспокоиться, вашсокродь! —

Мартопляс шутовски закинул ладонь за ухо.— Так что все проъем, а флот не опозорим!

— Кувалда ты в фуражке! — в сердцах задвинул за собой дверцу Федя.

Механик усмехнулся в рыжеватые усы, навечно пропахшие соляром.

4

Домой!

Подводная лодка ползет вверх по меридиану, как улитка по стеблю. Большая Медведица так поднялась над горизонтом, что видны уже Гончие Псы, примостившиеся под «ковшом». А Полярная звезда утвердилась в зените. Над Скандинавией стоит ясная луна. Небо чисто. Западные звезды в поволоке северного сияния.

Мы снова во владениях Снежной королевы...

На мостике непроглядная темень. Удивительно легко чувствуешь себя в темноте. За поход она стала средой обитания, такой же привычной, как воздух, и я опасаясь, как бы солнечный свет не заставил меня прятаться в сумрак. Оказывается, глазу вполне достаточно света звезд. Тусклая подсветка компасного репитера, если не прикрыть стекло рукой, слепит словно прожектор.

Командира тревожит странное свечение, возникшее у нас по курсу. Пеленг на него не меняется, и это значит, что непонятное зарево движется вместе с нами. Горит танкер? Буровая вышка? Светится за горизонтом гавань? НЛО? Огни святого Эльма? Старпом вспоминает, что года три назад в этом районе извергался вулкан. Может, проснулся еще один?

И, словно в подтверждении симбирцевской версии, у самой рубки вздыбилась вдруг шаль-

ная волна. Нас окатило с головой. Такие всплески бывают только от подземных толчков.

Под утро пересекли тридцать второй меридиан — границу полярных владений СССР. Я сообщил об этом по лодочной трансляции, и в отсеках грянуло «ура!».

Боцман красит суриком новую легость для бросательных концов. Плетеный мешочек с грузом должен эффектно упасть на снег причала: алое на белом.

Симбирцев собрал обе швартовые команды — носовую и кормовую — в дизельном отсеке на инструктаж. Это что-то вроде генеральной репетиции перед премьерой. Швартовка — венец всего похода, и она должна быть разыграна перед глазами встречающего начальства, перед лицом всего подплава, на виду жен и детей — с блеском балетной труппы Большого театра. Действо под названием «Экстра-швартовка отличной подводной лодки» будет разыграно так. На носу и на корме стоят выстроенные по «ранжиру, весу и жиру» швартовщики в новеньких спасательных жилетах, бушлатах и бескозырках. Командиры обеих швартовых партий — в тужурках при белых сорочках и галстуках. На носовой «бульбе» — замер матрос Данилов с гюйштокком и красным полотнищем наготове; в корме — матрос Жамбалов с флагштоком и белосиним флагом.

Едва нос пересечет торцевую линию пирса, как обе партии бесшумно и четко разбегутся к кнехтам и киповым планкам. По свистку с мостика носовая швартовая команда подаст на пирс бросательные концы. Ярко-красный мешочек легости опишет плавную дугу и вспыхнет на снегу алой точкой. Это и будет последняя точка похода.

— И смотрите у меня, кто «щуку» поймает! — грозно, но не страшно предупреждает старпом, дабы отбить охоту промахиваться и попадать легостью в воду. — По двум свисткам заводит концы кормовая партия. Швартовы укладывать не вперехлест, как на речной барже, а вразбор, каждый через свой кнехт и свою киповую планку.

Симбирцев вставил в пальцы спички и показал ниткой, как надо.

Едва ошвартуется нос, как тут же по команде «флаг перенести», на носу мгновенно будет вооружен гюйсшток с гюйсом, а на корме взойдется военно-морской флаг.

— Кто не понял своего назначения — поднять руку? — спрашивает старпом и довольно подытоживает: — У матросов нет вопросов!

Штурман расстилает на прокладочном столе последнюю карту. На ней уже виден вход в гавань.

Никто не спит. Общая бессоница. Не помогает и димедрол — домой идем, какой, к черту, сон!

Последняя ходовая неделя — самое опасное время. Экипаж уже живет берегом — предвкушениями, ожиданиями, заботами, делами, прерванными походом, забытыми до поры и теперь вновь оживающими. В такие дни жди аварий, чрезвычайных происшествий и прочих бед. Самая вероятная — расплавление подшипников гребных валов.

Я себя так застрашал этими подшипниками, что запах горелого баббита стал мерещиться мне даже на камбузе. Все так просто: вот мидчелист Данилов задремал на вахте, масло вытекает из

корпуса опорного подшипника, шейка вала трется о вкладыш всухую, стремительно греется, и вот уже потек расплавленный металл, вал стопорится, гребной винт замирает...

Мои тревоги и опасения перерастают в стойкий страх, и я все чаще и чаще наведываюсь к мидчелистам. Прихожу к ним и глухой полночью, в часы лютой бессонницы... Только там, в трюме предкормового отсека, сердце отпускает... С мерным шелестом вращаются гребные валы, масляные ванны полны, и опорный подшипник, мидчель, размером с добрую бочку, обильно струит по своим канавкам разогретое турбинное масло; стрелки температурных датчиков далеки от красных рисок... И в глазах матроса Данилова ни тени сна...

Мидчелисты, как и все трюмные,— люди, живущие под двумя поверхностями: под поверхностью моря и под отсечной палубой. Квадратный люк, прикрытый рифленой крышкой — ее не сразу-то и заметишь на перекрестке среднего прохода и дорожки в галюн правого борта,— ведет в «шхеры» мидчелистов. Там они и вахтят, там они и спят — матрасы уложены в промежутки между гребными электромоторами. Короткий отвесный трапик — и ты, пригибаясь, влезаешь в механическое «подбрюшье» субмарины.

Обитатели тихого и теплого трюма скрыты от офицерского глаза, они предоставлены самим себе, и тут нужна изрядная совесть, чтобы не пользоваться преимуществами укромного местечка. Ведь здесь расписана одна из самых тяжелых в психологическом смысле вахт: сидеть и наблюдать. Часами. Изю дня в день, из месяца в месяц. Ни моря тебе, ни чаек, которых видят порой сигнальщики, ни пенья дельфинов, которое слышат иногда акустики.

Море дает знать о себе лишь солеными каплями, выжатыми на большой глубине из дейдвудных сальников, да еще в качку, когда швыряет так, что того и гляди угодишь под вращающиеся валы толщиной с бревно. Только держись!

Наверное, Данилов с такими же впечатлениями мог просидеть год под землей, в метро, наблюдая, как вращаются шестерни эскалаторов. Требуется недюжинное воображение, чтобы, глядя на подшипники и масляные ванны, представлять себя на корабле, в океане, в глубинах Атлантики, на боевом посту...

В ногах Данилова цистерна циркуляционного масла; масло, нагретое подшипниками, испускает приятное тепло. Покачивает. Укачивает. Убаюкивает ровный шум гребных валов. Клонит в сон. А рядом — рукой дотянуться — подушка родной койки. А на соседней — уютно посапывают подвахтенный Жамбалов. Никто не увидит, ничего не случится, если преклонить голову на подушку. Ведь термометры и отсюда хорошо видно... До берега — рукой подать. Море свое — Баренцево. Дома, уже почти дома...

Я знаю, Данилов не будет нести вахту, лежа на койке. И не достанет из конторки, укрепленной над мидчелем, затрепанную «Французскую волчицу».

Не будет дремать и Дамба Жамбалов. Он здорово изменился за поход. Я помню, как в отсек влезал черноглазый и бритоголовый мальчуган с испуганным взглядом. Теперь из люков лодочной шахты выберется на свет смуглый парень-крепыш с уверенным мужским взглядом из-под сросшихся бровей.

Можно возвращаться в каюту и спать до утреннего всплытия на сеанс связи... Но уходить

не хочется. Есть в этом машинном закоулке свой уют. Сидим друг против друга, молчим... Смотрю, как дрожат блики на лоснящихся ва-лах.

Лодка идет средним ходом. В таком режиме смазка валопроводов ведется форсированно, то есть подается на подшипники под давлением специальным насосом. Валы, словно веретена, мотают путевую пряжу.

Странно, но чем ближе к дому, тем невероятнее кажется встреча. За весь многомесячный поход только одно ее письмо сумело добраться до меня. Тоненький конверт с виолами на картинке затаился между страниц журнала «Коммунист Вооруженных Сил». Журнал из бумажного постмешка попал сначала в мичманскую кают-компанию, а там на политзанятиях кок Марфин обнаружил письмо и принес его мне.

Это случилось в те дни, когда подводная лодка дрейфовала ввиду далекого гористого берега, безлюдного, заброшенного, покрытого руинами древних городов... Штурманская карта пестрела значками приметных с моря мавзолеев, храмов, башен... Белесая дневная луна опрокидывала свои мертвые цирки над выветренными колизеями безжизненного берега, и мир, в который мы забрели, в котором мы плыли, казался таким же нереальным, таким же приснившимся, как и листок, неведь как возникший в этом странном месте... Я прочитал письмо трижды, надеясь всякий раз отыскать какое-нибудь незамеченное слово, букву, знак, вышедший из-под ее руки. Я заглядывал в бумажный пакетик — не осталось ли там записки? Я изучал штампель и обратный адрес. Я прочел все,

что только можно было прочитать на конверте...

Письмо было коротеньким и веселым. Она отправила его через два дня после нашего ухода — почти что вдогонку. А за все остальные месяцы не пришло ни строчки... Что с ней? Где она? С кем она?.. Еще сорок восемь ходовых часов, и на все эти вопросы я получу точные и, может быть, беспощадные ответы.

5

Близость берега угадывается во всем, даже в распоряжениях центрального поста:

— На вахту заступить командирам боевых постов. Личному составу начать большую приборку!

— Начать подготовку к смотру формы одежды! Смотр проводить в бескозырках и бушлатах.

В носовом отсеке открылась подводная швальня. Здесь, на площадке у торпедных аппаратов, стрекочет старенькая швейная машинка, отпаривают утюгами шинели и бушлаты.

Радио из Москвы слышно по-береговому ясно. Клавдия Шульженко поет все те же песни, что слушал в блиндажах из-под патефонной иглы мой отец. Как, в сущности, мало отделяет нас от той войны, если одна и та же певица поет все ту же «Темную ночь» — мне точно так же, как и отцу после боя. Как живо она связала наши с ним времена...

Вечером получили большую радиограмму от комфлота. Тут же посыпались догадки одна мрачней другой: «Район нарезали — авиацию

обеспечивать»... «Атаку крейсера дадут»... «Теперь до китайской пасхи, не раньше...»

На мостик избирается Федя-пом.

— Кацура! — сообщает он с убитым видом. — Еще на месяц продлили...

Мартопляс бледнеет так, что даже в темноте видно, как отхлынула кровь от его щек.

Я спускаюсь в радиорубку. Навстречу сияющий командир.

— Все в порядке, Сергеич! Добро на возвращение!

Взлетаю на мостик. Федя-пом улыбается: разыграл!

— Ну, Федя! — негодует механик. — Через канифас-блок бы тебя за такие шуточки!

В полночь вахтенный офицер лейтенант Симаков получил из центрального поста приказ — «Включить ходовые огни!»

Отпали последние сомнения — домой!

На радостях Симаков стал тискать сигнальщика. А тот, как заведенный, кричал одни и те же слова:

— Я же говорил, тарьщстаршнант... Я же говорил. На нашей вахте включим огни! Я же говорил!

Огни, правда, не очень-то зажигались, но электрик Тодор шустро отыскал неполадку.

Я скатился вниз и бросился в каюту старпома. Симбирцев лежал поверх одеяла и конечно же не спал.

— Слышал?!

— Домой?

— Вот та-ак вот!..

— Ну давай, Сергеич, обнимемся!

И мы обнялись.

Я пошел по отсекам. Моряки отдраивали переборки и пожимали друг другу руки. Волна рукопожатий неслась из корму в нос и из носа в корму.

«Еще немного, еще чуть-чуть, — рвалась из динамиков песня. — Последний бой, он трудный самый. А я в Россию, домой хочу...»

Песню оборвал торжественный голос командира:

— Товарищи подводники! Получено радио. Командующий флотом приказал нам всплыть сегодня в четыре ноля и следовать в базу. Обращаю внимание на бдительность несения вахт...

— Эх, да разве ж так это делается?! — расстроился старпом. — Сначала играют тревогу. А затем уже, когда все «на товсь» — голосом Левитана... Ну ничего. Утром мы устроим салют из линеметов. По числу контактов с подводными целями.

Утром Симбирцев позвал меня к радиометристам. Развертка локатора «отбивала» на экране контуры родного полуострова. Он выплывал белесо-призрачный, будто из сна. То, что так долго было прорисью карты, превращалось в электронный мираж, а мираж вот-вот должен был стать сначала дымчатой, а потом гранитной явью. Земля родная... Лейтенант Симаков первым увидел входные маяки, и растроганный старпом снял с него «все ранее наложенные взыскания».

— Амнистия! — усмехнулся Симбирцев.

В эти последние часы у всех вдруг обнаружилось множество срочных дел. Электрики носятся, опечатывают розетки, мичман Шаман наклеивает на сейфы этикетки, покрывая их для надежности эпоксидной смолой. На одну из та-

ких этикеток, свежеприсмоленную к сейфу живучести, сел вахтенный механик, безнадежно испортив парадные брюки. Баталер снует по отсекам, собирая «аварийное» шерстяное белье. Марфин печет пирог, и он у него горит. Офицерскую четырехместку доверху завалили тюфяками, штурман яростно в них роется, пытаясь докопаться до тубы с картами залива и гавани.

Федя-пом сделал-таки «финишный рывок»: на обед выставил припрятанный «Старый замок» вместо набившего оскомину рислинга. Вино укачалось и стало необыкновенно вкусным. В солянке мяса больше, чем соленых огурцов: консервированные почки, ветчина, колбаса, тушенка. Похоже, Федя вбухал в последний котел все свои запасы.

Роскошный обед прервал ревун тревоги: «Корабль к проходу узкости изготовить!»

Здравствуй, родная «узкость»!

Наскоро переодеваюсь в своей каютке. Сбрасываю надоевшие за переход свитер и синюю «комбезную» куртку. Китель «первого срока» со свежайшим подворотничком и отутюженные брюки с утра качаются посреди каюты на вешалке, прицепленной за вентиль аварийной захлопки. Пуговицы с трудом попадают в петли. Меня колотит крупная дрожь, точно перед выходом на огромную сцену, точно перед неким грандиозным празднеством. Я извлекаю из укромного уголка фуражку. Хранить ее негде, и потому на время похода пришлось разобрать на части: распорные обручи разомкнул и просунул вдоль трубопроводов за спинкой диванчика, белый чехол вместе с плетеным шнуром

лежали в чемодане, а сама фуражка, сложенная хитроумным образом, дожидалась своего часа в закутке за вентиляционной магистралью. Теперь она воссобрана и сияет белым — не по сезону¹ — верхом. Не закапать бы маслом...

Шинель я в поход не брал — и без нее тесно. Новенькие погоны не хочется мять меховой курткой, выбираюсь на мостик в одном кителе. Не все ли равно от чего трясет — от холода или от возбуждения?

6

В ночи, прямо по курсу, в распадке скальных кряжей переливается, мерцает, вспыхивает гряда самоцветов. Это горящие окна Северодара. Их ломаные ряды громоздятся над черной водой ярусами, они рассыпаны по ночному зеркалу гавани...

— Прошли боновые ворота! Окончено автономное плавание, — диктует старпом с мостика в вахтенный журнал. И тут же спохватывается: — Пока не отшвартуемся — не записывать!

Прожектор с берегового поста мигает нам в упор. К черту семафоры! Это яростная наша радость, еще не обретшая голоса, немо бьется вспышками!

Сигнальщик читает по складам:

— Вам добро стать к пятому причалу!

Это в самом углу гавани у торпедопогрузочного крана. Там отжимное течение, трудный подход....

— Боцман, — окликает командир. — Ложись на якорный огонь.

¹ Фуражки с белым верхом носят с 1 мая по 30 сентября.

Боцман нацеливает наш нос на кормовой огонь лодки у соседнего пирса.

Дома, улицы, башня Дома офицеров медленно и плавно плывут вдоль борта. Такое невесомое тихое скольжение бывает только во снах.

Уже видна толпа встречающих. Жены прячут под шубами цветы от мороза. С рубки жадно вглядываются: все ли пришли? Оркестр из главных корабельных старшин, едва наш форштевень поравнялся с пирсом, грянул: «Этот День Победы порохом пропах!..»

Боже, чем он только не пропах, этот день, — соляром и морским йодом, электролитным туманом и резиновой гарью, фреоном и потом...

Это праздник — с сединою на висках...

У Абатурова за поход поседели усы. В смоляной шевелюре двадцатисемилетнего механика заблестели серебряные нити. Вчера из-под парикмахерской машинки электрика Тодора упали на газету, разостланную вместо салфетки, и мои пряди, так странно поблескивающие в тусклом свете плафона...

Океан перекрасил и нас, и лодку. Некогда аспидно-черные борта ее ободраны волнами до алого сурика, она вся пятнистая, красная, как недоваренный рак. Ватерлиния в зеленой бахроме водорослей. Носовая «бульба» обмята так, что сквозь титановую обшивку проступает каркасная решетка — точь-в-точь как ребра сквозь шкуру рабочей скотины.

Подводная лодка не дрогнет и не качнется; она скользит по черному зеркалу бухты бесшумно, как призрак, и не поймешь, то ли она приближается к пирсу, то ли пирс надвигается на нее.

Юркий буксир подвалил к борту субмарины, осторожно стал поджимать ее к причалу. Так подхватывают под руки изнемогшего спутника перед ступеньками родного крыльца.

Вот неловко полетел с лодки бросательный конец — слишком давно не швартовались, отвыкли. Право, смешно, кого сейчас волнует, какого цвета наши легости. Главное, что вовремя поймали...

У Симакова, командира носовой швартовой группы, оранжевый жилет наброшен на отутюженную тужурку с белоснежной сорочкой.

— Средний назад! — В голосе Абатурова приглушенная тревога. Причал надвигался слишком быстро, не погасили инерцию. Неужели поднимем настил «бульбой»? Экая клякса вместо изящной точки...

Швартов натянулся до предела. Весь наш поход, все наши победы повисли на нем, как на волоске.

— Отойти от швартовых! — кричит командир. Матросы перебегают поближе к рубке. Лопнет — убьет...

Трос звенит... Ну же!..

Выдержал!..

Лодка, плеснув отбойной волной в стенку причала, стала, как осажженная на скаку лошадь.

Я поправляю фуражку и выбираюсь из ограждения рубки вслед за командиром. Узенькая закраина над покатым бортом. Не оступиться бы!

Марш гремит. В толпе встречающих подпевают слова.

Отлив. Обледеневшая сходня стоит почти торчком. Темно и скользко.

— Смирно! — гремит с мостика.

Это Абатуров уже вступил на трап. Даже если бы не было сходни, мы взошли бы на причал по воздуху.

Обходим торпедный кран, спотыкаясь о рельсы, застываем перед черной фигурой рослого адмирала.

Докладывает командир. Затем я. Только бы не перехватило горло.

— ...Все здоровы. Экипаж готов к выходу в море!

— Ну-ну, — жмет руку адмирал. — Наверное, вы с этим не торопитесь?

В штабной свите улыбаются. Я оглядываюсь: «Где же она?! Неужели не пришла? Не она ли это?!» Сердце всколотнулось радостно. Высокий гордый тонкий силуэт. Нет, не она... И оттого что померещилось, так явно, так близко, горечь обиды жжет еще острее...

А вокруг бушевала встреча.

Рослая школьница-дочь, опередив мать, чуть не сбила с ног коренастого боцмана. Мать так и не смогла оттеснить ее, чтобы самой прижаться к мужу. Она прилепилась между ними сбоку.

Лейтенант Васильчиков присел и вытянул руки навстречу маленькому сыну. Штурман не сразу обнял его. Секунду рассматривал его отстраненно — «мой ли?». Он видел сына впервые. Потом сгреб малыша в охапку.

Тоненькая женщина в красно-синем клетчатом пальто подпрыгнула на шею лейтенанту Симakovу, повисла, поджав ноги в замшевых сапожках. Рядом заулыбались, заотворачивались...

Они целовались короткими испуганными поцелуями — в губы, в глаза, в щеки, в лоб, в подбородок... Отрывались на мгновение и снова припадали друг к другу...

На перронах так не встречаются...
И катились в снег с крутых причалов белые
весенние фуражки...

7

Складской мичман Юра, сосед по квартире, принес из дома мою шинель. В поход я ее не брал. Черное сукно туго стягивает грудь, плечи. Похоже, стала мала шинель. Или отвык.

Отвык от гололеда, ноги расползаются. Отвык от обилия незнакомых лиц. Отвык, отвык, отвык...

Задыхаясь, скользя, бреду к нашему дому. Еще теплится надежда — она у себя. Не пришла встречать, потому что не захотела мелькать среди законных жен. Да и мало ли других причин?..

Обшарпанная вьюгами блочная двухэтажка. Сколько же счастливых часов, украденных у моря, пролетело здесь под шумные вздохи ветра. Отныне эти неказистые типовые строения с узколестничными подъездами и серо-бетонными стенами будут волновать меня, как пных старинные особняки или готические замки.

Окно ее не горит. Может, выбежала на минутку?! Может, мы разминулись с ней на причале?! Но распахнутая и полуоторванная дверца ее почтового ящика кричит мне: «Ее здесь больше нет!»

Незачем подниматься на второй этаж. Но я поднимаюсь, утопая в клубах пара, плывущего снизу, откуда-то из подвала...

Стою перед ее дверью, обитой крашеным войлоком, как перед могильной плитой. Фаянсо-

вый номерок, каким метят на лодках баки аккумуляторной батареи, привинчен вместо квартирного знака. Цифровой индекс былого счастья.

Ее квартира опечатана. Ждет новых хозяев. И соседи по площадке — новые. Никто о ней не слышал: кто такая, куда уехала...

В гидрометеопосту на горе Вестник незнакомый лейтенант лишь пожал плечами, когда я спросил о его предшественнице...

Она исчезла, как исчезали ее циклоны, — бесследно, безгласно, безвестно. Я бреду по городу, по причалам, сопкам... Я вернулся. Все наяву. Но в этой яви ты так же недосыгаема, как и во сне, как и там — в море. Здесь все, что тебя обвивало, окружало, осеняло: поземки, клубы пара, северное сияние... Твои пронумерованные ветры пытаются сорвать с меня фуражку.

Дома все так же рывкает лодочный ревун, все так же поют половицы... Только подросла соседская девочка и уже ходит сама, придерживаясь за стены.

— С приехалом вас! — встречает меня на кухне сосед-мичман. Он в теплой зимней тельняшке. Глаза закрыты резиновыми очками из химкомплекта — чистит лук.

Я переступаю порог своей комнаты, и все вещи, забытые и полузабытые, наперсбой начинают кричать мне о ней...

...Чем я убивал время до ее прихода? Читал статью про акул, пришивал пуговицу к кителю, потом, положив гитару на колено, перебирал аккорды... Вдруг рывкал в прихожей ревун. Соседка щелкала замком. Быстрый постук каблуч-

ков по коридору, короткий — для приличия — стук в дверь, и влетает она! С мороза, со снегом в волосах и на ресницах...

Пусто. Темно. В незанавешенных окнах полыхает пурга. Стекла громяхают, будто в них с лету бьются ночные птицы — одна за другой — целая стая...

Ветер на Севере — это не просто ненастье. Это настроение. Это среда всей здешней жизни, это вечный фон всех чувств и переживаний. Слушать дрожащий пересвист норд-оста сейчас так же больно, как траурные марши после похорон.

Знаю, теперь ты будешь встречать меня здесь на каждом шагу. Выходить из стен, появляться из-за колонн, мелькать в окнах, смотреть из воды... Страшен мир без тебя.

Вдруг осенило! Она оставила мне письмо на почте. До востребования! Ну, конечно же там и новый адрес! Бегу по обледелым лестницам... Как я не догадался сразу. Ведь надежнее ничего не придумать: до востребования!

С замиранием сердца смотрю, как острые ноготки операторши перебирают пестрые края авиаконвертов.

— Башилову ничего нет.

— Не может быть!

Операторша, девчонка лет семнадцати, вскидывает на меня черные от туши глаза. Ей хочется мне помочь.

— Сейчас посмотрю здесь...

Она выдвигает еще какой-то ящичек... Ну уж здесь-то должно быть. Это последний шанс. Ведь не может же быть столь жестокой почтовая фортуна. Фортуна — богиня, а женщины солидарны в сердечных делах...

Похоже, весь запас счастливых случайностей я израсходовал в море.

Нет.

Никаких писем.

8

В Северодаре тихо пиратствуют морозы. Все побелело, будто забрызгано известью после некой грандиозной побелки. Побелело даже то, что не должно белеть: черные шины грузовиков, черные тела подводных лодок, спины матросских шинелей, эбонитовые короба выгруженных аккумуляторов. Портовое железо курчавится завитками инея, будто, не вынеся стужи, обросло белой шерстью. Лодки вмерзали в лед так, что, кажется, сыграй «срочное погружение», открой все кингстоны и клапаны — а они таки останутся прочно впаянные в лед...

...Большой сбор. Мы строимся на дельфиньей спине своего корабля — за острым скосом обтекателя рубки на палубе кормовой надстройки. Это единственное место, где весь экипаж может встать в двухшереножном строю. Мы равняем носки ботинок и сапог по шпигатам легкого корпуса. Правое мое плечо вжато в плечо Симбирцева, левое — в плечо помощника Феди. Сразу за ним возвышается Мартопляс, переминается с ноги на ногу доктор. Пока не было команды «смирно», на лейтенантском фланге хохоток — Симаков придает фуражке Васильчикова «нахимовские обводы». Мичманская шеренга начинается с боцмана. Привычно, не дожидаясь команды, застыл Степан Трофимович Лесных. Щеголь Голицын, нервирова боцмана, расправляет под обшлагами шинели белые манжеты. Чертыхается Костя Марфин — чуть не загремел по

скату обледеневшего борта: скользко. За низеньким коком убегает к флагштоку вереница матросских лиц — Данилов, Дуняшин, Жамбаров...

Артисты бродячих цирков, солдаты маршевых рот, геологи поисковых партий знают, что такое всем вместе колесить по дорогам, менять города, стены случайных приютов, знают, как дорого, отбившись от своих, увидеть в толчее чужих людей лицо сотоварища, пусть и не самого близкого, пусть даже не самого приятного, но он свой, он делил с тобой общий кров, общие беды, общее скитальчество. Вот и мы годами сталкивались нос к носу в отсеках, казармах, на палубах плавбаз и доков, в эшелонных вагонах, в палатах без отдыха, на деревянных мостках северодарских улиц, в лабиринтах арабских городов в нечастые наши «сходы на берег»... И вдруг понимаешь с грустью и болью: наступит день, когда все эти парни и дяди в бушлатах, кителях, шинелях — фамилии, анкетные данные их ты затвердил до гробовой доски — электрики, мотористы, трюмные, торпедисты, с которыми ты ходил в караулы и торпедные атаки, слушал вой полярных буранов и мерз в парадном строю, изнывал в шторм от качки и лез в пылающий отсек пожарного полигона, варил в чудовищных котлах обеды на весь подплав и вскакивал по звонкам аварийных тревог, — все эти весельчаки и горлопаны, злюки и добряки, тихони и сорвиголовы, что зовутся сейчас таким внушительным, таким монолитным словом «экипаж», — рассеются по другим кораблям, разъедутся по иным гарнизонам, по отчим городам.

Даже самые сплаванные экипажи не вечны. Капитан-лейтенант Симбирцев собирается на

офицерские классы, Мартопляс назначен помощником флагманского механика, Костя Марфин написал рапорт об увольнении...

И сейчас перед строем стоят шестеро первостатейных старшин. Они уходят сегодня в запас. Они стоят отутюженные, начищенные, надраенные, в бушлатах, с погонами, исполосованными лычками, в златолобых бескозырках, с новенькими черными портфелями, в которых у всех почти одно и то же — «дембельский» фотоальбом, выточенная из эбонита лодка, тельник — отцу, платок — матери, ремень с бляхой — брату, заграничная вещица — той, что писала письма...

Они стоят — свои и уже не свои. Старпом зачитал последний приказ:

— ...Снять с котлового и со всех видов довольствия... За успехи в боевой и политической подготовке присвоить вышеименованным звания «главных старшин».

Улыбаясь, они сдирают с погон черные нитки, разделяющие лычки, и теперь нашивки на погонах сияют широким главстаршинским галуном. ✓

И вдруг ахнул из репродуктора рвущий душу марш. В три косых дирижерских взмаха перечеркнуто прошлое, как андреевский флаг. Крест, крест, крест — год, год, год. Отчаянно вещевали валторны, ликовали кларнеты, и басы рокотали по-боцмански хрипло и густо. Медные взрывы литавр взлетали взрывами брызг разбитых о рубку волн... В один миг, как перед смертью, пронесется в матросских глазах вся служба — такая долгая в сутках и скоролетняя в годах...

Марш реял над рейдом... И чайки взмахивали крыльями в такт «Прощанью славянки»...

Ты помнишь: простуженный бас ревуна, шипящий свист врывающегося в цистерны моря и вкус своей первой глубины — из кружки с ледяной водой, нацеженной из-за борта? А тот шторм, и ту вселенскую качку, когда ты отдал морю все, кроме души и желчи, да и ту сплевывал в кандейку, и плакал с досады на себя, на бледную немочь? И тот спасительный кусок сухаря, который сунул тебе бывалый мичман?

А наглый рев пикирующего на лодку штурмовика — ночью с зажженными фарами, днем с включенными сиренами? Ты видел это сам, и ненависть к чужеземным звездам ты почерпнул не из газет...

Да мало ли что вспомнится под медную выюгу прощального марша?

Голос старпома нетверд:

— Увольняющимся в запас — попрощаться с командой.

Только раз в жизни выпадает матросу пройти вдоль строя вот так, по-адмиральски, пожилая руки и заглядывая в лицо каждому. Обнимались порывисто и крепко. Хлопали друг друга по плечам так, что шинельное сукно курилось пылью. В этих коротких отчаянных ударах — все зло чувств. Стесняясь выдавать их, они выдавали их еще больше.

— Пиши, Серега!

— Поклон Питеру!

— Бывай, земля...

— Прощай, что ли!

Они поднимались по сходне на берег. Марш чеканил им шаг — прочь, прочь, прочь!.. Они уходили не оглядываясь, чтобы экипаж не видел стоявших в глазах слез...

Они еще не знали, что марш отпевал их лучшие годы. Они еще не знали, что пройдет зима,

другая, и им начнет сниться невозвратимое — море, которое они толком и не видели, живя то за скалами, то в отсеках, — прекрасное синекрылое море.... И грубое лодочное железо — дизеля, помпы, воздушные колонки, переменники — подернется нежным флером прошлого. Так обрастает оно, это железо, пушистой мягкой зеленью, опустившись в глубины навечно.

Они еще не знали, с какой тоской будут вглядываться в каждого встречного моряка, отыскивая в нем приметы подводника и северянина. Они еще не знали, как больно и сладко будет беречь души лет через пять, десять, двадцать этот их последний марш. Марш великого и отчаянного прощания.

Катер-торпедолов с демобилизованными матросами, попыхивая сизым дымком, медленно разворачивался посреди Императрицынской гавани. Едва он вышел за боновые ворота, как рейд сразу же закрыли. На горе Вестник горели красные огни. В Северодаре ждали очередной шторм.

1

Последний раз я видел солнце год назад. Мы подвсплывали среди бела дня, чтобы зарисовать в перископ очертания Г-ских островов.

Пока штурман точил сломанный карандаш, я заглянул в окуляр и, опустив светофильтр, навел его на солнце. Четкий оранжевый круг на фиолетовом фоне так мало походил на наше доброе старое светило...

Мы всплывали только ночами. Подводная лодка — дочь ночи и глубины. Она черна, словно сама — сгусток ночи. В любой темноте ей хорошо и покойно, как рыбе в воде. Стальная рыба из семейства электрических, и потому нутро ее наполнено желтым искусственным светом. В нем мы и жили. А когда вернулись, солнце снова закатилось на всю арктическую зиму...

Я никогда не думал раньше, что по солнечному свету можно изнывать, как по воде. Сетчатка моих глаз растрескалась без него, как земля в пустыне. От опостылевшего электросвета началась «куриная слепота». Я был уверен, что несколько живых солнечных лучей принесут глазам такое же облегчение, как долька чеснока больному цингой.

Я не боялся сжечь зрачки мощной оптикой, и в ту минуту, когда началось погружение и когда пора уже было опускать перископ, я убрал светофильтр и навел стеклянное око на солнце.

Увы — было поздно. Я увидел лишь изнанку водяных солнечных бликов, и они с каждым метром глубины зеленели, голубели, синели. Какие-то запоздалые пузыри блестящими хрустальными шарами вырывались из пустот легкого корпуса, взмывали и, прорвав игристую жидкую пленку, лопались там, на поверхности, под солнцем...

...И вот сейчас я увижу его так, как не мог пожелать в самые тягостные подводные ночи! Я увижу его самым первым. Я увижу его сверху под торжественную мессу самолетных турбин, под органнй рокот моторов. Такое предчувствие, будто вся эта космическая феерия восхода состоится специально для меня: хотя бы потому, что всем остальным пассажирам нет до нее никакого дела — они спят в своих креслах.

Я выхожу в тамбур, где в бортовую дверь вделан большой иллюминатор. Стюардесса тревожно оглядывается:

— Курить нельзя!

Я показываю пустые ладони. Но ее это мало успокаивает. У меня вид человека, решившего открыть дверь и совершить прогулку по облакам.

Восточный край земли уже загорелся. Я поглядывал на часы и волновался так, будто солнце могло не взойти. А может быть, мы еще не пересекли границу светлых широт?!

Насмотрелся я на них, на эти зори-пустоцветы: подразнит восток алым заревом, подразнит да так и погаснет.

И вдруг красный дельфин выпрыгнул из-за горизонта. Гнутая его спина росла в размерах, пока не превратилась в кругловерхую красную ярангу. Яранга или юрта стояла далеко под самолетным крылом на самом краю земли, и

край этот отбивался тонко и четко — синим по золоту. Яранга вспучивалась, взбухала... Секунда — и она вознеслась алым воздушным шаром без сетей и корзины.

Солнце взошло! Я видел солнце! И на него можно было смотреть без светофильтров, не шурясь, — во все глаза. Оно позволяло наглядеться на себя сразу за целый год.

Шофер поймал овода, оборвал ему крылышки, бросил на капот. Овод съежился, пыхнул сизым дымком и испекся. Жестоким зной стоял над Алтаем. Редкие облака над горным шоссе были выжжены солнцем до последней тени, до бела. В радиаторе закипела вода, над капотом курился унылый парок.

— Все, командир, приехали!..

На плечах шофера злыми кошками выгибались матерчатые полевые погоны. Тамбовский таксист, он был призван сюда на уборку хлеба, но возил не зерно, а воду в разбросанные по степи автороты целинного батальона. Досадовал он на все — на службу, на разбитые дороги, на жару, на оводов, на закипевшую в радиаторе воду, на меня — казенного и потому безденежного пассажира.

— От скарлатина так скарлатина! — обжигал шофер пальцы о горячую пробку водяного бачка.

— Скарлатина, — соглашался я с ним. Шли уже вторые сутки моего отпуска, а я все еще никак не мог добраться до санатория.

Все свои каникулы, а затем и редкие отпуска, я проводил здесь, на Горном Алтае, у бабушкиного брата, лесника из Улагана. И в голову не приходило, что когда-нибудь буду ехать не

на лесной кордон, не на Катунь-реку в охотничий шалаш, а в белобольничные палаты санатория.

Но к нашему возвращению из плавания, как назло, вышел приказ Главнокомандующего флотом об обязательном послепоходовом отдыхе подводников под строгим медицинским контролем. Мне выпало ехать во флотский санаторий под Баку. В последнюю минуту флагманский врач внял моим просьбам и в графе «Место отдыха» написал «Горно-Алтайская автономная область. Санаторий «Горный воздух».

Теперь надо было поскорее отметиться в этом «Горном воздухе» — «прибыл — убыл» и катить к дяде. Его кордон в пяти часах езды от санатория. Но Чуйский тракт за сутки не проедешь...

Шофер достал из-под сиденья брезентовое ведро и отправился искать воду. Он побрел по левую обочину, я — по правую.

Я ушел из машины не за тем, чтобы искать ручей. Мне не терпелось снять ботинки и впервые за много месяцев пройти по земле босиком. Мне не терпелось это еще там, на Севере, когда подводная лодка ошвартовалась у пирса и мы ступили ватными, разучившимися ходить ногами с корпуса на землю. По той земле не пройдешь босиком — ледяной гранит обжигает холодом даже сквозь толстые резиновые подметки. Потом землю застилали от моих подошв бетонные плиты аэродрома, асфальт московских улиц, гудрон Чуйского тракта.

Сколько лет ходил я по металлу — стальным листам палубных настилов, ходил по линолеуму, по деревянным половицам, будто нарочно для того, чтобы однажды — а именно сейчас, ощу-

тить всю великую радость прикосновения босых ног к земле, ничем не прикрытой. К сырой земле.

Я шагал по влажной тропе, и ступни мои проминали ее глину, будто ладони скульптора. Я ваял тропу! Я ваял ее пятками, подошвами, подушечками пальцев... Так вот зачем на ногах пальцы! Чтобы ваять тропы, впиваться в их влажные глины.

Кожа подошв за годы заточения в ботинки обрела чуткость неслыханную. Такими же острыми становятся глаза, слишком долго не видевшие света.

Я наслаждался холодком черной торфяной влаги, проступавшей между пальцами, щекоткой травинки, теплом нагретых солнцем камней. Как много, однако, могут рассказать о земле смешные глупые толстокожие пятки: мягкая она или твердая, теплая или холодная, сухая или сырая, комковатая или сыпучая, ровная или колкая...

И вдруг я почувствовал самый страшный для подводника запах — запах дыма. Я принялся — пахло не горелой изоляцией: терпкий дух горячей хвои дразнил ноздри. Я пошел на него и очень скоро, раздвинув заросли можжевельника, увидел на поляне самый настоящий табор. Только маленький.

За драной палаткой стояла бричка с пестрыми узлами. Под дугою над гривой лошаденки болтался колокольчик. На суку лиственницы висела люлька, и младенец тянулся за подвязанными бусами.

У костра цыгане ели баранину. Их было пятеро, не считая младенца. Бородатый старик в парадной офицерской шинели без хлястика. Старуха в цветастой юбке и синих кедах. Мо-

лодайка в ковровых шароварах. Кудрявый парень в волчьей дохе и девушка в джинсах и зеленой армейской рубаше, поверх которой блестящее монисто.

Странно было видеть, что не перевелись еще люди, которые могут странствовать из города в город без отпускных билетов и командировочных предписаний, и им не нужно отмечать свое «прибыл — убыл» ни в каких комендатурах, общих отделах, санаторных канцеляриях... Выйди я к ним, и мое появление здесь, сейчас, среди этих людей было бы настолько нелепым, что в причинно-следственных связях мира наверняка бы произошло завихрение, подобное аннигиляции или магнитной буре. Чтобы хоть как-то уменьшить степень этого абсурда, я снял китель, отстегнул погоны, отколол с фуражки «краб» и вышел из кустов, бело-полосатый, как зебра — в одной тельняшке.

— Здравствуйте, товарищи цыгане! — сказал я. — Приятного аппетита!

— Спасибо! Наисте! — вразнобой закивали они. Старик подвинулся, предлагая место у круглого жестяного столика.

Никто не удивился моему вторжению, и, более того, — из деликатности ли, по великому ли ко мне равнодушию — никто не любопытствовал, кто я и откуда.

Алтайские цыгане — потомки самых разбойных конокрадов и самых отчаянных ухвертов, высланных в сибирские каторги еще при царях. Может, с тех времен любой человек с погонами для них — конвоир, охранник, милиционер. Во всяком случае, я не зря припрятал китель и снял «краб».

Старуха протянула мне горячий мосол, облепленный зеленью.

— Кушайте. Мы готовим чисто!

Мне стало неловко за ее извинительный тон, и, чтобы доказать, что ничуть не брезгую угощением, я приналег на мосол с превеликим усердием.

За чаем, заваренным боярышником, мы познакомились. Старика звали Матвеем, старуху — Настей, молодайку — Зинкой, ее младенца — Яшкой, мужа в дохе, на которую ушла добрая волчья стая, Алексеем; его сестру — девушку в джинсах — Васнликой. Все вместе гонят отару от монгольской границы в Бийск на мясокомбинат.

— Не холодно? — кивнул я на доху.

— Холодно! Аж зубы смерзлись! — осклабился Алексей и закутал в тяжелую полу жену Зинку. — Иди, согрей!

Я прекрасно знал, что ему не холодно и не жарко в меховом своем термосе (среднеазиатские старики тоже спасаются от жары в ватных халатах), но надо было как-то продолжить разговор...

Старшим гурта — гуртоправом — числился Алексей. Верховодил же в маленьком таборе чернобородый Матвей. Худое бледное лицо его обрамляла борода, такая буйная, что казалось, будто она и вобрала в себя все соки, обескровив кожу, как иссасывает почву слишком буйная растительность. Когда Матвей раскуривает свою трубочку из красного янтаря, дымок из дремучих волос вьется, словно где-то в тайге топится затерянная избушка.

У Алексея роскошные кудри, в три волны ниспадающие из-под козырька на лоб, вороные усы и золотые зубы. Когда он смеется, на шлифованном золоте вспыхивают «зайчики», его рот всегда полон солнца и смеха. Когда он не сме-

ется, он перекрикивается с женой, когда не перекрикивается — смеется:

— Зинка! У бога здоровья можно выпросить, а у тебя что? Гость в таборе! Позолоти стол!

— Идешь ты вихрем! — беззлобно откликается Зинка, но, покопавшись в бричке, ставит на жестяной столик бутылку «Плиски».

— Тут по всему тракту только «Плиску» да «Плодовыгодное» завезли, — поясняет Матвей, скручивая золотой колпачок. Старик нюхает пробку, морщит нос:

— Заграничное... Не обожаю. Спирт полезней.

Все расселись: кто на перевернутые ведра, кто на узлы, а мне, как гостю, подсунули седло.

— Бахт э бравинтэ! — возглашает старик. — Войди как яство, выйди, как лекарство.

— Дэ девел, ромалэ! — благословляет Настя.

— Будем живы — не помрем. А помрем — еще нальем! — златозубо сияет Алексей. Не пьют только Василика да шестимесячный Яшка.

Гитара, побитая камнепадом, переклеенная синей изоляционной лентой, звенит ровно и чисто.

Раздвиньтесь, горы,
Слегка хотя бы!
В ущелье въехал
Цыганский табор...

Он выбирал из гитарных струн мелодию, будто выпутывал ленту из волос любимой — нежно и цепко.

Гитару тронет
Цыган горячий,
Гитара стонет,
Гитара плачет.

Мысль о том, чтобы провести отпуск вместе с этими загадочными, но добродушными людьми, захватила меня сразу же, как только возникла.

Жизнь на кордоне не сулила ничего нового: банька, рыбалка, разговоры про то, чей флот сильнее — наши или американский... А здесь — цыгане. И вовсе не те, что пляшут в «Ромэне», и не те, что продают в подземных переходах губную помаду... От их бивачного застолья веяло цыганами Пушкина, Бодлера, Лорки... Правда, столлик был сделан из дорожного знака с силуэтом конской головы — «Проезд гужевому транспорту запрещен». То-то ругал шофер здешних цыган, что поснимали с шоссе чуть ли не все путевые знаки. Пестрая их расцветка приглянулась цыганскому глазу, и желто-красные столики стали предметом гордости каждой скотогонной артели. Чего тут больше — озорства или языческих пережитков — сказать трудно. И если семейство Матвея жило и шествовало под знаком «черного коня», то, может быть, дальше по трассе двигался табор знака «Дорога зигзагом» или «Равнозначного перекрестка». Старики-бароны и сами, наверное, не подозревали, что впервые за всю историю цыганских кочевий, их таборы обзавелись подобием знамен — жестяными дорожными хоругвями.

Непостижимым образом цыгане противостоят гнету цивилизации со всеми ее авиалайнерами, атомоходами, орбитальными станциями. Вот уж сколько веков бредут они по дорогам, меря версты ногами да конским шагом; будто исполняют одним им лишь ведомый обет. И, как всякие люди, преданные чему-либо, умеющие хранить верность, они вполне достойны уважения.

Разумеется, я был для них чужаком, по образу жизни — почти что инопланетянином. Но я чувствовал, что, если я попрошусь с ними, они не откажут, возьмут с собой... Надо только найти слова.

Находить общий язык с матросами помогала гитара. Войдешь в кубрик, снимешь с койки чью-нибудь драную семиструнку, прижмешь на грифе замысловатый аккорд, другой, третий — и вот уже ты не один, вокруг сидят, слушают, оттаивают...

Я попросил у Алексея гитару и сыграл им что-то из лодочного репертуара.

Матвей слушал, улыбаясь в бороду. Так смотрят на детей, когда они копируют взрослых. Василика глядела в костер и тоже улыбалась. Однако я пошел с верной карты.

После третьей стопки выяснилось, что Матвей не имеет ничего против лишнего, да к тому же бесплатного, скотогона. На том и порешили.

— Снимай рубаху, парень! — распорядилась Настя, вытряхивая из узла косоворотку в красный горошек. Я стянул с себя тельняшку.

— Ишь, белый какой! — удивился Матвей.

— Год под водой просидел... — оправдывался я, ежась под взглядом Василики.

— А я под Алма-Атой сидел... — сообщил старик весьма доверительно. — И телом, и волосом побелел...

Старуха швырнула тельняшку в костер.

— Э! — онемел я. — Это зачем же?!

— Не шуми, паря, — нахмурился Матвей. — Так оно лучше будет...

Шуметь я не стал. Может, у них так принято? Может, это обряд посвящения? Новая рубашка пришлась впору. Чистая, она пахла сушеными травами.

Пока переодевался, прибежал встревоженный Алексей:

— Тебя солдат ищет! Меня спрашивал. Я сказал, не видел никого.

— Ну и правильно сказал,

Мне совсем не хотелось, чтобы шофер раскрыл мою принадлежность к военному племени. Тот долго сигналил, подзывая непутевого пассажира к машине, и, не дождавшись, уехал, увезя мой портфель со сменой белья и томиком Фета...

Матвей перекрестился на костер. Так без бумажной волокиты заместитель командира большой подводной лодки стал цыганским скотогоном.

2

Из года в год, с летних месяцев и по самую осень, пьют вдоль древнего Чуйского тракта гурты овец, козлов, коров и яков. От монгольской границы, с заоблачного высокогорья гонят цыгане скот на степные равнины к воротам мясокомбинатов. Два-три месяца пребывают в пути скотогоны. Пятьсот — шестьсот километров проходят они за это время по горным тропам над обрывами и под камнепадами, по нетающим снегам и выжженным долинам, под хлест града и под волчий вой... Порой голодно, порой холодно, но прибыльно. Сдав скот и весело раскатав шарик авторучки о подошву сапога, цыганские скотогоны выводят свои каракули в платежных ведомостях, где «сумма прописью» обозначена в четыре слова. Карточными колодами тасуются в почерневших от кострового дыма пальцах пачки семужно-розовых денег. И уж само собой разумеется, на добрую неделю потом на дверях всех ближайших в радиусе перелета рейсовой «аннушки» ресторанов вывешивается табличка — «спецобслуживание». Официанты не гоношатся, когда вот такой захмелевший бородач, как Матвей, или золотозубый

ухарь вроде Алексея, усадив за белую скатерть умноглазую пастушью овчарку, велит подать ей ростбиф по-гамбургски или шницель по-африкански. Все знают, что без этих собак на скотопрогонной трассе нечего делать, как знают и то, что веселые их хозяева щедро расплатятся в конце празднества и за собачью радость, и за расстрелянную шампанскими пробками люстру, и за расшараханные об пол фужеры, и за всплывших кверху брюхом рыбок в аквариуме, конем не пришлось по вкусу угощение коньяком, и за джазовый барабан, распоротый и насаженный на таборный бубен...

Всю зиму в ожидании перегона маются они той тоской, что названа поэтом «охотой к перемене мест».

Зато с наступлением июня в Бийске и Горно-Алтайске снова пустеют рубленые домики с жестяными конями над трубами. Отключаются холодильники, стиральные машины, телевизоры. Семьями уходят цыгане принимать гурты. В откормочном совхозе артели сезонников получают брички, палатки, лошадей, затем забираются за отарами на ледниковое высокогорье, и начинается гон — сверху вниз...

Тысячеголовый гурт движется треугольником: впереди маячат рога козлов-вожачков, основание треугольника подпирают четверо конных и овчарка Инда. Механика перегона проста. Присутствие собаки заставляет овец плотно сбиваться в тесное стадо. Мы же со страшными криками напираем на задние ряды, задние давят на передние, те подталкивают своих спесивых вожачков, и гурт трогается в пужном направлении. Отбившихся овец Инда наказывает

молниеносно — покусывая за ляжку или за ухо. От светла до темна носится она с края на край, и стадо трусит с наибольшей скоростью — тридцать километров в день.

Именно так, «на полном ходу», преодолеваем мы участки со скудной растительностью. Там же, где есть трава, Инду привязывают к телеге, и отара, рассыпавшись, бредет и пасется, пока не сядет солнце.

Гурт гоним мы вчетвером: Матвей, Алексей, Василика и я. Настя и Зинка с Яшкой едут в «обозе» — на бричке. Яшка родился прямо в дороге. Но на него уже было заготовлено командировочное удостоверение, и по перегонным документам он числился полноправным скотогоном. «И кочеваный, и командированный», — гордится Яшкой Настя.

Василика хороша собой, хотя в ней нет ничего от той роковой цыганской красоты, которая сводила с ума купцов, гусаров и поэтов. Лицо у нее раскосое: раскосы глаза, уголки губ, даже ноздри в мило вздернутом носике и те смотрят раскосо.

Не накладная — своя, черная с атласным отливом коса звучно шлепает ее по спине, когда взыгравший конь понесется вскачь. Василика самая грамотная в таборе — в позапрошлом году окончила десятый класс (Алексей с Зинкой по пять, Матвей с Настей едва читают).

Перегнувшись с седла, она ерошит моему коню челку. Мне хочется видеть в этом благосклонный знак, но, стоит заговорить с ней, Василика воротит коня в сторону и напускается на отставших овец так, как будто именно эти овцы дороже ей всего на свете. Или поскачет вдруг к бричке за какой-нибудь ерундой.

Она дичится меня не по-цыгански. Или обычный ей так велит? Но не мусульманка же она...

Лучше всех ко мне относится Матвей. Он даже подарил телогрейку со своего плеча (китель и фуражка остались запрятанными неподалеку от 197-го километрового столба. Я заберу их на обратном пути).

3

Хорошего места для ночевки выбрать не удалось. Крохотная поляна на таежном косогоре едва вместила смешанное стадо баранов и козлов.

Пока окружили гурт кострами, совсем стало темно. Была бы луна — горел бы всего один, тот, на котором варится баранья похлебка. Но сегодня ночь такая, что белого мерина в двух шагах не увидишь. Впрочем, Настя сказала лучше: «Дорога дальняя — лошадь шальная, ночь темная — лошадь черная. Потрогаешь ее — здесь ли, и дальше едешь».

Разбившись на дозоры, следим при свете костра за стадом.

— Куда пошел, абханак бородатый! — грозит кулаком Алексей козлу с обломанным рогом.

— Спать, девки, спать! — уговаривает Настя овец.

Пол-отары ложится, половина стоит, словно ждет, когда же люди уснут наконец. Ни дать ни взять — осада крепости, из которой ожидается прорыв.

Мы дежури́м с Матвеем у небольшого костерка в самом ненадежном месте — в голове отары.

Козлы хитрее баранов. Они словно чувствуют, что их гонят на убой, и кажется, в их рогатых башках зреют планы побега. Если они сбегут, то зачинщиком наверняка будет вот тот «абханак» с обломанным рогом. Он самый смысленый, и мне невольно хочется, чтобы ему повезло.

Матвей взбалтывает кургузой бутылкой, и мы по очереди пропускаем по жилам жидкое коньячное тепло.

— Так за что ты сидел, паря? — без обиняков огорошивает меня старик. Шуруется он хитро, по-свойски. Трубочка из красного янтаря дымит из бороды...

— Чего от солдата бегал, полосатый?

Так вот оно в чем дело! Принял тельняшку за тюремную рубашку. Ну, дед! Помочь беглецу решил. Спрятал.

— В сибирской майке далеко не убегишь. — Матвей протягивает мне бутылку. — Меня два раза ловили...

От коньяка, от матвеевских догадок мне становится весело. Черт побери, здорово — я «беглый каторжник»! Теперь понятно, откуда столь странное благоволение... Я вспоминаю расхожую блатную фразу.

— По фене ботаешь?

Старик закивал бородой, придвинулся поближе.

— По мокрому делу я... Понял? — Я сказал ему почти правду, морской поход сухим делом не назовешь.

— Пришил кого? — недоверчиво косится Матвей.

— Я и швец, и жнец, и на дуде игрец. Усек, отец?!

Ответ получился в рифму, и это еще больше

озадачивает старика. Из моих слов можно вывести все что угодно, и, пока цыган не собрался с мыслями, я перевожу разговор на тему куда более жгучую...

О Чикет-Амане говорили с первых же дней перегона. И вот он перед нами — этот головокружительной крутизны перевал.

Посмотришь на седловину, принакрытую туманом, промеришь взглядом тропу, что уходит вверх виток за витком, оглянешься на стадо, сбившееся в одну желто-серую овчину, на лошадей, на кибитку, и возьмет легкая оторопь: неужели все это поднимется на горную стенку, перевалит через нее, спустится в долину... Да туда только в альпинистской связке добираться. Но Матвей, поправив кудлатый треух, бесстрашно орет:

— Н-но! Пошла-а, родимая!

Накануне пронеслась мокрая пурга, скотопронная трасса обледенела.

Отара метр за метром карабкается вверх. Овцы быстро выбиваются из сил, дышат часто-часто, на вытарашенные глаза наворачиваются крупные слезы. Поодаль, на шоссе, пушечно ахают моторы — у них тоже кислородное голодание.

Инда с вывалившимся языком, со впалыми боками уже никого не страшит, хотя по-прежнему ревностно несет свою службу, трусит с края на край, покусывает отстающих.

Овец совсем ослабевших укладываем на бричку. Но и лошадям не легче: плетутся, тычась мордами в остекленевшую, да еще вставшую дыбом, дорогу.

Зинка тащит на себе и Яшку, и ягненка, подвязав их обоих за спиной.

Василика навьючила коня тушей здоровенного барана. Он сломал ногу, и теперь жить ему осталось до первой стоянки.

Воздух полупустой, насытнй... Я с тоской вспоминаю свой ИП-46. Простецкий аппарат, не самый почетный в подводничком обиходе, но сколько кислородных затяжек можно сделать из него. Легкий, портативный — сейчас бы его сюда!

После Чикет-Амана, на котором гурт потерял восемь овец, мы становимся на долгий отдых. Благо в здешнем распадке есть жердяной загон, и ручей, и травы вволю. Шатры разбили под сухой лесинной. Сучья ее черны и волнисты, отчего ствол жутковато похож на шест, оплетенный извивающимися змеями. А близ воды у меня из-под ног и в самом деле выскользнула медянка.

— Убей! — закричала Зинка. — Тридцать три греха спустишь!

Ручеек живой плоти юрко утек в траву. И тридцать три греха остались на мне.

Сморенные перевалом, скотогоны разлезлись под шатры, не дожидаясь чая.

Я ткнулся носом в свой ватник и уснул, как мертвый рукой обвел. Спал я черным провальным сном, и потому, когда перед глазами возникло узкоглазое круглое лицо и милицейские погоны, мне показалось, что начинается как раз первое сновидение. Я поудобнее устроил голову на ватнике, но он отъехал назад, и драное одеяльце, на котором я лежал, тоже поехало назад, и палатка поехала, и сам я выехал из-под полога ногами вперед. От мокрого холода утренней травы я чуть не взвизгнул.

— Он? — спросил узкоглазый милиционер.

— Он, — кивнула Василика и, повернувшись спиной, стала расседлывать взмокшего коня. Двое милиционеров — сержант и младший лейтенант — с расстегнутыми кобурами стояли у меня в ногах и в голове.

— Лежать! — отреагировал на мою попытку привстать сержант.

— Сесты! — скомандовал узкоглазый офицер, явно алтайских кровей. Я подчинился старшему, присел. Сержант обхлопал меня по карманам. Я не сопротивлялся и не возмущался: чего уж тут — доигрался!

— Вас, наверное, интересуют мои документы? Они в заднем кармане.

Сержант достал удостоверение личности, и брови его приподнялись вместе с козырьком фуражки. Младший лейтенант изучал мой отпускной билет. Я был старше его на целых три звездочки, и он не замедлил проявить почтение.

— Прошу прощения, ошибочка вышла. Гражданочка обозналась. Приняла вас за осужденного... Сбежавшего из мест заключения. Можем подвезти до поселка. Там до «Горного воздуха» три часа езды...

— Спасибо. Мне здесь больше нравится.

Алтаец козырнул и влез в коляску темно-синего мотоцикла. К счастью, пулеметная очередь выхлопной трубы никого не разбудила. А может, и проснулись цыгане, только выглядывать побоялись: милиция как-никак приехала.

Василика все еще возилась с седлом, перетягивала потник...

Я смотрел на нее во все глаза. Вот человек, который только что меня предал. Вот человек, который долго и тайно хотел мне зла и только

что попытался причинить его явно. Она выдала меня. Не меня, конечно. А того злодея, каким я был в ее глазах. Но все-таки и меня, потому что у этого злодея, у этого «осужденного» было мое лицо, мой голос, мои повадки.

Они ни чем не тронули ее, хотя человеческая душа так устроена, что она всегда невольно сочувствует гонимым, кем бы они ни были. И потом, бывают преступники, наделенные таким обаянием, что их не только прятали, помогали, но и влюблялись в них...

Я же, выходит, не обаятельный преступник. Я отвратителен в этом качестве настолько, что меня надо выдавать в руки правосудия при первой же возможности.

Грустное это было открытие. Да еще костер никак не хотел разжигаться. Утро было туманное и такое промозглое, что казалось, попади в него солнечный луч, и он зашипит, как отсыревшая спичка.

Я думал, Василике будет неловко, а она подошла как ни в чем не бывало, присела, раздула уголек, бросила в него клоч сена из подушки, три хворостинки.

Робкое пламя лизнуло дно закопченного чайника.

— Так значит, ты меня в уголовники записала?

— Ага. Я тебя раньше видела. Портрет твой на автобусной станции висел. В Онгудае. «Их разыскивает милиция». В точности похож.

— Все мы на кого-нибудь похожи...

— А вчера Матвей сказал, что ты человека убил...

— Так это он тебя послал?!

— Он не знает. Он, наоборот, велел, чтобы никто про тебя ни гугу! Гость в таборе — раз-

ве можно?! — Василика явно передергивала старика. Даже руками всплеснула от напускного испуга. — Под одним шатром спим! Из одного котла едим...

— Значит, ты сама?

— Сама! — она это даже с гордостью подтвердила. — Я не шатровая. Я в школе десять лет училась. Комсомолкой была.

— Почему была?

— На учет не встала. Выбыла.

Мир стоит не на трех слонах. Он висит на канцелярской скрепке. Айсберги пронумерованы из краскопультов. Орлы окольцованы, и номера их внесены в реестры. Звезды, созвездия, галактики расписаны в астрономические grossesбухи. Цыганки поставлены на учет...

Какого черта я здесь? Я никогда не бредил цыганщиной. Ни разу в жизни не был в «Ромэне»...

Захотелось пожить с людьми «дикой воли». Но какая у них воля?! Идут по маршруту, и все дела их зависят от таких же бумажек, с такими же лиловыми печатями и с такими же неразборчивыми подписями, что и у меня в кармане.

Зря не уехал на мотоцикле. Дядя на кордоне заждался: с бутылок пыль вытирает. Какие настойки у него! На облепиховых почках. Эликсиры, бальзамы. Нектары. Он писал мне письма на подводную лодку, а я читал их в кают-компании вслух. Зной, пот, соль, железо — и вдруг: «А яблоки нонче знатные уродились. По фунту и боле. Как сахар, на зубах колются... А вечер доили лосиху, что подранком в хлев взяли. Не молоко, а сгущенные сливки... На можжевеловой горе теперь дикобразы живут. Колючки что прутья, туески плести можно. Заварил

на осень бочонок пива из настоя душицы, кукурुзных рылец и янтака... Как приедешь... — ужю постучим ендовой...»

После этих писем у нас трое мотористов, уйдя в запас, поступили в лесоводческий техникум, а торпедный электрик и гидроакустик — в зооветеринарный.

Если на кордон ехать, то лучше сейчас выбираться. Все спят, без лишних объяснений... Рубаху с телогрейкой на обратном пути верну. В Бийске через цыган передам...

Василика поставила передо мной кружку с чаем, тронула за колено:

— Пей. Остынет.

Василика потягивает Матвееву трубочку, щурит глаз на огонь сквозь красный янтарь.

— Ты про цыганский корень «ман» слышал? — спрашивает она.

— Про «золотой корень» слышал. А про «ман»...

— Цыц! — Василика прижимает к губам скрещенные пальцы. Она опасливо заглядывает в палатку, хотя и отсюда слышно: Матвей храпит, как бульдозер, — раскатисто и мощно. Заливистым звоном дисковой пилы вторит ему Алексей. Настя заполняет паузы мерным жужжанием, будто в ноздре у нее застряла большая муха.

Убедившись, что нас никто не слышит, Василика отводит меня к коновязи.

— «Ман» — во сто раз сильнее «золотого корня» и в десять — женьшеня. За него убить могут и тебя, и меня! Понял?!

— Меня-то за что?

— А за то, что ты его видел.

— Я его не видел.

— Ты его увидишь через три дня!

Василика опять оглянулась на палатку, и мне стало смешно: вот бестия! — покупает, как лопоухого туриста; цыганские мистерии вздумала разыгрывать. Но Василика не переигрывала ни выражением лица — оно было весьма озабоченным, — ни голосом, в который не прокралась ни одна смешинка.

За чаем она ни словом не обмолвилась о «мане», а сообщила Матвею, что хочет съездить со мной в сельпо, до которого уже всего-навсего сутки конного хода. Матвей одобрительно закивал бородой: чай, соль, мука на исходе. «Плиска» тоже. Самое время. Сейчас они вполне обойдутся без нас: загон большой и крепкий. А с загонем да овчаркой и сосунок Яшка с отарой управится.

Настя завернула в крапивные листья кус баранины, сунула в переметную суму две «марикле» — ржаные лепешки — и мешочек с сушеным боярышником для заварки.

Коней из небольшого табуна выбирали себе сами. Мне приглянулся рослый жеребец цвета пожухлой хвои, весь исштемпелеванный клеймами, словно конверт, не нашедший адресата. Последнее тавро, выжженное жидким азотом на бедре, являло таинственное кабалистическое число «666». Я подошел и провел рукой по коротко стриженной гриве (она придавала ему вид хулигана, только что отсидевшего пятнадцать суток). Конечно же ему это не понравилось, и конь угрожающе повернулся ко мне задом. Мощные катапульты ног, подбитых острым железом, недвусмысленно напряглись. Я отпрянул, но выбор свой сделал.

— Как его зовут? — спросил я Василику.

— Серко, — не задумываясь окрестила его та.

— А твоего?

— Гнедко. У нас каждого второго коня зовут Серко, а каждого первого — Гнедко.

— А как вообще по-цыгански «конь»?

— Грай.

— Отлично. Пусть мой будет Граем.

— Пусть, — согласилась Василика.

Ноздри у Грая изящны, как эфы — прорези в скрипичной деке; рыжие уши с черной каемкой; глаза с фиолетовой поволокой и такие огромные, блестящие, что, глядя в них, можно бриться.

Алексей вызвался было нас провожать, но вовремя вспомнил о чирье, который выскочил там, «где самому не видно, а показать стыдно».

Не успели мы проехать и часа, как сзади слышалась торопливая дробь копыт. Матвей догонял нас на взмыленном коне.

— Деньги забыли, олухи! — кричал он, размахивая драным портмоне. — Пентюх и пентюшка!

Василика прикусила губу: обман чуть не раскрылся. Во всяком случае, потом будет трудно оправдаться, почему мы вернулись из «сельпо» с пустыми руками. Если мы всерьез собирались за покупками, то почему не подумали о деньгах?

И тут я понял, что Василика меня не разыгрывала: мы действительно едем за запретным для иноплеменников цыганским корнем «ман», и Василика, несмотря на свой городской лоск, побаивалась и гнева старших, и тех таинственных сил, которые охраняли корень.

Матвей ускакал, брезгливо ворча, и долго еще было слышно, как мерин его звонко екал селезенкой...

Горы в этом краю Алтая остроконечны, как чумы. С мельничным шумом ныряет по ущельям Катунь. Стремнина несет бревно с такой скоростью, что кажется — на крутом повороте вот-вот сорвется с волны тяжелая лесина, опшет плавную дугу и вонзится в прибрежную сопку, как копье.

Мы идем по старой трелевочной колее. По обе стороны ее то тут, то там торчат из-под камней обломки коленчатых валов, искореженные траки. Пустыми глазницами смотрит из можжевельных зарослей помятая кабина тягача. Остатки машин рассеяны здесь, словно конские кости на богатырском перепутье. Воронье только не кружится.

Тракторное войско штурмовало тут горную тайгу. Сталь иззубрилась о дикий камень и завязла в диком дереве. А кони медленно, но верно поднимают нас туда, куда не взбирались ни колесо, ни гусеница. И самодельный колокол ботало из автомобильного поршня победно гремит на шее Василикиного Гнедко в честь выносливых конских ног — единственного пока транспорта, которому подвластны карнизные тропы каменистых круч.

Все дороги и тракты Горного Алтая родились под лошадиным копытом. Если верить легенде, то это кони Чингисхана протоптали тропу, спрятанную ныне под асфальтовой лентой Чуйского тракта. По следам казачьих коней боярского сына Петра Собанского пришли в алтайские горы русские поселенцы.

И нет такого алтайского города, в черте которого бы не красовался статный скакун — символ старинного караванного пути, пролежавшего

по здешним перевалам в Монголию, Тибет, Китай.

И вот снова, в который век, высекают подковы искры из древних камней. Последние подковы, последние искры...

Мы едем за цыганским корнем «ман»...

У каждой дороги есть свой мотив. Он зазвучит сразу, как только дорога начнет двигаться тебе навстречу. Ты легко разберешь его в чередовании подъемов и спусков, в ритме поворотов и перепутий.

Чтобы услышать мотив горно-алтайского тракта таким, каким слышали его кочевники-первопроходцы, таким, каким лег он в их тягучие песни, нужно сесть на коня. Под автомобильными же колесами дорога заструится, словно магнитная лента на убыстренной скорости, и песнь сольется в талалаканье смешных лилипутских голосов. Только под зыбкий конский шаг откроются тебе и неторопливые переливы придорожных холмов, и плавное кружение горных вершин, и волнистое дыхание ожившего вдруг горизонта.

Как и всякая музыка без слов, дорога, и в особенности горная, будит воображение, вызывает порой странные, никогда не посещавшие тебя видения. Придорожные камни, нагроможденные по обочинам, напоминают то руины римских коллизеев, то замшелые плиты еврейского кладбища, то развороченные доты на «линии Маннергейма».

— Куда мы едем?

Василика отвечает не сразу, словно колеблясь — стоит ли говорить.

— На Край Мира! — голос ее торжествен. На этот раз даже мысли не шевельнулось, что это насмешка или розыгрыш. Я не узнавал Ва-

силику: куда девалась ее обычная беспечность? Она стала хмурой и молчаливой, как Матвей, и я не посмел расспрашивать, что такое Край Мира и как долго туда добираться.

Дремучая чаша. Мы продираемся через нее, как сквозь строй экзекуторов. Деревья сладострастно хлещут людей и лошадей тонкими красными «шпицрутенами». Они мстят нам за все то, что мы сделали с их собратьями в больших городах и промышленных долинах. Здесь их царство, и можно представить, каково пришлось первопроходцам, когда не «зеленым другом» — «зеленой смертью» был путнику лес, чащобный и первородный.

А вот самая настоящая роща Кашея — мертвый березняк: стволы иссушены горным солнцем до белизны костей, гигантских, словно мамонтовы мослы. Притихли кони, и только рыжие уши нервно стригут воздух. Тревога передается и нам. Роща обрывается пропастью. Там, внизу, черный каменный колодец вбирает в себя сразу несколько ручьев и речушку. Это и есть мрачно знаменитый в здешней округе Провал — естественный водосток чашеобразной долины; он поистине бездонен, так как не имеет второго выхода на поверхность и питает подземные озера, не доступные никаким спелеологам.

Горные реки переходим вброд верхом. Лошадиные хвосты стелются по воде. Поток сносит их в одну сторону, словно магнитное поле компасные стрелки. Речки нас не задерживают, зато пешим приходится здесь выходить на тот берег, держась за веревку, да еще по пояс мокрыми.

Впрочем, вряд ли кто хаживал здесь до нас. На десятки верст — ни следа, ни креста, ни зарубки... Тишь, марь, глушь...

Каменные клыки торчат из земляных десен. На одном сидит включенный орлан и смотрит на нас из-под крыла, как человек из-под ладони.

Солнце следит за нами оранжевым змеиным оком, что за всадники забрались в нетоптанные его гульбища?

Куда мы едем?

И вдруг — рельсы! Ржавые рельсы узкоколейки поворотом уходили за высокую тесаную скалу. Я даже вздрогнул от неожиданности. Было что-то жутковатое в самом существовании железной дороги посреди здешней глухомани. Куда она ведет? И кто ее проложил? И почему ее забросили? Я направил Грая по замшелым шпалам, ожидая увидеть за поворотом все что угодно — развалины подземного завода, бараки старого лагеря, врезанные в скалу ангары бывшего аэродрома, да мало ли что могло оказаться в этом укромном распадке?

Рельсы петляли среди базальтовых разломов. Они вывели нас к бетонным плитам, похожим на фундаменты больших механизмов. Из плит и в самом деле торчали ржавые гнутые штыри, толстые болты, а кое-где виднелись шестеренчатые передачи вроде лебедок.

Солнце слепило здесь по-особому ярко. Такой пристальный, тихий свет, не пуганный ничьей тенью, бывает только на заброшенном бетоне, на леших полянах, на проклятых становищах, где творилось когда-то нечто страшное, и теперь даже птицы облетают их стороной. Безрадостен на таких местах солнечный свет, и, чем ярче он, чем виднее под ним земля, бетон, трава, тем тревожнее на душе. Кажется, здесь никогда не бывает ночи, так как солнечные лучи цепенит некая злая прошлая тайна, и они остекленели здесь, как каменеют в сказках люди.

От этого ли вкрадчивого света или оттого, что среди бетона и железа пестрел цыганский наряд Василики, но все эти глыбы и шестерни казались следами неземной цивилизации.

Я вовремя спохватился: стало смешно и грустно — вот уж действительно дитя века — столь элегические чувства вызвали не каменные скифские бабы, не наскальные росписи, не погребальные курганы, а самые обычные рельсы, железобетонные плиты да ржавый лом. Впрочем, мистерии XX века чаще всего разыгрывались именно на таких местах и с таким же реквизитом. Что башни рыцарских замков рядом со штольнями заводов по производству тяжелой воды или подземными причалами для подводных лодок?

Мы слезли с коней. Василика собирала землянику, а я бродил по старому карьеру, пытаюсь определить, что же здесь добывали.

— Эй, ты чего ищешь? Золото?! Не ищи. Здесь рудник был. Ртуть в войну добывали. Дядя Матвей руду на лошадях возил.

Мне сразу стало скучно, и я побрел к колодцу. Серое его кольцо было накрыто щитом из свежих досок.

Я заглянул внутрь. Из темного глубокого ствола сверкнул далеко внизу водяной блик отраженного неба, повеяло сыростью, потусторонним мраком.

Сколько помню себя и колодцы, всегда заглядывать в них было страшновато. Казалось, ни один из них не имеет дна, и ровный бетонный ствол уходит сквозь воду в самые тартарары. Бабушка пугала меня: «Не заглядывай, водяной утащит!»

Я заглядывал, и водяной-таки утащил меня...

Я вспомнил бабушку и нечистую колодезную

силу, когда впервые заглянул в шахту верхнего рубочного люка подводной лодки. Тусклый стальной колодец уходил вниз, в темноту, и на дне его краснел едва высвеченный круг палубного настила. Это был тайный колодец — заглядывать в него, а тем более спускаться по скобам узкого отвесного трапа могли лишь посвященные. Тяжелая литая крышка пряталась от чужих глаз в железной башне рубки, а рубка погружалась в воду, так что и крышка, и сам колодец, в котором плескался желтый электро-свет, и сама башня надолго исчезали из поднебесного мира. Никакая нить никакой Ариадны не смогла бы вывести к нашей тайной обители. Ни человек, ни птица, ни дельфин, ни одно живое существо, вбирающее в легкие воздух, даже случайно не могло наткнуться на плоскую черную башню, хранящую люк нашего колодца. Нас просто не было в подсолнечном мире, в котором оставались наши дома. Мы исчезали из него, уходя в мир потусторонний — по ту сторону океанской поверхности. И все наши земные дела становились такими же непоправимыми, как если бы мы пытались вмешаться в них действительно с того света.

Мы спускались в шахту верхнего рубочного люка по тревоге и выбирались по ночам, если поблизости не было никого, кто мог бы заметить торчащую из воды башенку нашей рубки. Она едва возвышалась посреди морской равнины, точно сруб одинокого колодца в пустыне.

Никто не смог бы предсказать, когда и где распахнется в этот мир зев нашего колодца, как никакой геолог не предскажет, где и когда вспучится кратер вулкана, как ни один ведун не угадает, на какой лужайке заблагорассудится дья-

волю выскочить из преисподней на поверхность.

Да, мы были той самой нечистой силой, о которой думается всякому, кто смотрит в глубокую воду, будь то речной омут или бездонная темень океанской впадины. По части всякой чертовщины наш экипаж мог поспорить с командой «Летучего голландца». Наш корабль уходил в воду точно так же, как любой гибнущий парусник или пароход. Он даже ложился на грунт среди мохнатых от водорослей остовов затонувших судов, и тогда ничто не отличало его от мертвого железа: ни вспышкой света, ни ударом винта не выдавал он свою жизнь. Но в некий полуночный час он отрывался от песка или ила, всплывал, медленно вырастая на поверхности, тяжело отдуваясь, и нос его рассекал волны, как будто не он только что лежал на дне бездвижной тушей мертвого нарвала.

Он был кораблем-оборотнем в мире крейсеров, эсминцев, танкеров, пароходов, яхт, шаланд, шлюпок... И нам, людям, порой грешным, порой слабым, порой пристрастным, было доверено, то, что должно знать лишь богам, предержащим карающие молнии.

5

Время в горах течет вертикально. В низине — знойное лето и солнце палит так, что, прежде чем отхлебнуть из фляги, непременно плеснешь воды и на конский лоб, горячий, как перегретый радиатор. Пovyше, на перевале, стоит дождливая осень: в четыре поршня месяц грязь конские ноги.

Но вот поднялись к альпийским лугам, а здесь весна, склоны в оранжево-голубой поземке жарков и незабудок.

В зиму кони внесли нас в самый разгар лета близ ледниковых озер. По-февральски зашумел под копытами зернистый снег. Запыли от стылого ветра пальцы.

Руки хорошо греть под гривой о горячую конскую шею. Прижмешь ладони к лошадиному плечу и чувствуешь, как там, под атласной шкурой, мерно содрогаются тугие жгуты мышечных лент. Их работа отдается в твоём теле упруго и сильно, как биение гребного вала на корабле. На подъёме и конь, и всадник гнутся в две шеи, влача невидимую шлею земного тяготения.

Здесь вершины, стряхнув с себя цепкую зелень лесов и кустарников — презренную ползучую жизнь, — горделиво вздымали в небо самое себя — голый обснеженный камень, выплавленный в недрах древних вулканов.

На перевале Иолго кони вошли в облако. Событие это не произвело на лошадей никакого впечатления, зато люди, сидевшие на них, стали приподниматься на стременах и тянуться к облаку руками — белые букли его висели над землей в нескольких метрах. Василике это наконец удалось, и вскоре она скрылась в облаке сначала по пояс, затем исчезнув в нем вместе с конем. Я не тороплюсь въезжать и осаживаю Грая у стелющихся по земле белесых парных клубов.

— Облако, как тебя зовут? — кричу я сквозь дробное эхо.

— Василика! — откликается облако голосом цыганки.

— Куда ты плывешь, облако?

— На Край Мира!

— Зачем, облако?

— За цыганским корнем «ман»...

Темп жизни в горах напоминает городскую суматоху: одна за другой, как трамваи в часы пик, громяхают грозы; реки безостановочны, как эскалаторы; со скоростью курьерских поездов проносятся камнепады; нервно мечется пламя костра... И только одно не дает тебе раствориться в этой суете: мерный скрип седла да ритмичный постук копыт. Ничто так не успокаивает, как звучный скрип седельной кожи и час, и два, и три...

Мягкое покачивание, тихий звон сбруйных колец, протяжное фыркание коней — все это в сильную жару клонит ко сну. Не бросая стремян, я откидываюсь на конский круп, подкладываю руку под затылок (другая не выпускает повод) и закрываю глаза. Круп широк, как вагонная полка, лежать на нем мягко, удобно, хотя и небезопасно: рванет конь в сторону, понесет — и пойдешь считать затылком придорожные камни. Отдых на крупе — сродни тому шоферскому шику, когда водитель закуривает, выпуская на секунды руль.

Ни одна машина, даже оснащенная сложным компьютером, не может пока самостоятельно обходить дорожные препятствия, выискивать среди камней и рытвин самый короткий путь так, как это делает Грай. Я полностью возложил на него штурманские обязанности, оставив себе капитанские — выбирать главное направление и следить за равномерностью хода. Грай не упускает случая приостановиться у кочки с любимой травой. Я уже запомнил, как она выглядит, и потому, завидев издали стебли преткновения, заранее набираю повод. Грая это ужасно сердит. Он артачится, закидывает голову, норовя ударить меня затылком в лицо. Конь терпит все, что угодно — и седло, и всадника, и вьюки, но

только не такое, слишком уж явное, помыкание. Пожалуй, ни в чем так остро не ощущается нами несвобода, как в ущемлении мелких привычек.

По кошачьи мяучет иволга, скрипит коростель, будто кто-то теревит ногтем зубья расчески.

Голова моя покачивается на граевском крупе. Я смотрю вверх. Больше всего в мире голубого цвета. Его столько, сколько может уместиться в глазах. Горно-алтайское же небо — эталон голубизны. Все остальные голубые оттенки тусклые его подобию. Трудно поверить, что за этой нежной синевой нависает над нами черная бездна космоса.

Если завести глаза и посмотреть назад, не отрывая затылка от граевского крупа, увидишь странный перевернутый мир, нехотя, рывками, в такт лошадиным шагам уплывающий назад. И вдруг, сзади, над далеким входом в ущелье, в голубой небесной пустыне взгляд натывается на облако — то самое, что осталось на перевале. Я уже знаю, что может крыться за его безобидным ягнячьим руном! Это посыльный бури. Пушистый клубок стремительно растет в размерах, нагоняет нас и проносится дальше. Не успел он исчезнуть, как из-за каменных ворот выплыл дозорный предгрозовой разъезд, а за ним — во все видимое нам небо — ширится, надвигается орда тяжелых, провисающих до земли фиолетовых туч.

Они еще не успели слиться в единую лаву и потому, тесня друг друга, сталкиваясь, громы-хают, словно льдины в узком створе. Ветер, который несет всю эту чудовищную армаду, уже достиг нас — мягко, но властно боднул в спины, сдул конские хвосты набок, вскинул гривы впе-

ред — их пряди трепещут и вьются, словно водоросли в бурном потоке.

Еще порыв — мы легли на лошадиные шеи, как от ударной волны. Шальной циклон соскользнул в наше ущелье и теперь несется по его прямому руслу. Ясно: от погони нам не уйти, она вот-вот обрушит на нас дождевые стрелы и пики молний. Мы не сговариваясь пришпориваем коней в слабой надежде укрыться в рощице посреди распадка.

Гром рухнул на горы деревянными шатрами. Потемнело так, будто земной шар внесся в тоннель. Не застланный тучами голубой полукруг впереди манит, точно выход из подземелья. И кони мчат к нему, отталкиваясь в четыре копыта от земли, катящейся в преисподнюю. На скаку натягиваем на себя все, что есть во вьюках непромокаемого. Поздно. Пробные капли ударили по дороге, вспорхнула недолгая пыль — последнее дыхание зноя перед слякотью.

Белой плетью хлестнула по небу молния, и гром прокатился по ее невидимому следу, старательно огигая все ее многоломанные зигзаги, сердито взрыкивая на очень уж острых изломах.

Косые крученые струи секанули по нашим спинам, и кони перешли в голоп. Глаза их белы от молний, уши прижаты ливнем. Дождь так плотен, что его можно пить, как воду из-под крана. Но пить не удастся — тяжелые капли с лета бьют в оскаленные зубы. Ветер плющит ноздри, выдувает глаза из орбит, ревет в ушах бесцветным холодным пламенем.

Сплошная белесая завеса скрыла горы. Яростные струи плющатся о камни, высекая из них белые водяные розетки. Мы в сплошном частотном молний, громовые раскаты глушат бешеный цокот копыт, и от этого неистовая наша

скачка кажется беззвучной. Горы испускали накопленное в зной электричество огненными ветвистыми струями. Небо уже никогда не будет над ними голубым. Оно почернеет, как сплавленный электрод, навсегда останется пепельно-серым...

Порывы шквала, казалось, рождались от вспышек молний, и раскаты грома сливались с грохотом ветра.

Молнии били из самого зенита — фиолетовые, яростные, не сразу гаснущие. Горы сводили свои счеты с небом. Это была электрическая буря. Буря дикого, взбесившегося, электричества.

Галоп по распадку, с рассеянными в траве камнями, с вросшими в землю острыми осколками скал, с ямами, покрытыми мокрой зеленью, мог обернуться весьма плачевно для любого, даже самого опытного, всадника, и я, слегка поглаживая крутую напруженную шею, молю коня самой короткой в мире молитвой: «Не споткнись!»... «Не споткнись!»...

Грай не смотрит под ноги, взгляд его вытянут вместе с мордой вперед, устремлен в какую-то далекую призрачную точку. Конь упоен своим бегом и только чутьем принимает стелющееся под ноги бездорожье.

В любой миг это блаженство, улада живой немашинной скоростью может оборваться сокрушительным ударом — тем острее счастье полетных прыжков. Только зыбкие опоры стремян поддерживают меня над проносящейся землей. Я ни за что не держусь. Я — канатоходец, который в легких качках обретает равновесие.

«Не споткнись!.. Не споткнись!»...

Молнии хлещут коней по глазам. Грай вошел в раж. Он вытягивался в воздухе во весь

размах и только у земли на мгновение сводил копыта в единую толчковую щепоть. Ток его неистовой крови передавался и мне через колени, прижатые к горячим бокам.

Буря пронеслась над нами боевой галерой, взблескивая и погромыхая огненными веслами. Тучи уползали за хребет, оставив лишь одно облако. Огромное, пухлое, стеганое, оно спустилось к нам в распадок, словно поврежденный дирижабль в эллинг, и зависло в нескольких метрах от земли. Его можно обскакать вокруг и разглядеть со всех сторон. Через полчаса облако «снялось с якоря» и взмыло к соседней вершине.

Снеговые пики гор возникали в небе сами по себе, набирали яркость, резкость, сияли и так же таинственно и непостижимо гасли, таяли в дымке, будто их и вовсе не было.

От дождя сыромятное оголовье намокло, растянулось, и Грай незаметно выпихнул удила из рта. Я обнаружил это, когда на спуске он понес меня по склону радостными жеребьячьими кругами. Отказ рулевого управления в горах — будь то поворотный механизм передних колес или поводья с удилами — равноопасен.

Грай посылся, пока не выдохся, и нехотя встал. Я соскочил на землю и принялся колоть в затылочном ремне оголовья лишнюю дырочку — подтянуть удила. Нож, новехонький, только что с точильного круга мой нож, соскочил с осклизлого ремня и с силой, предназначенной для протыка дубленой кожи, резанул по пальцу. Кровь плеснула на конскую шею, на стремя, на сапог.

Я мгновенно сунул палец в рот — первая мысльлизать рану, каклизывал в детстве ссадины. Рот тут же наполнился кровью, а кон-

чик языка весь ушел в разрез. В глазах закружились радужные петушинные хвосты...

«Это шок,— сказал я себе,— сейчас будет обморок. Нужно скорее сесть на камни. Не хватало еще разбить при падении череп».

Я даже не слышал, как подскакала Василика. Прямо с седла рванула меня за плечо:
— Дай сюда!

Василика разжала скорченную ладонь, выпростала раненый палец и впилась в него губами. Меня поразило то, что она не сплевывала кровь, а отсасывала — глотала ее мелкими глотками. Что она делает? Она пьет крови!

Я вырвал палец с силой — цыганка тянулась к нему, как кошка к валерьянке.

— Дай залечу!

Рана обескровела, и Василика перетянула палец чистой тряпицей, накапала сверху сок, выжатый из репейника.

— Был бы «ман» — к вечеру затянуло... — Она вытерла с губ мою кровь.

Дождь промочил вьюки насквозь. У меня на каждом шагу из сапог выбрызгивает вода. У Василики оттягивает голову намоченная коса, тяжелая словно обрубок чугуновой цепи.

Где бы обсушиться?

Василика отыскала дуб с кроной густой и плотной, насаженной на ствол, будто стог на кол. Лиственный стог. Ворох листьев, проткнутый стволом. Ни одна капля не пробила его — сухой круг опоясывает комель на три шага.

Мы собрали валежник. Я поджег его «пъезо-электриком», — зажигалкой, купленной в Сирии. Знал бы старик араб, где окажется его вещьца...

Дым костра вязнет в кроне. Он стоит в ней сиреневым облачком. Дым уходит в крону, словно заполняет оболочку нависшего над нами зеленого воздушного шара.

Грай повалился на бок и, вскидывая вверх ноги, стал разминать спину.

— Чего смотришь?! — закричала Василика. — Седло сними. Он же хребет ломает.

Расседываю обеих лошадей. Промокшие потники подтаскиваю к огню. Кони пасутся рядом. Время от времени то Грай, то Гнедко вскидывают головы, дают мордой слепня на плече и снова зарывают ноздри в мокрую траву.

Нас припекает с двух сторон — костер и солнце. Солнце тоже костер. Костер, у которого греется все человечество.

Василика не просит меня отвернуться, а сама не тороплюсь это сделать.

Она стягивает с себя джинсы и открывает ноги стройные, как веретена. У нее смешные колени — ровные, круглые, но с квадратными чашечками; они проступают, словно упрятанный за щеку рафинад. Она стаскивает с плеч рубашку — влажный тяжелый жгут косы сам собой укладывается в ложбинку, на смуглой спине, будто она, эта ложбинка, специально для того предназначена.

Василика загораживается плечом, пробелев на секунду грудью. Коса распущена по плечам — так быстрее высохнут волосы.

Редкие капли падают с листьев в костер, и тогда он фыркает рассерженным ежом. Василика сидит у самого пламени, но рыжие языки огибают ее, отшатываются и пляшут, вопреки всем законам физики, косо. Ни дать ни взять — заклинательница огня, объявившаяся с южных отрогов этой пространной горной страны — из

Индии. Тысячелетия и века должны были пройти, прежде чем она, Василика, пронесенная волной цыганской диаспоры через гаремы Передней Азии, через крестовые костры Европы, по кандалным трактам Сибири, по серпантинам Горного Алтая, могла очутиться так близко от собственной прародины, неведомой ей ни сном ни духом, сидеть вот здесь у костра и усмирять нечаянно дравидийскими своими очами пляску огня...

Цыганка замечает три оспинки на моем предплечье, смеется:

— Тоже тавро, да? Как у Грая!

— Тавро,— соглашаюсь я. «Тавро века вакцин и прививок».

Солнце прячется за лиловые макушки елей.

Из войлочных потников и попоны я сооружаю нечто вроде палаточного навеса, раскатываю под ним спальные мешки.

Василика стреноживает коней. Она копошится у ног Грая, и конь, опустив голову, тревожно обнюхивает ее волосы, разметанные по голой спине. Вот она выпрямилась, потянулась... Она вылеплена сейчас из лунного света и бликов костра.

Все всхолмия, ложбины и впадины ее тела переходили, сопрягались и продолжали друг друга по законам водосбора, повторяя рельефы долин великих рек мира.

Тело ее — половинка разъятого целого. И половина эта всеми своими волнистыми неровностями вызывает к немедленному восстановлению, воссоединению, завершению, как требует того половинка расколотой вазы или створка разорванной раковины: пусть часть станет целым, а целое — единым, как сливаются сейчас на девичьей груди и бедрах свет костра и луны, не-

верные жаркие блики и ровные мертвенные лучи...

Василика переползает под полог и растягивается рядом на спальном мешке. Тенью руки я гладил тень ее головы, но она этого не замечала.

Ложись поближе, цыганка!

Глаза твои оторочены соболями. Зрачки твои цвета крепкого чая. Крылья носа трепетны, как лепестки горных пионов...

Лунный свет льется сверху, и тени ее ресниц падают на полщечи. Ресницы можно расчесывать гребешком. А на щеке, словно на грани игральной кости,— две точки — две родинки. Кому-то они выпадут...

Губы у нее от природы сложены в улыбку. Уголки чуть вздернуты, и улыбчивое выражение сохраняется, даже когда она сердится. Губы свежие и розовые, как сыроежки. Я тянусь к ним. Я нахожу их сквозь чадру распущенных волос. Я обжигаюсь о них.

Она отодвинулась.

— Почему?

— Не надо. Я пила твою кровь. Мы теперь как родные.

— Ничего себе!

— У нас обычай такой. Можешь звать меня — пхенори.

— Как, как?

— Пхенори — сестра.

Не вижу, но чувствую, как она там, в темноте, хитро улыбается.

— Расскажи сказку,— просит она.

— Забыл я все сказки...

— Вспомнишь — поцелую. — Только такую, чтоб я не знала!

Это уже почти как в сказке. Ну, чем тебе

не сказка — и эта твоя просьба, и эта ночь?!

Полог палатки отброшен, и серебряный ковш Медведицы висит прямо на растяжной стойке. Конь на холме замер, будто гребень, воткнутый в копну волос. Серп месяца скользит над сопкой так низко, что того и гляди скосит лес на ее вершине вместе с неподвижным конем.

Земля отвернулась евразийским материком от солнца, и космическая тьма затопила горы. Ведь ночь — это космос, не прикрытый голубым куполом; космос, приступивший к земле вплотную — до травы и песчинок. Горы нависли над звездами, как жернова над зернами...

Мы лежим с тобой на обочине Млечного Пути, и мимо нас проносятся по кругу суточного вращения Возничий, Гончие Псы, Пегас, обе Медведицы, Персей, Андромеда, боги, герои, звери и змеи Зодиака.

У человека три грамоты — словарная, математическая и музыкальная. Кто познал язык букв, цифр и нот, тот грамотен трижды. Но кто знает звездную грамоту, тому можно не учить ни азбуки, ни формул, ни гамм. Так считал один древний арабский астролог.

Всякий раз, когда в глухую полночь наша подлодка всплывала «на звезды», я становился его единоверцем.

Крышка верхнего рубочного люка поднималась тяжело и плавно, будто дверца бронированного сейфа, и за ней банковскими сокровищами мерцали спутанные ожерелья созвездий, диадемы, жемчуга внаброс...

Мы месяцами не видели ни встречных судов, ни чаек, ни летучих рыб, ничего того, что хоть как-то развлекает глаз мореплавателя в океан-

ской пустыне. Даже ее унылые равнины, которые до тошноты приедаются надводным морякам, скрыты были от нашего глаза.

Единственное, что могли мы обозреть вширь и ввысь, сворачивая шею и заводя зрачки под лоб, был ночной звездный купол.

В одно из таких всплываний штурман показал мне созвездие Кассиопеи — перевернутую букву «м». От Кассиопеи по звездной цепочке Персея взгляд попадал в квадрат Пегаса, помеченный по углам алмазными точками. Пунктир Дракона походил на вздыбленную кобру.

Я учил созвездия, как заучивают иероглифы. И однажды, запрокинув голову, вдруг понял, что не просто смотрю, а читаю. Читаю самую древнюю библию человечества — звездное небо.

Подобный восторг я испытал лет в шесть, когда впервые разрозненные буквы слились у меня в слова, а затем и в картины «Конька-Горбунка».

Я читал звезды! Я постиг четвертую грамоту, как некто из счастливых — четвертое измерение мира.

Взгляд мой чертил по небу зигзаги, дуги, спирали, полные того смысла, который ведом был еще Птолемею, если не его праотцам. Глаза Коперника и Канта пробегали небо теми же тропами, какими странствовал по ночному небу взор Улугбека.

Это было больше чем чтение...

Взгляд скользил по звездным дорожкам неуклонно, как игла по звуковым бороздкам, и в ушах звучала музыка: Альтаир, Арктур, Антарес... Ее не нарушали ни возгласы штурманов, целящихся в небо раскоряченными секстансами — «Фролов! Альфа Орла. Товсь! Ноль!», —

ни вонючий дым кубинских сигарет. Штурманский электрик Фролов, помечая в блокноте высоты звезд, смолил их безбожно — по три сразу торчали у него изо рта, как гвозди у обойщика. Недели табачного голода он наверстывал в минуты ночных обсерваций.

Какой милой кажется отсюда его рожа, надоевшая к концу похода до зубовного скрежета. Вот уж не думал, что альфа Орла станет синонимом длинноносого язвительного мичмана.

Здорово, Персей! Я помню, как в Средиземном из твоих роззвездий выплыли огни противолодочного самолета. Мы нырнули тогда, распугав дельфинов. Но из крылатой машины заметили фосфоресцирующий след нашего погружения — он полыхнул зеленым адским огнем, — и летчики набросали вокруг буи — слухачи — точь-в-точь как оцепляют флажками загнанного волка.

Мы прорывались сквозь акустические барьеры, и ушли, обманув алюминиевых птиц хитростью ящериц с той лишь разницей, что наш потерянный «хвост» не извивался, не дрыгался, а, зависнув в глубине, свистел, копируя шум лодочных винтов. И те, кто нас выискивал, пошли на ложный звук.

Боже, какие ничтожные события записывал я звездными нероглифами! Знаками, предрешившими столько рубиконов, судеб, жребиев... С таким же кощунством можно было колоть грецкие орехи маршалским жезлом или записывать телефоны на полях папирусных свитков. Но что поделать, если звездное небо уже исписано моей памятью, как вахтенный журнал. Мне неловко порой смотреть на него, как листать дневник, случайно прочитанный всеми.

...Мы лежим на обочине Млечного Пути с седлами в головах и с серебряным ковшом Медведицы в ногах. А над нами в звездной сети бьется черная рыбина моей субмарины.

Санта-субмарина!

6

Утром я проснулся оттого, что в ухо забрался жучок. Попробовал достать его мизинцем, но насекомое забилося еще глубже. Спросонья я нечаянно раздавил его — со страшным хрустом! Взвизгнув от омерзения, бросился к ручью промывать ухо. Сна как не бывало. Я утопил его в пригоршне холодной воды.

Пока я развожу костер, Василика пригоняет коней. Только она могла разыскать их, забредших невесть куда. Слегка одичав за ночь, кони подпускают к себе не сразу — после долгих увещаний и хлебных посулов. Мокрые от росы, с кровавыми следами лопнувших от пересоса клещей, с репейными колючками в челках и гривах, они наконец вверяют себя в хозяйские руки.

Грай возвращается из ночных походов в коре засохшей грязи. Повалиться в осоке, принять болотную ванну — любимое его удовольствие. Или, может быть, он надеется, что на такую грязную спину никто не посмеет положить потник, седло, вьюки? Скребу его, чищу, а он дышит в лицо мокрыми травами, ароматом кадушки с огурцами — смородиновым листом, диким чесноком, щавелем.

Путь на Край Мира начинался из глубокого ущелья, заросшего таежными джунглями столь густо, что упади сюда самолет, и он не разобьется — спружинит на батуте из ветвей, под-

прыгнет и опустится на сплетенные кроны целехоньким.

Внизу сквозь темную зелень листвы светилась нежная зелень реки. Здесь, у входа в ущелье, пологие берега перерастали в каменные стены неоглядной высоты. Скала нависла над тропой гигантской обратной лестницей, чьи мощные ступени почти перекрывали каньон, громоздясь одна над другой.

Берег, по которому мы ехали, входил в ущелье узким заплечиком и очень скоро начал лезть вверх, упираясь в осыпь каменных глыб. Граненые валуны застыли в самых неустойчивых положениях. Даже непонятно было, что помешало им съехать вниз до конца и что держит их до сих пор? Казалось, неудержимый этот камнепад застыл, повинувшись гипнозу чьего-то взгляда, и стоит этому неведомому духу гор отвести на секунду взор, как вся лавина с пылью и грохотом ринется на заплечико, а оттуда в реку.

Некий дух гор в чем-то провинился, и старшие братья велели держать ему обвал взглядом до тех пор, пока на него не вступит грешник еще более горший... Только так можно было объяснить это шаткое равновесие.

Осыпью Осужденного Духа назвал я этот подъем.

Мы ведем коней в поводу. Грай карабкается за мной, как заправский альпинист, но иногда подкова соскальзывает с перекошенного камня, и тогда грузное тело слегка сотрясает осыпь. Если умный все же пойдет в гору, то уж коня за собой не потащит.

Василикин Гнедко корячится на ребристых плитах, то и дело оступаясь и приседая.

Застывший оползень вывел нас на маленькое плато, прилепившееся к горной стене. Его стоило наречь Эдемом за то, что после смертельного риска и испытания на грешность человек попадал в светлую березовую рощу и мог перевести дух, повалившись в фиалки, цикламены, горную лаванду, огненно-рыжие жарки. Здесь он мог вкусить и целебных ягод облепихи, а пройдя чуть дальше — напиться из полуводопада-полуручья. Без брызг и мути тонкой широкой лентой соскользнул он по отвесной плите, а затем, отразившись внизу о плавную крутость, фонтаном взлетел вверх и в три коротких извива сбегал в пропасть. Высота разрывала поток на части, и он не вливался в реку, а обрушивался в нее дождем.

Кроны берез вспухали от птичьего щебета. Плети плюща состязались между собой, кто выше заползет на скалу. Солнце нагревало серые камни, и на них выступали красные капельки земляники. И верилось: вот она, та страна, где «камень становится растением, растение — зверем, зверь — человеком, человек — демоном, демон — богом». Влажный лоб чутко ловит токи ветерка, уши полны птичьих трелей, а глаза залиты сквозь опущенные веки красным золотом солнца.

Здесь было так привольно и радостно, что не хотелось никуда уходить. А мысль о том, чтобы навсегда раствориться в этом зеленом шуме и солнечном буйстве, стать вековой его частицей, казалась такой заманчивой, что, оказавшись в моих руках пистолет, я бы не колеблясь, простым нажатием на курок ввергнул себя в этот прекрасный солнцеворот листвы, брызг, птичьего гомона.

Смерть переходила здесь в жизнь щедро, зримо и утешительно.

Вон поодаль из распластанного, наполовину осевшего в землю ствола старой березы вытянулись в рядок семь молодых деревцев. Чем не белые щенята, которых кормит развалившаяся псина?

В стене у расщелины, откуда выливался ручей, была выбита полукруглая ниша размером с почтовый ящик. В нише на плоском красном камне сидел бронзовый, посиневший от времени буддийский божок.

Унести бы бурханчик с собой да поставить на письменный стол... Я не посмел это сделать, и сам не знаю почему. То ли из смутного страха перед спуском по обвалу. (А вдруг, чем черт не шутит, глыбы ринутся вниз именно тогда, когда я разрушу эту маленькую кумирню?) То ли потому, что без этого божка ущелье лишилось бы своей тайны и Край Мира превратился бы в обычный обрыв над пропастью... Но камень, на котором сидел Будда, камень был самым настоящим авантюрином — полудрагоценной разновидностью кварца; земля скупно выпустила его из своих недр только на Алтае. Я отщепил кусочек: название камня вполне отвечало духу нашего предприятия.

Странное зрение обрел я в горах. Вот зеленобородый корявый кедр сталкивает с валуна березу. Корни ее выброшены в воздух, она скобочилась, как канатоходец, потерявший равновесие, и держится до первого ветра. Немой вопль о помощи висит над валуном.

Толстенные чешуйчатые корни кедрачей обвивают валуны, как змеи, приподнимают камни над землей, вдавливают их в податливые тела толстенных стволов, и те вбирают их, втягивают их в себя, будто переваривают каменную добычу в морщинистых дуплах, как желудках. Одревесневшие лапы, когти, клешни, щупальца всех мыслимых на земле видов цепляются за скудную, нанесенную ветром почву. Глядя на них, понимаешь, как и почему сложились легенды о хищных орхидеях, растениях-людоедах.

А такого я не видывал за всю свою многоезжую жизнь. Могучее дерево выросло посреди плато. Сквозь лохмотья оторнутой коры белели округлости всех форм человеческого тела. Корявый ствол оброс гроздьями женских грудей, вспученными и продавленными пупами, бородавками. Это было живое изваяние. Должно быть, под сенью именно такого древа Эроса свершилось грехопадение Адама и Евы. Тут даже не надо было срывать никаких запретных плодов. Достаточно было внимательно рассмотреть ствол.

Плато Эдем кончалось площадкой, заваленной обломками шестигранных столбов, похожих на гробы. Площадка Разбитых Саркофагов, (по-другому ее не назовешь) жалась к стесу горы и уходила за поворот сужающимся карнизом.

Алтайское солнце било в каменную стену с такой силой, что казалось, именно солнечные лучи и раздробили базальтовый монолит. Это из-под их золотых ломиков просыпалась на тропу каменная дребедень. «Каменоломня Солнца», — нанес я новое название на свою мысленную карту.

Гнедко, покорно шедший за Василикой, вдруг захрапел, замотал головой, вырывая повод. Грай тоже раздул ноздри, присел, упираясь передними копытами.

— Балуй, черт! — прикрикнула Василика.

Кони, всхрапывая, прядя ушами, нехотя пошли следом.

Стена состояла в этом месте из гигантской перекошенной стопы каменных плит с глубоко выветренными промежутками. Плиты выступали неровными острыми краями в самых неподходящих местах — то под ногами, то на уровне глаз. Да и сам карниз являл собой край пластины, выдающийся на метр-полтора из общей стопы. В темных промежутках прятались корни и змеи. Корни спускались от корявых деревьев, росших на закраинах плит. А змеи — плоскоголовые бурые щитомордники — гнездились в щелях друг над другом — ярусами и этажами. Я назвал стенку Змеиным Солярием, потому что на ее каменных полках гады занимались не чем иным, как грели холодную кровь, переваривали на солнце добычу да крутили любовь в прямом смысле этого слова: завязывались скользкими тугими узлами, обвивали друг дружку, сплетались в клубки. При нашем появлении Змеиный Солярий ошетинился живыми отростками, которые, гибко покачиваясь, поворачивались нам вслед дружно, словно ворс под ладонью. Они шипели так яростно и надсадно, как будто шипом своим могли спихнуть нас в пропасть. На какую-то секунду, я и в самом деле почувствовал его упругую отталкивающую силу. Мы жалась к самому краю тропы, но все равно плоские коробочки змеиных голов качались у самых плеч.

Если в крови Василики жила не только жри-

ца огня, но кое-что перепало и от бродячих факиров-заклинателей, то тем лишь и можно объяснить наш благополучный проход Змеиного Солярия. Мы прошли его так поспешно, что я ни разу не успел ужаснуться высоте, ниспадающей за обрывом карниза.

Тропа вилась по каменной стене и продолжала сужаться. Когда она достигла ширины газетной страницы, я вдруг сообразил, что пути обратно нам уже нет — кони просто не смогут развернуться. Я хотел поделиться столь неприятным открытием с Васнликой, но понял, что она сама обо всем догадалась, потому-то мы и идем вперед и вверх безостановочно. Высота росла, и очень скоро я почувствовал себя так, будто стою на балконе десятиэтажного дома и балкон этот без перил. Я с детства боюсь неогороженной высоты и сейчас, сделав несколько шагов, ощутил в коленях знакомую дрожь с томительно сосущей отдачей под ложечку. Боязнь высоты — сладостный страх, ибо где-то в глубинах сознания живет предчувствие: смертельный удар твой будет предварен упоительнейшими секундами полета, пусть отвесного, пусть недолгого, но все-таки полета, гибельное блаженство которого суждено узнать лишь парашютистам с нераскрывшимися куполами.

Чтобы избавиться от страха я стал смотреть только на тропу. Перекрученная, как тесьма, она отвлекала от жутковатого соблазна глядеть вниз: каждый шаг приходилось обдумывать, словно шахматный ход. И все же боковым зрением я видел, что мы поднялись примерно на уровень стрелы башенного крана. Я представил, что мы и в самом деле стоим с Граем на ажурном пролете где-нибудь в Черемушках, и на минуту сделалось смешно.

«Ну хорошо,— усердно обманывал я себя,— а если бы эта тропа пролежала на поляне?! Я бы прошел по ней не покачивувшись, даже не заметив, что иду по идеальной прямой. Мне бы хватило ширины стопы. В конце концов, там, внизу, ничто не соразмерно привычным вещам, ничто не выдает высоту. Почему бы мне не представить тогда, что в ста метрах подо мной течет не горная речка, а ручеек, такой же узенький, каким он видится мне сейчас? А все валуны и каменья внизу — всего-навсего галька. Да-да, я иду вдоль ручья и вижу его с высоты своего роста. Только и всего».

И я пошел почти безбоязненно. Во всяком случае, высота не манила и не притягивала к себе.

Поодаль от тропы и чуть внизу пролетели две птицы, и я увидел их серые в крапинку спины. Я видел спины летящих птиц! Я стоял так высоко, что видел птиц сверху, и парящие птицы были ближе, чем земля.

Высота — близкая, зовущая, пьянящая — ощутилась так остро, что в глазах закачалось ущелье, а каменная стена сама собой стала отдаляться от правого плеча. Плеча, которое так жаждало втиснуться в нее, но не могло почему-то приблизиться к спасительной тверди ни на йоту. Закричи я в ту секунду от ужаса, и уж точно бы свалился вниз. Но спазм перехватил горло. Я промолчал. Удержался.

Василика же бодро шагала по карнизу, едва видная из-за крупа Гнедко. Конь покорно шел следом, но копыта он ставил по самому краю тропы. Держаться ближе к стене ему мешал правый вьюк — в самый раз было перерезать перекидные ремни, и черт с ними, с этими спаль-

пиками! Но нож остался в левой суме, а та давно уже свисала над пропастью.

Грай, как и все животные, избегает встречаться глазами с человеком, но сейчас он явно ловит мой взгляд, а поймав, заставляет меня отвернуться. «Куда завел, хозяин?» — не мигая, спрашивал конь.

Тропа-ловушка начиналась от Змеиного Солярия. Ступив на нее с конем, не свернешь назад — лошадь пятиться не умеет, а обойти ее ты не сможешь. Похоже, что Василика и сама не знает, куда выходит эта тропа. Да и выходит ли она вообще куда-нибудь? Может быть, дальше, вон за тем поворотом, она обрушена камнепадом или завалена осыпью? Я не хотел думать, что будет, если так оно и случится. Но картина рисовалась сама собой: две лошади медленно и плавно, словно в рапидной киносъемке, кувыряясь, летят вниз. Летят вдоль отвесных каменных столбов-кристаллов, из которых сплошь составлена наша стена, летят, оглашая ущелье истошным ржанием...

Чтобы освободить дорогу назад, придется, выбрав самый неожиданный для коня момент, с силой рвануть за повод к пропасти...

Грай шел за мной, приглядываясь, куда и как я ставлю ступни. Правый выюк истерся о стенку до дыр. Перед каждым новым перекосом карниза я оборачивался и спрашивал коня глазами: «Пройдешь?» — «Пройду», — отвечал тот и осторожно обнюхивал закрепленные к обрыву плиты.

К полудню случилось самое страшное — мы стали. Путь преградила плита, вылезшая из стены до середины и без того узкого карниза. Ни вперед, ни назад. Я стою на каменном припае шириной чуть больше книги. В метре от меня

сечет воздух хвост Гнедко, сзади подпирает лбом Грай. Эх, вертолет бы сюда, вертолет...

Но винтокрылая машина могла бы зависнуть лишь в стороне, в нескольких метрах от тропы, и то если бы за ее штурвалом сидел очень рискованный летчик.

И вдруг я явственно вижу качающийся в стороне трап. Чтобы вцепиться в него, нужно решиться на хороший цирковой прыжок. Ноги мои напряглись, стена отвалилась от спины и огромное полетное пространство — от далекой низины до перистых стратосферных облаков — стало медленно надвигаться, вбирать, втягивать меня в себя.

Что это? Горная болезнь? Головокружение? Галлюцинация? Я раскидываю руки, хватаюсь за выступы стенки, закрываю глаза. Ноги ослабли, а в коленях опять задрожали невесть как там оказавшиеся пружины. Приподнимаю веки — трап исчез, зато неподалеку кружит огромная птица — не то гриф, не то орлан. «На перевале его укусил орел», — вспомнились строчки из «Двенадцати стульев» и отец Федор, вскарабкавшийся на неприступный утес. Все это кажется сейчас ужасно смешным, и я хохочу так, что Гнедко удивленно оглядывается, а Василика кричит мне: «Ты что, тронулся?!» Смеяться в эдаком положении не менее безрассудно, чем видеть «небесные лестницы».

У Новикова-Прибоя есть эпизод: подводники в отсеке затонувшей «Мурены» слушают из граммофонной трубы «Блоху». Шалапинское «бло-ха-ха-ха!» ввергло их в гомерический хохот. Они хохотали почти до удушья.

Тяк-тяп-тяк! — это не водолазы стучатся

в корпус затонувшей субмарины. Это цыганка рубит топориком злополучную скалу.

Скорее всего то, что она делает, — сизифов труд. Сколько их там еще впереди, таких выступов?

Я нахожу в кармане кусок хлеба. Грай ест его с ладони медленно, по частям, как кошка. Крохи он подгребает нижней губой. Она у него вроде квадратной коробочки из черной губчатой резины.

Василика рубит скалу. Я вижу, как сыплется вниз каменное крошево; иногда ей удастся отбить увесистый кусок, но звук, с каким он прыгает по дну ущелья, до нас не доносится...

Пройти к Василике мешает Гнедко — его не обойдешь. Пролезть под брюхом? А если испугается, шарахнется? Тогда наверняка сорвется сам да и меня спихнет. Даже к самому смирному коню нельзя подходить сзади — может сработать оборонительный рефлекс, и он взбрыкнет. Затаив дыхание, я оглаживаю Гнедка, ласково похлопываю по бедру, улучив момент, на четвереньках, извернувшись боком, проскальзываю у него между задних ног, а затем точно так же — между передних. Жеребец недовольно вскидывается, переступает с ноги на ногу, но я уже рядом с Васнликой.

Теперь мы рубим напересмену. Топор постепенно превращается в молоток. Но и выступает на глазах. И вот уже пугливый жеребец, обдирая круп об острые скалы, проходит по ту сторону преграды. Рыжую шерсть, оставшуюся на камне, я снимаю на память.

— Обратно пойдем другим путем, — обнадеживает Василика. — По пологому склону.

Я облегченно вздыхаю. Теперь не придется признаваться, что спуск по карнизу я смогу совершить только в вертолете.

Провисев «слезой на реснице» еще часа два, мы выбираемся наконец на Край Мира. Это площадка (слава богу, площадка!) внутри полукороны старого вулкана. Сама корона будто срезана гигантским ножом до самого подножья горы (по этому-то вертикальному стесу и вился наш карниз). Зубчатка полукороны высилась вокруг нас руинами эллинского амфитеатра. Вид отсюда простирался такой, что я, забыв о своих страхах, подошел почти к краю.

Да, это действительно был Край Мира! Торжественный простор открывался до самого закругления планетного шара. Панорама снеговых вершин то задерживалась туманом — и надолго, то «занавес», повинуюсь знаку неведомого режиссера, распахивался, и величественное зрелище представало глазам на несколько минут, как награда за чье-то неведомое добро, как укор, зов стремления к высотам, как немая, но страстная проповедь. Изломы беззвучных молний вычерчивали в вышине пики иных, надмирных хребтов. Каменные гребни, размеченные во все тона синевы, тасовались и уходили волнами в непроглядную мглу, за которой простирался Тибет, заповедная таинственная страна.

Отсюда, с Края Мира, я видел красные крыши. Поталы — далай-ламского дворца, чьи белые стены каскадами ниспадали из высокогорного космически черноватого неба. Зеркальным золотом сияли башенки субурганов, и под загнутыми углами кровель звенели от солнечных лучей серебряные колокольцы. Страстно и мрач-

по ревели трубы из человеческих костей, глухо бухали расписанные драконами тамбурины. Я втягивал ноздрями пряные дымы, которые выпускали бронзовые курильницы, и ощущал на языке вкус меда с топленным маслом, плававшего в жертвенных чашах.

Там, в Лхасе, в столице Тибета, которую время до недавних пор обтекало так бережно и счастливо, хранились завернутые в желтые лоскуты книги — свод сокровенных тайн жизни и любви, бытия и смерти.

Я никогда не прочту их — древние библиотеки сожжены хунвейбинами. За дворцами Лхасы притаились стартовые позиции баллистических ракет...

Куда девалась Василика? На площадке ее не видно. Только кони наши стоят, положив головы друг дружке на шею. Устали. Я делаю шаг в сторону и вдруг замечаю, что весь «стадион», вся его арена сплошь прикрыта каменными капканами. Плоские осколки так нагромождены друг на друга, что стоит неосторожно ступить на плиту, как она предательски опрокидывается и защемляет ногу. Шаткие камни осклизлы, замшелы. То и дело они глухо жмакают, как ловушки, сработавшие впустую. Между ними торчат острые жесткие травы. В их неподвижности есть нечто от выжидания хищников-трупоедов: «Поскользнись, упали, убейся об острый камень, сломай хотя бы ногу, и ты наш, ты отсюда не выберешься... Мы прорастем сквозь тебя, мы превратим тебя в перегной и будем тобой питаться». Не это ли листва цыганского корня «ман»?

— Василика! — кричу я в рупор из ладоней.

— ...Илика... лика... ика! — ожил, загрохотал вдруг мертвый амфитеатр. Горные духи восседали на его каменных скамьях и злобно наслаждались моим одиночеством. Я вернулся к Краю Мира. Я встал на самую его кромку...

Солнце истекало оранжевой смолой. Оно сидело в узкую полосу, густо-красную, как отстой неразбавленного чая.

Как странно видеть горные вершины под навесом носков своих разбитых сапог, видеть выплывающие из-под твоих подошв облака. Одно из них, тонкое, широкое, нанизывается на корону и отсекает ее от всего мира. Фантастическое зрелище — каменный цирк посреди облака, которое, может быть, час назад висело над степью, над трассами рейсовых самолетов.

Теперь вместо бездны у меня под ногами тугие белые саморазвертывающиеся клубы. Кажется, шагни — и тебя подбросит на них как на сетке...

Облако уползает, возвращая вид на безбрежное окаменевшее море. Когда-то оно действительно волновалось, плескалось. Огненные штормы вздымали магму, пока однажды ее валы не замерли в последних своих всплесках... Последний миг творения земли застыл в неровных гребнях хребтов. Вот он, самый древний след времени, какой дано созерцать человеку...

И вдруг накатывает предчувствие, что вот сползет сейчас облачная пелена, и мне откроется самая главная истина мира. «Ну же, ну!» — тороплю я это мгновение. Оно проскальзывает мимо. Оно уже за моей спиной, за зубцами короны. Я упустил его.

Сзади зажимакали каменные капканы. Василика! Искала корень.

— Нашла?

— Нет... — грустно качает она головой.

«Не переживай, — хочется утешить ее. — Мне тоже не удалось сегодня добраться до «корня зла и добра». Мы товарищи по неудаче».

— А без «мана» ты не проживешь?

— Я проживу. Дядя Матвей не проживет. У него рак горла...

Так вот отчего у него такое изможденное лицо. Не борода иссосала его...

— Чем ни лечился: и лекарства пил, и янтарный мундштук курил — помогает, говорят. А ему все хуже и хуже... «Ман» — рачья чума. Рак от него бежит.

Через расщелину в базальтовой короне мы выводим коней из вулкана на обратный пологий скат. Кони осторожно принимают уклон на передние ноги. На вытянутых шеях балансирами качаются тяжелые головы: вниз, вниз, вниз...

Коса Василики ходит перед глазами, как маятник. Мы съезжаем конь о конь. Мы едем домой.

— Выходи за меня замуж.

— Нет.

— Почему?

Василика насмешливо косится на мой забинтованный палец:

— Ты не умеешь чинить сбрую. Ты не умеешь ковать лошадей. Ты не умеешь играть на гитаре...

Василика срывает алый горный пион и вплетает его в гриву коня.

Они выскочили нам навстречу, Матвей и Алексей, на распаленных конях — злые.

— Ну, девка! — погрозил Матвей Василике кулаком, обмотанным плетью. — Погуляла, и будет! Марш домой!

Разъяренный старик хлестанул Василикиного коня, и тот понес по просеке, унося девушку с черной косой. Алексей загородил мне дорогу. Он держался спокойнее, но таким хмурым я его никогда не видел.

— Слезай, паря! Иди, куда шел! — процедил он сквозь роскошные зубы. Я понял, что все оправдания бессмысленны. К тому же у меня дурацкое свойство — испытывать вину даже тогда, когда тебя, невинного, в чем-то подозревают, и от одного этого становится неловко, и начинаешь вести себя так, как будто ты в самом деле что-то натворил. Я спрыгнул наземь, Алексей подобрал Граев повод, развернулся и не оглядываясь ускорил след за Василикой и Матвеем.

Я брел по лесной колее, которая вела к треклятому селу. Было такое чувство, как будто меня сбили на рыцарском турнире, отняли коня и похитили прекрасную даму. Но это творилось в верхних слоях души, а в нижних... Там кипело, как в ведьминском котле, — и ревность, и обида, и стыд, и тоска, и что-то еще, отчего сами собой наворачивались горячие слезы. Утешаться оставалось тем, что все равно бы пришлось расстаться: отпуск кончится, и надо будет возвращаться на корабль...

Тишина вокруг стояла глухая, словно в ушах полопались перепонки. А может, потому, что я брел, ничего не видя, ничего не слыша.

К вечеру добрался до асфальтовой ленты Чуйского тракта, присел на обочину и стал ждать попутный автобус. Ждать пришлось долго. Но прежде чем я услышал вой автобусного мотора, из просеки вынеслась девушка на коне — Василика и Грай! Она подскакала ко мне и спрыгнула на обочину. Взмывленный Грай шумно перевел дух. Я обнял его за мокрую шею, и Василика, наверное, догадалась, кому на самом деле предназначалось это объятие.

— Замуж звал? — выдыхала она каждое слово. — Я от них сбежала. Бери!

Я ошеломленно хлопал глазами. Без паспорта и свидетельства о браке ее со мной не пропустят...

— Паспорт с тобой?

Более идиотского вопроса в такую минуту придумать было нельзя. Она прочтала на моем лице все, что я хотел скрыть, — замешательство, сомнение... Улыбнулась зло и красиво:

— Сейчас привезу!

Вскочила в седло и ткнула Грая коленями. Конь присел и рванул с места так, что потерял подкову. Я кричал им вслед, но Василика не обернулась. Она неслась по шоссе, навстречу автобусу и мимо него...

Я подобрал подкову и влез в междугородный «Икарус». сверкающий, как инопланетный ковчег.

Подкову Грая с разрешения командира приварили к крышке верхнего рубочного люка. Когда люк был распахнут, литой кругляк загроживал подкову от чужого глаза, когда же люк задраивался, видеть ее могли разве что

рыбы. Не знаю, счастливая ли подкова тому причиной или еще что, но только нам преотчаянно везло и в торпедных атаках, и в скрытых прорывах, и в шторм, и в лед... Правда, подкова от морской воды быстро таяла, уменьшалась, как шагреневая кожа. Когда она истоньчала и вовсе, в судьбе моей произошел крутой поворот: я ушел с корабля.

Уже вставало над сопками робкое февральское солнце, тшась из всех сил повыше приподняться над горизонтом. Его пока не было толком видно, всего лишь на секунды оно прорывалось сквозь мглу и дымку, обливая заснеженные скалы настоящим слепящим золотом. Но люди и звери безошибочно читали эти гелюграммы: «Зиме конец! Зиме конец...»

Из окна канцелярии начальника береговой швальни мичмана Боголаза вид на гавань и заполярные сопки заслонял валун — брюхатый, осанистый, складчатый словно поддутый аэростат. Под растресканным его боком матросы приспособили банку-скамью, врыли, насколько позволил грунт, обрез, и теперь Боголаз волея-неволей должен был любоваться, как дымят в перекуры его подчиненные — brave портные.

Сам Константин Алексеевич Боголаз покончил с табачной пагубой еще в срочную службу, когда ходил в моря на подводной лодке. Как-то на ночном всплытии накурился до зеленой одури: по три сигареты разом тянул — так что в рубочные люки на руках спускали. Доктор в отсек приходил, про никотиновое отравление толковал, про лошадь, что пачку «Беломора» сжевала и подохла. Лошадь, конечно, жалко, но только и без докторских баек Костя Боголаз курить бросил. Вложил в портсигар с тремя тис-

ненными на крышке богатырями плоскую иностранную зажигалку и на очередном всплытии «на звезды» зашвырнул портсигар подальше в волны, говаривая про себя присказку, какой мать избавляла его в детстве от икоты. «Охота, охота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». С тех пор, как только Боголазу предлагали закурить, он вспоминал этот портсигар, тяжелый, может быть, даже что и из серебра, дорогую иностранную зажигалку, выменянную у адмиральского шофера на чучело луны-рыбы, и, глубоко вздохнув, отказывался.

Зато теперь, в сорок лет, мичман Боголаз, несмотря на сидячую службу, строен, поджар и легок на ногу, как молодой олень.

По столу, приставленному к окну, мазнула чья-то тень. Константин Алексеевич оторвался от бумаг и увидел в курилке тощую фигуру первогодка Ремезова. Ремезов достал из отворота ушанки письмо, поджег его на спичке, затем извлек из глубины бушлата военный билет, вынул из-под обложки фотокарточку, разорвал ее и швырнул клочки в обрез.

Будь кто-нибудь рядом, Боголаз побился бы об заклад, что на разорванной фотографии — портрет девушки и девушка эта собирается или уже вышла замуж. Чтобы окончательно в том убедиться, Боголаз, едва Ремезов вернулся в мастерскую, наведаясь в курилку и собрав клочки фотокарточки. Разложив их на столе и даже наклеив для верности на старом бланке, мичман увидел то, что и ожидал, — юное девичье лицо. Правда, не хватало клочка с левым глазом, но и без него можно было определить — девушка достаточно красива, чтобы влюбиться в нее до сердечной муки.

— Кравцов! — гаркнул Боголаз в фанерную переборку, и в дверях возник розовощекий и свстлоусый старшина.

— Кравцов, Ремезова в караул сегодня не ставить!

— Не понял! — нагловато вскинулся старшина.

— Кравцов, знаешь, как на флоте объясняют? Повторяют еще раз, только громко. Ремезова в караул не ставить!

— Понял, товарищ мичман.

— Свободен.

Боголаз по себе знал, каким разрушительным бывает это яростное чувство — первая любовь. И не только по себе. Уж сколько перевидал он молодых матросов — редко у кого складывалась первая любовь. Эх, на службу флотскую лучше всего идти с вольным сердцем...

Мичман Боголаз окончил философский факультет гарнизонного университета марксизм-ленинизма и потому любил поразмышлять о сложных материях.

Конечно, на гражданке по-всякому бывает. Но вот у матроса, тут Боголаз поспорил бы с любым профессором, первая любовь почти всегда обречена. Три разлучных года, а во времена боголазовской юности четыре, — срок для неокрепших чувств губительный. Бывают исключения, но редко... Недаром сколько лет прошло, а вся береговая база помнит, как к матросу Загоруйко приехала из Краснодара бывшая одноклассница, и все три года, до увольнения возлюбленного в запас, проработала посудомойкой на офицерском камбузе. Свадьбу им устроили в городском ресторане.

А вот к матросу Ремезову невеста не придет. Боголаз еще раз взглянул на миловидное

личико — пухлые губки, надменный носик, пушистая челка, представил рядом Ремезова — длинного, нескладного, в очках — и произнес вслух:

— Не приедет.

Эта девица была чем-то похожа на его школьную зазнобу — Лидочку Звонареву. Когда он получил от нее такое же письмо, как сегодня Ремезов, мир показался ему пустым и нелепым. Он был уверен, что никогда в жизни ему не встретить больше никого, кто был бы так мил и желанен. В тот черный день он стоял в карауле, охранял бербазовский гараж, чьи ворота — по ту сторону валуна-аэроstats. Замирая от тоски и ужаса, он даже несколько раз примерял к груди короткий автомат. Черный ствол с высокой мушкой доставал до любой точки тела... Сейчас страшно об этом вспоминать. Спасло его то, что динамики боевой наружной трансляции вдруг зарычали, затрещали, и вместо голоса оперативного дежурного, объявлявшего в базе тревоги, вдруг раздались мелодичные позывные, какие предваряли обычно важные правительственные сообщения: «Ро-ди-на слы-ы-шит, Ро-ди-на зна-а-ет!..» «Говорит Москва». Державный голос Левитана раскатывался в гранитных скалах далеко и зычно. «Работают все радиостанции Советского Союза...»

«Война!» — мгновенно пронеслось под стальной каской. Матрос Боголаз покрепче сжал оружие...

Но это была не война. Динамики сообщили о запуске в космос первого человека земли — Юрия Гагарина.

Право, расставаться с жизнью тогда расхотелось...

Мичман прошел в мастерскую, где наперебой стрекотала дюжина швейных машинок. За одной из них строчил погончики для рубах-«голландок» портной Ремезов. Только что пришел приказ, который поверг мичмана в унылое недоумение: кто-то распорядился заменить погончики с гордыми литерами «СФ» — «Северный флот» на погончики с безликими «фертами» — «Ф». По этому случаю швальня работала с полной нагрузкой.

Боголаз сочувственно посмотрел на Ремезова — все-таки службу лучше начинать на кораблях, а не при швейных машинках. Кругом не везет парню! Пальцы матроса ловко и быстро подставляли под иглу черные суконные квадратики. Напряженной гримасой он пытался удерживать сползающие с носа очки.

После ужина Боголаз заглянул в кубрик и позвал Ремезова с собой. Матрос шагал за ним понуро, не спрашивал, куда и зачем его ведут. Они вошли в портал бывшего бомбоубежища, где теперь размещалось ружейное стрельбище базы. Начальник стрельбища — толстый мичман с лицом цвета свекольника со сметаной — отпер сначала ящичек с ключами, а затем открыл железный шкаф, где в деревянных вырезах лоснились короткие автоматы с откидными прикладами.

— Что, Алексеич, привел бойца пороха понюхать? — поинтересовался розоволицый.

— Хочу вот на олимпийского чемпиона на-таскать! — отшутился Боголаз. Он взял из ящика два тяжелых рожка, примкнул один к автомату и передал оружие матросу.

— На огневой рубеж — шагом марш!

Ремезов раскинул на плетеном мате длинные тощие ноги, изготовился, направив ствол в длин-

ный, грубо вырубленный в базальте тоннель. За-чем-то он снял очки и сунул их в карман буш-лата.

Боголаз выставил ему большую двухфигур-ную мишень пулеметного расчета. В такую, что в очках, что без очков — не промажешь.

— Короткими... Огонь!

Тишину подземелья вспорола длинная оче-редь. Мичман хотел было осадить стрелка, но передумал. Пусть душу отводит...

Потом Ремезов стал бить короткими, почти не целясь. Подскальный тоннель наполнился грохотом выстрелов, пороховой гарью, звоном прыгающих гильз.

Боголаз сидел за столиком, подперевши щеку рукой, и невидяще смотрел туда, где ле-тели отколотые от мишени щепки... Он очнулся от тишины, плотно заложившей уши, — Ремезов расстрелял оба рожка.

— Матрос Ремезов стрельбу закончил! — доложил портной, как учили в учебном от-ряде.

Мичман заглянул в патронник и убрал ав-томат в железный шкаф.

— Ну что, — спросил Боголаз, — чуток полег-чало?

— Полегчало... — вздохнул Ремезов и достал из бушлата очки. Водружая стекла на нос, он понюхал пальцы. Они пахли порохом.

— Пошли домой, — распорядился мичман.

«Дома» Боголаз вызвал в канцелярию стар-шину первой статьи Кравцова.

— Завтра можешь ставить Ремезова в ка-раул.

— Не понял.

— Ремезова завтра в караул!

— Ессь!

Мичман приподнял настольное стекло и положил склеенную фотографию девушки рядом с графиком восхода солнца. Солнечного времени завтра прибавлялось на целых две минуты.

ДОКТОР ИЗ ПОДПЛАВА

Рассказ

Мою руки по Спасокукоцкому — пятипроцентным раствором нашатырного спирта. Спасокукоцкий... Смешная фамилия, но хорошо, что Спасо... Спас на крови... Яблочный спас... Спасите наши души... Спасение... Спасатель... Спаситель...

К черту лишние мысли!

Вот почему я не люблю ассистировать. Слишком много свободного времени. Когда оперируешь сам — полное сосредоточение и ничего лишнего в голове. Но когда следишь за чужими руками и только время от времени поможешь расширителем или пинцетом — Черкесов прекрасно управляется сам, зачем ему балбесы-ассистенты? — вдруг начинаешь замечать то, на что отвлекаться не должен; в голове рой самых далеких от хирургии мыслей...

На столе мичман с нашей подводной лодки, старшина команды электриков. Ему двадцать шесть лет. Диагноз: киста мениска на правом колене. Ногу, густо заросшую черным волосом, выбрили и смазали йодом. Охряно-ольховая, она перестала походить на человеческое тело. Так, что-то вроде муляжа... Ее обули в стерильную бахилу. Я перетягиваю бедро жгутом.

Мне нравится наша операционная бригада. Подполковник Черкесов — прима-скальпель Арктики, бесспорно, лучший хирург побережья, а может, и всего флота. У него учиться да учиться... Внешность самая обыкновенная: остренький носик, быстрые глаза скородума. Под колпаком жиденькие волосы. Колпак скрывает лысину и придает Черкесову особую значительность: ни дать ни взять — белая митра венчает голову ирохирурга... Так и хочется сказать — демнурга. Никакой патетики, никакой иронии... Обыкновенная игра слов: хирург — демнург. Рифма для плохого поэта.

Ах, черт! Зазевался... Черкесов держит кончик сосуда и ждет, когда я прижгу его электроагулятором. Прочь посторонние мысли! Прижигаю — второй, третий, четвертый.

Мой коллега Паша Туманов, корабельный врач с «четыреста двадцатки», — сама собранность и невозмутимость. Правда, любит отпустить шуточки вроде: «Если запутался, сшивай красненькое с красненьким, а беленькое с беленьким. Не ошибешься». Медициник. Хорошо еще, больной не слышит. Матросам на амбулаторном приеме говорит изрядные гадости. Считает, что это своего рода антишоковое средство, закаляет психику и учит спартанскому небрежению к ранам. «Так, клади свой мосол сюда... Счас мы тебя ковырнем... Спустим мало-мало дурную кровь... Ну, чего смотришь на меня стеклянными глазами? Аж видно, как на затылке волосы растут...»

А в общем-то это действует и впрямь ободряюще. Матрос пошел городской, порядком изнеженный...

Старшая хирургическая сестра Альбертовна. Альбина Альбертовна, баба Альба, пятый год, как

пенсионерка, добрая, но ворчливая латышка. Сидит над инструментальным столиком, как лотошница на вокзале. Все видит и на всех, кроме Черкесова, ворчит. Мне: «Зачем на пол капашь, брось в таз». И я послушно бросаю в таз перемокший тампон.

В изголовье больного примостилась у своих аппаратов анестезиолог Настя. Над марлевой повязкой большие красивые глаза. Марлевая повязка ей очень идет. Эдакая получадра, которая скрывает и не скрывает, и манит, и дразнит. Но когда она ее снимает, многое из Настиного очарования теряется. Я влюбляюсь в нее именно на операциях и всякий раз обещаю себе, что сегодня обязательно провожу ее до дома. Но хватает меня только на операцию. Потом наш анестезиолог превращается в обыкновенную девушку, которая очень хочет выйти замуж. А я слишком устал и разбит, чтобы провожать ее на самую макушку Комендантской сопки. По-моему, Паша сделал бы это с большей охотой, но Паша женат, отец семейства. И еще я подозреваю, что Черкесов — к старости, говорят, людьми овладевает манья у устраивать судьбы ближних — очень хочет погулять на нашей свадьбе в роли посаженного отца. Уж слишком он приглядывает за нами. И уж конечно, совсем не случайно оказались мы с Настей в одной бригаде. В ее присутствии Черкесов, обычно резкий, никогда не повышает на меня голос, хотя сейчас, например, ассистента Конькова надо обругать самыми последними словами. Я уронил на пол расширитель; первый еще в самом начале операции расстерилизовал Паша. Третьего на лотке бабы Альбы почему-то нет. Она судорожно ищет его в запасном комплекте. А Черкесов ждет, и тянутся пустые ми-

нуты, и я готов провалиться сквозь плиточный пол. По-мощ-ни-чек... Настя вроде бы ничего не замечает: чертит что-то в протоколе анестезии да поглядывает на шкалу пульсометра.

Слава богу, нашелся третий... С бабой Альбой не пропадешь!

Позавчера мы отмечали в ординаторской — по-походному, наскоро — шестидесятилетие бабы Альбы. Она, наверное, и сама не заметила, как подкатил этот шестой десяток... Стареют у нас тут так: девушка, девушка, вдруг — бац! — старушка.

Наша пятерка напоминает мне экипаж гражданского самолета, где к рискованному делу мужчин-пилотов приобщены и женщины-стюардессы. Фон общей опасности придает особый привкус отношениям внутри таких групп. Не берусь определять нюансы — это дело социальных психологов, — но, честное слово, мне нравится этот артельный уют, который испытываешь только здесь, в операционной...

Ну, вот чем сейчас Черкесов не командир лайнера? А мы с Пашей вроде вторых пилотов. Настя в изголовье больного — точь-в-точь штурман с планшетом и так же по-штурмански чертит свои кривые. Баба Альба, вне всякого сомнения, — борт-техник. Младшая операционная сестра, толстая Лида (она в нашей бригаде временно), — не очень изящная, но все же стюардесса: приносит лекарства, уносит тазы, поправляет бестеневую лампу. Только «полет» наш всегда проходит в аварийном режиме: перед нами вскрытое человеческое тело, оно кровоточит, оно на грани небытия, и времени всегда в обрез, и никаких запасных аэродромов. Во что бы то ни стало мы обязаны дотянуть до посадочной полосы, где большими алыми буквами

начертано «ЖИЗНЬ». Мы аварийно-спасательная партия, которую выбрасывают на гибнущие корабли, чьи команды бороться не в силах.

Спасокукоцкий... Спасо...

Наши зеленые халаты, полинявшие в автоклавах, так похожи на выгоревшее солдатское хаки. Алый кончик скальпеля. И скальпель, и рука в перчатке не отбрасывают теней, будто возникли из потустороннего мира. Гранатовый разлом раны. Звуки операции... Пощелкивание пинцетов и зажимов, похлупывание крови, поскребывание острой стали о кость.

Видели и слышали бы все это наши гонорливые лодочные лейтенанты! Боюсь, что у многих сейчас в глазах сделалось бы нехорошее кружение,— так бывает почти у всех новичков: холодная испарина, дурнота, боль в висках. Этой злорадной мыслью я беру у кают-компания небольшой реванш. Не много надо остроумия, чтобы придумать афоризм: «самый редкий режим подводного плавания — РДП: «работа доктора под водой», или срезать с медицинских эмблем на погонах шинели «змей», оставив одни «чаши».

Нет, дорогие соплаватели, хирургия — это вам не «пузырь в корму», «пузырь в нос». Хирургия — жестокое милосердие, хирургия — воинствующий гуманизм, самая деятельная медицина...

Я наполняюсь профессиональной гордостью, как шприц новокаином. Мне вдруг очень хочется стать Черкесовым. Чтобы и на меня ассистенты смотрели такими же глазами, как мы сейчас на шефа.

— Электронож!

Включаю электронож. Моторчик заныл противно, словно бормашина. Опухоль Черкесов удаляет виртуозно. Залюбуешься!

Ах, как жаль, что такие стажировки бывают раз в году! Но ведь чего проще — написать рапорт, дожидаться замены, перевестись в госпиталь — Черкесов возьмет, звал уже не раз — и совершенствуйся хоть каждый день. И каждый день — свободный вечер. И гарантированное воскресенье. Никто не прибежит и не постучит: «В пять утра приготовление к бою и походу». И жениться на Настеньке. Красивые глаза, общие интересы, здоровая советская семья. Пойдут дети...

В прошлом году на нашей лодке работала госпитальная бригада по заготовке донорской крови. Настя — Анастасия Васильевна, как величали ее фельдшер и медсестра, — устроила мне знатный разнос: мичманская кают-компания, где разместили донорский пункт, показалась ей «антисанитарной».

Ну конечно, аккумуляторный отсек дизельной подлодки несколько отличается от операционных ленинградских клиник!

Я рассказал ей, как в море на одном из морфлотовских танкеров мне пришлось вскрывать полость груди, уложив больного на биллиардный стол. Боцман держал в руках сигнальный прожектор, а ассистировал мне парень из трюмов, который на вопрос: «Когда в последний раз умывался?» — ответил: «Медведь круглый год не моется, а все равно хозяин тайги».

Она улыбнулась, и из грозной Анастасии Васильевны стала просто Настей. Потом мы пили с ней кофе в каюте механика, которую тот любезно нам уступил. Я рассказывал про операцию на танкере, не жалея красок. Впрочем, будь я цирковым наездником или бухгалтером, а она акробаткой или учетчицей, все было бы точно так же: небрежный тон бывалого

профессионала и восторженные глаза новичка.

— На танкер я поднялся со шлюпки по штурмтрапу. Борт высоченный — лезешь по нему, как багдадский вор по дворцовой стене. Провели к больному в кубрик. Парень без сознания. Кожные покровы бледные, цианоз губ, пульс нитевидный... «Что с ним?» — «Надорвался. Железяку поднимал...» Непохоже, думаю... Прослушал. Дыхание в левом легком резко ослаблено. Сделал плевральную пункцию. Откачал пол-литра темной жидкости... Что бы вы диагностировали, голубушка? — спросил я тоном экзаменатора и скосил глаза на круглое колено, выскользнувшее из-под полы белого халата.

— Левосторонний гидроторакс? — робко предположила она.

— Как бы не так! Ущемленная диафрагмальная грыжа! — торжественно провозгласил я. — Когда-то парня пырнули ножом. До флота еще, на гражданке... В диафрагме остался свищ размером с юбилейный рубль. В эту дырку-то и вылезли часть желудка и прядь большого сальника.

— И что же вы сделали? — Глаза у Насти горели, как будто я пел ей серенаду.

— Вскрыл восьмое межреберье. Низвел желудок в брюшную полость, прядь удалил, диафрагму зашил... Парень жив-здоров. Играет в волейбол за сборную республики.

Настя всплеснула руками.

Вечером она ждала меня у себя на Комендантской сопке. Обещала заварить какой-то необыкновенный чай с жасмином. Я припас плитку шоколада. Придумал шутку насчет донора... Вечером мы снялись со швартовых и ушли в моря. На том и кончился наш корабельный роман...

— Конь-ко-ов! Ау! Иглу, кетгут и дренажную трубку!

Ого! Дело движется к концу. Черкесов снимает зажимы, расширители... Настя рассеянно смотрит в окно. Над гаванью снова поднимается ветер. Стекла в операционной недребезжат, они надежно промазаны гипсом, щели заклеены лейкопластырем. А у меня дует... На плавказарме лопнула труба. В каюте по утрам замерзает в тюбике зубная паста. Ночую пока в госпитале...

В первый же день стажировки я проводил Настю и заглянул к ней на чашку жасминового чая.

У нее большая теплая комната. Не комната, а «ковровая шкатулка» — палас на полу, ковер на стене, ковер на тахте. Хрустальная ваза. Сервиз «Мадонна». Ножки стульев обуты в пластиковые колпачки, снятые с бутылок, — чтобы не царапали паркет.

Мама у Насти заместитель директора «Гостиного двора». Старинная квартира в Ленинграде. Рядом Военно-медицинская академия. Со своей жилой площадью легко переводиться к новому месту службы. Диссертация. Кафедра. Клиника...

Стоит только проводить сегодня Настеньку, остаться на ночь — по глазам вижу, оставит, — а завтра перетаскивай вещи, назначай день свадьбы, пиши рапорт об уходе на берег...

«Ну что, доктор, фанеру запасаешь? Аэроплан строишь? Улетать собрался?» Голос старпома слышится так явственно, что я оглядываюсь. Нет никого. И не будет... Не будет свежей погоды, когда тебя осыпает солеными брызгами еще в шахте рубочных люков, не будет солнца, ныряющего в волнах, не будет срочных погру-

жений и нервных трелей тревоги, не будет шуток за ночными братскими трапезами, не будет звездных иероглифов над головой и чужих берегов, vyplывающих своими минаретами и куполами из желтого марева горячих пустынь...

Нет, пожалуй, я перекантуюсь сегодня в ординаторской.

— Коньков! Смотрите сюда...

Черкесов сшивает разрез. Он становится так, чтобы мне было виднее.

— Я завязываю нить морским узлом, прямым штыком.... Видите? Р-раз, р-раз — и все готово!

Хирурги и ткачихи вяжут узлы одной рукой. Черкесов обрезает кетгут.

— Держит замечательно!

По тону чувствую — шеф доволен. Прооперировал быстро и удачно. Мичмана увозят в палату.

На сегодня все.

Долой повязку, долой перчатки, долой колпак! Разоблачаемся. В ординаторской я помогаю Насте набросить на плечи шубку.

— Вы не идете? — подстрекает меня Черкесов на проводы.

— Нет. Посижу, поработаю...

— Ну, ну...

Кружка чая, бледного, с сильным больничным привкусом. Рвотная жидкость, а не чай.

Продавленный диванчик. Подушка, пахнущая казенным уютом и лизолом. Шинель поверх одеяльца. От воротника — неискоренимый дух лодочного соляра и морского йода.

Еще поплаваем!

Спокойной ночи.

ПРОВОДЫ

Рассказ

Н. Баутиной

На проводы подводной лодки никого не пустили. Исключение сделали лишь для жены командира Натальи Симаковой. Георгий, весь в черном — в «канадке», сапогах, кожаной шапке, — наскоро обнял ее за углом заснеженной будки дежурного. Закостеневшие на морозе усы жестко кольнули в щеку. От овчинной куртки противно пахло касторовым маслом, соляром и еще чем-то острым лодочным... Прощания такого, каким рисовала его себе Наташа, не получилось. Гоша едва проснулся, едва открыл глаза — душой и мыслями уже был на своем корабле, и Наташе оставалось довольствоваться тем, что в это краткое прощальное утро ей была предоставлена живая телесная копия мужа, отвечающая на вопросы и поддерживающая разговор с жутковатой отрешенностью робота.

— На мост, командир, на мост! — с деланной строгостью поторопил комбриг. — Начальство уже собирается.

Георгий еще раз прижал жену к своей «канадке» и не оглядываясь зарысил туда, где желто горели квадратные прорези гладколобой рубки. Темнота полярной ночи растворяла черную подводную лодку, и только на корме, где горел якорный огонь, видно было, как уходил в рябь дорожки сощипанный плоский хвост субмарины.

Наташа постояла еще немного, побивая сапожком о сапожок — стылый бетон причала ле-

денил подошвы даже сквозь шерстяные носки, — посмотрела, как Гоша пробежал по круто ставшей в отлив сходне, и поспешила домой, чтобы успеть выполнить уговор: в момент, когда лодка выйдет на середину гавани, трижды включить и погасить свет в окне. Окно выходило на залив, и с моря хорошо был виден его пунцовый зашторенный прямоугольник. В ответ на условленный сигнал Гоша должен был трижды гуднуть тифоном.

Снег, сдутый с кровель, вился вокруг уличных лампионов, косо штриховал лучи корабельных прожекторов, дымился в колючих ореолах «искусственных солнц», водруженных на крышах, и странно было слышать под льдистый шорох поземки журчание ручья, бежавшего под деревянными мостками в незамерзающую гавань. Задыхаясь от крутизны обледеневших ступенек, Наташа взобралась на сопку, где стоял дом, вбежала на пятый этаж, бросилась к окну. Успела!

Снежный заряд истощился, и в бледном свете северного сияния четко чернело посреди гавани змееголовое тело Гошиной лодки.

Наташа щелкнула выключателем, но люстра не зажглась. Должно быть, пурга порвала провода. Такое в Северодаре случалось. Горестно охнув, она схватила толстую сувенирную свечу, зажгла ее, трижды показала в окно. Увидит ли?!

Черноспинный змей издал басовито-утробный рев, который вдруг сорвался на беспощадное сипение, как будто у подводной лодки перехватило от волнения голос. И тогда ей померещилось, что это Гоша оборотился в распластанного на воде морского змея, что это он издал прощальный крик, что вот он нырнет в глубину

и скроется в ней надолго-надолго и будет жить там своей неземной, никому не ведомой жизнью, и теперь никакая сила его не расколдует, не превратит в прежнего домашнего, улыбчивого, чуть полнеющего Гошу...

«Дурочка, начиталась в детстве сказок!..»

Но сердце щемило все сильнее и сильнее. И когда лодка, пройдя боновые ворота, скрылась за уступом скалы, Наташа вдруг затряслась в рыдании, сухом и безвучном. В этом коротком отчаянном плаче она оплакивала все — и то, что скоро тоска будет омрачать по ночам ее сны, и то, что полным-полно на свете семей, куда мужья возвращаются каждый вечер и никто за ними не прибегает в воскресенье и не отзывает из отпуска, и что ей уже тридцать два и близится не то «медная», не то «бронзовая» свадьба, а они пожили вместе всего ничего, и за что ей такая доля, коль даже мать родная, не говоря о сестрах и подругах, не поймет, что такое месяцами ждать мужа с моря и как быстро эти месяцы складываются в годы холодного безмужества, «соломенного вдовства». У других мужья и за грибами ходят вместе с детьми и женами, и из магазина сумки таскают, и по дому мастERYт, а ей «выдают» ее суженого только на ночь, да и то измотанного... И когда ж это кончится? А когда кончится — тут и старость рядом... Сын без отца растет. Такой возраст сложный — четырнадцать лет, рука мужская ой как нужна; и не действует уже на него — «вот вернется папа!». Знает, папа вернется, и на радостях будет ему полная амнистия...

Скрипнула незапертая дверь. Вошла Ольга, соседка, жена Гошиного старпома. Она зябко куталась в наброшенную на плечи шубейку, не пряча глаза с подплывшей тушью.

— Ушли? — спросила она безразлично.

— Ушли, — вздохнула Наташа. Ольга оперлась на подоконник и уставилась в темное окно. Там мяукала по-кошачьи вьюга, что-то лопалось, шипело и гроыхало, точно встряхивали большие ковры. Это взрывались шквальные заряды. Продребезжав в стеклах, проыв в вентиляционных отдушинах, они стихали. А потом снова шипели белые вьюжные шутихи. А-ахали гневные порывы, стонало, кружило, выло...

— Ох и качает сейчас их в море! — поежилась Ольга. Наташа посмотрела на часы:

— Сейчас они еще в заливе. Минут через десять выйдут за маяки... Бр-р!..

— А у них, по-моему, козырек на мостике не приварен...

— И штурман у них рассеянный... Этот, как его, новенький?

— Весляров.

— Вот-вот, широту с долготой путает.

— Ничего, — заключила Ольга, — мой всю жизнь штурманил... Подстрахует.

Еще раз взвизгнула дверная пружина, и в прихожую ввалилась облепленная снегом жена механика — неунывающая толстушка-хохотушка Алка.

— Ну что, девочки, — крикнула она с порога, — проводим наших мужиков?

— Проводим, — оживилась слегка Ольга. — Только Ленке надо позвонить.

Ленка, жена минера, прибежала из соседнего подъезда в комнатных тапочках и с миской студня. Подсели к столу с неубранными после прощального завтрака яствами.

Наташа нажала клавишу портативного магнитофона, и пронзительный голос певца прокри-

чал то, о чем всем невольно думалось под гро-
мыхание пурги:

Как порох, сгорает короткое лето.
Как долго, как долго дымитесь зима...

При взгляде на магнитофон Ольга подумала, что новый замполит не удосужился записать на пленку их поздравления к Новому году. Поругав занятого зама, Алка вспомнила, что помощник флагманского механика собирается в моря и можно будет передать с ним кассету, надо только наговорить сейчас в микрофон. Идею дружно поддержали. Начали, как это было принято у мужей, по младшинству. Лена, самая молодая и впервые проводившая своего Виктора так надолго, шумно вздохнула в микрофон:

— Дорогой Витя!.. Вот ты и уехал. — Подбородок ее вдруг мелко задрожал, из глаз покапались слезы, и пленка бесстрастно записала судорожные всхлипы.

— Ну, ну! — обняла ее за плечи Наташа. — Очень весело ему там будет слушать, как ты белугой воешь! Перестань! Море и так соленое.

— Девочки, — пропищала Ленка сквозь прижатые к лицу ладони, — можно я в спальне запишусь?

— Можно. Только не реви.

Магнитофон перенесли в спальню, и Лена закрыла за собой дверь. Потом в спальню прошла непривычно серьезная Алка. Ее сменила Ольга, затем уединилась Наташа.

После исповеди в микрофон на душе у всех полегчало.

— Ну, мать-командирша, — распорядилась Алка, — тряхни стариной!

Наташа взяла гитару сына, оклеенную ярлычками джазовых ансамблей, и тихонько ущипнула струны:

Ми-лень-кий ты мой,
Во-зьми меня с собой.
Там в краю далеком
Назовешь ты меня женой...

Песня пронизывала кирпич, бетон и шлаковатную звукоизоляцию большого дома, так что во всех квартирах было слышно — провожают лодку.

Пели на свечу, чье пламя, словно маленькое огненное сердце, трепетало на черной закорючке фитиля. И когда под пластмассовым колпаком зажегся свет, люстру тут же выключили. Но яркое электричество уже перебило настроенье.

Наташа вспомнила, что забыла положить в Гошин чемоданчик бананы, специально захваченные из Москвы. Расстроилась. Выложила обе связки на стол. Бананы, твердые и зеленые, страшно вязли во рту. Алка предложила их отварить. Отварили, однако гадость получилась несусветная.

Собрали чай. Заговорили о том, о сем. О том, что в парикмахерской один на весь город фен, да и тот с холодным обдувом. О том, что в портопункт прислали баржу со свежей капустой. О том, что вторая жена Гошиного помощника того же поля ягода, что и первая, — «муж в море, жена в «Океан», — вот уже третий раз ее видели в ресторане. Правда, это она еще по молодости, не занялась каким-нибудь делом...

Наташа и сама не заметила, как все разошлись. Она сидела на подоконнике, возле свечи, и расчесывала волосы. В этих медленных взле-

тах гребня, наверное, таилась какая-то древняя магия, потому что метель непостижимым образом стала отзываться на тихий шум волос, струящихся сквозь зубья. Вдруг винтом взвилась белая пополь, взвихрились снежные плети, космы, ленты... И все огни гавани — якорные, створные, рейдовые — враз превратились из лучистых звездочек в тусклые светляки. Белые щупальца поземки обвивали балконные решетки, бетонные столбы с цепкостью разумного существа.

Под окном прошагал черный матросский строй, наполовину выбеленный метелью.

Стекла громыхали, будто в них с лету бились ночные птицы — одна за другой — целая стая.

Шквалы выдули снег до старого наста, и ветер шипел в изъязвленных сугробах. Он задувал в щели рам, и огненный язычок свечи, колеблясь, резал по стеарину замысловатые узоры. Наташа не сводила с них глаз.

Начиналось ожидание.

ПОЛЕТ «НА ПОЛНЫЙ РАДИУС»

Рассказ

Подполковнику Свиридову и его экипажу

Веками люди рвались в небо с помощью лестниц и башен, не догадываясь, что путь в поднебесье ведет с полей. С летных полей.

© «Молодая гвардия», 1983, Воениздат, 1984.

Перед въездом на северодарский аэродром висел голубой щит «Счастливого полета!». Чуть ниже чья-то осторожная рука дописала карандашом: «Сплюнь три раза!»

За Гринвичем облачная пелена поредела, рассеялась, и Атлантика открылась с видимостью «миллион на миллион». Всюду, куда позволяло выглянуть остекление кабины, взгляд утонул в голубом сиянии надпланетного воздуха. Океан отражал небо, а небо вбирало в себя синь океана.

Майор Анохин оторвался от штурвала и кивнул правому пилоту на старую парашютную сумку, из которой торчали батоны бортпайков. Капитан Филин нажал переговорную кнопку:

— Экипажу приготовиться к обеду!

Филин, правый пилот, все еще не мог привыкнуть, что все команды по самолетному переговорному устройству приходится передавать ему...

Лет пять назад Анохин от удара катапульты перекусил язык. Его списали вчистую. Немой командир корабля? Абсурд. Летчик, который не может ответить на запрос земли? Воздушный разведчик без языка? Офицер, который не может доложить, не может приказать? Абсурд, абсурд, абсурд...

Он пошел на прием к командующему авиацией флота. Генерал, дважды Герой, заслуженный летчик и рекордсмен мира по авиаспорту, рапорт читать не стал. Историю майора Анохина он знал в подробностях. В тот же день «Волга» командующего прикатила на северодарский аэродром, и генерал сел в самолет Анохина правым пилотом. После проверочного полета командующий вытащил из нарукавного кармана красный фломастер и начертил на ра-

порте майора: «Маресьев летал без ног. Язык тоже не самая главная часть летчика. Должности командира корабля — соответствует».

...Первым на филинское распоряжение отреагировал стрелок-радиист прапорщик Прокуратов. Внештатный начпрод экипажа, он живо соскользнул со своего тронного возвышения под блистером верхней полусферы. Растребушил парашютную сумку. Бутерброды с салом и сыром принес сначала командиру, потом, по старшинству, — правому летчику, затем, отдернув шторку внизу приборной стенки, просунул снесь в лаз штурманского отсека.

— Питайтесь, товарищ лейтенант!

Володя Кижич сморщил нос:

— С салом?! Фу...

— А шо, сало нельзя исты?

— Можно. Но не нужно. Меняю сало на сыр.

— А вы чулы, як один чумак менял шило на мыло?

— Чул. Плесни-ка мне из термоса.

Филин тоже не стал есть сало, хотя аппетитный чесночный дух щекотал ноздри. На стартовом завтраке в летной столовой угораздило взять паприкаш с олениной, и теперь мучительная изжога накатывала волна за волной. Он почти отвык от общепита — Ольга готовила прекрасные домашние обеды. Но вчера ее увезли в роддом. Сегодня утром успел проведать и на попутном «тазике» — «ТЗ» — топливозаправщике прямо на аэродром. Хорошенький маршрут: роддом — аэродром...

Анохин тронул его за плечо. Правый пилот скользнул взглядом по взгляду... На приборной доске тревожно мигал прибор, предупреждаю-

ший о приближении чужих истребителей. «Ага, пожаловали, родимые! — даже как бы обрадовался Филин. Полет, долгий, монотонный и до Гринвича серый — этакое нудное висенье в сером пространстве без горизонта, перспективы и границ, — наконец-то обещал зрелище. Капитан подтянул к горлу ларингофоны:

— Вниманию экипажа! Появились натовские истребители. Усилить осмотрительность!

Майор согласно кивнул. Именно это он и хотел сказать, мучительно напрягая губы.

Первым заметил «фантомы» хвостовой стрелок младший сержант Анохин, однофамилец командира. Самолеты догоняли их по следу инверсии, только чуть ниже. Потом они ушли вправо, и вскоре Филин увидел в боковую форточку, как в густой синеве возникли три темные точки. Точки быстро росли, крупнели, пока наконец не взблеснули на стратосферном солнце фонарями, ясно проступившими на узких хищных телах истребителей.

И Анохин, и Филин, и Прокуратов наблюдали эту картину всякий раз, как только прилетали в Атлантику. Лишь лейтенанту Кижичу, «перворазнику», перехват был в новинку, и он, бросив прокладочный столик, прильнул к стеклам носового обтекателя. Володя жадно разглядывал самолеты, знакомые лишь по учебным плакатам да снимкам в газетах. Остроклювые, с черными коршунами на оранжевых хвостах, истребители подходили все ближе и ближе, так что Кижич различил вскоре за стеклом правофланговой машины голову пилота в бежевом шаре высотного шлема. Шар повернулся, сверкнув белозубой улыбкой: пилот приподнял ладонь и помахал Володе. Должно быть, и он тоже хорошо просматривался в стеклянном конусе

носа. Летчик «фантома» выбросил на пальцах «семерку», затем потыкал в сторону континента и щелкнул себя по скуле.

— Во дает! — услышал Кижич в наушниках голос Прокуратова. — Каже, шо в воскресенье надо дома горилку пить, а не...

— Отставить посторонние разговоры! — Филин оборвал прапорщика несколько нервозно. Он и сам это почувствовал и, чтобы скрыть тревогу, стал докладывать командиру с нарочитым спокойствием:

— Дистанция полста метров... Идет на сближение... Дистанция сорок метров... Дистанция тридцать...

Анохин, едва появились «фантомы», выключил автопилот и взял управление на себя. Из подобных ситуаций он знал только один выход — вести тяжелый самолет «по ниточке», не рыская и без клевков...

— Дистанция двадцать метров... Десять метров... Ушел вниз. Заходит под крыло... Встал под внешней мотогондолой... Метрах в трех...

Филин чуть было не добавил — «паразит». Но сдержался. Ни к чему выказывать нервы.

Анохин, не отрывая взгляда от авиагоризонта, показал большим пальцем через плечо — в сторону стрелка-радиста. Капитан понял:

— Есть, передать по радио!

Майор кивнул.

— Штурман, координаты!

Володя отлип от стекла и переметнулся к пульту со штурманской цифирью.

— Дорофей Палыч, передай на базу! — вдавил «ларинги» под скулу Филин. — Координаты... Подвергся перехвату звеном «фантомов». Самолет — бортовой номер десять — ведет опас-

ное маневрирование... Встал под правую мотогондолу.

Капитан посмотрел на Анохина. Тот еще раз кивнул, утверждая текст радиোগраммы.

— Фулюган! — беззлобно добавил от себя Прокуратов и забарабанил ключом.

Володя Кижич снова прильнул к стеклам. От того, что открылось его глазам, слегка захватило дух: острокрылый «фантом» серебристой рыбкой завис под развесистой плоскостью тяжелого бомбардировщика. Он висел между моторных гондол, почти под нимбами винтов. Пилот белозубо улыбался. Он сложил ладони и положил под щеку. «Буду спать!» — дразнил он своим жестом.

— Гуд найт, май бэби! — хмыкнул Володя, и в ту же секунду холодное стекло пребольно ткнулось ему в лоб. Кижича швырнуло к левому борту — спиной на щиток управления аэрофотоаппаратурой. Сквозь гул турбин слышался треск, но треск этот заглушил горестный возглас Филина:

— ...твою мать! Доигрался, супостатина!..

Штурман успел заметить, как под стеклянным полом обтекателя промелькнул смятый оранжевый хвост, — «фантом» стремительно уходил вниз. Оба его сотоварища ринулись следом.

От сотрясения ли, от удара ли тела Кижича сам собой включился и заработал над прокладочным столиком вентилятор. Володя попытался его выключить, но не смог найти рычажок. Он ошупывал мягкую стеганую обивку кабины и нигде не находил выключатель. Он искал его так, словно от того, выключит ли он вентилятор, зависела судьба машины, жизнь экипажа.

Капитан Филин был единственным, кто видел, как вспучилась вдруг обшивка крыла, как

завились дюралевые лохмы и между мотогондолами вылез, ломая нервюры, оранжевый, бесформенный киль «фантома», он тут же исчез, и в огромной рваной дыре засияла синь океана.

Его тоже швырнуло влево, и пробойна на несколько секунд выскочила из обзора. Но едва он утвердился в кресле и заглянул в форточку, как неровная звезда пробойны притянула взгляд. Из полутораметровой раны в крыле торчали разноцветные обрывки патрубков, кабелей, тяг... Филину показалось, что крыло слегка надломилось, секунда-другая, и вся консоль с внешней мотогондолой оторвется. Резкий крен, и самолет сваливается в гибельный штопор... Всплеск океана... И все... Только бы Ольге не сообщали... Пусть родит... Потом...

Машина и в самом деле чуть накренилась, но не вправо, а влево. Анохин плавно и очень полого делал разворот в свою сторону, стремясь облегчить больное крыло. Он ложился на обратный курс.

Филин вышел из оцепенения от короткого требовательного звука в наушниках:

— М-м-м!

Анохин резко крутнул ладонью, выставив ее ребром вперед.

«Зафлюгеровать винт!» — перевел жест Филин. Он включил кран, но гидравлика флюгерования не сработала. Лопастей крайнего — четвертого — винта оставались в рабочем положении, вминаясь в воздушный поток. Филин почти физически ощутил, как он давит на кресты из лопастей, на переднюю кромку надломленного крыла, и болезненно сморщился.

Самое скверное — падали обороты третьего двигателя. Стрелка его тахометра попрыгивала,

медленно, но верно отклоняясь назад. Но и без прибора было видно, как в светлом нимбе вращающихся винтов мелькали темные стробоскопические полосы — сбивал «движок».

«Только бы не скисла турбина! — молил неведомо кого Филин. — Только бы не скисла...»

Анохин ткнул в штурку штурманской кабины указательным пальцем, а затем развел его с большим до отказа. Правый пилот нашел в себе силы удивиться тому, как точно облекает майор в жесты свои вопросы.

— Штурман, расстояние до запасного аэродрома?

Володя вздрогнул и оторвался наконец от бесплодных поисков злополучного выключателя. Пилотский запрос возвращал все в привычное русло: работа есть работа, что бы там ни случилось. Голубая «гармошка» полетной карты сползала с прокладочного столика.

— ...тысячи километров! — доложил Кижич и ужаснулся про себя этим тысячам небесных верст. И как это всегда бывало с ним в опасных и неприятных ситуациях, отчетливо услышал плачущие причитания матери: «Я ж тебе говорила?! Места на земле мало? Все люди как люди, один ты у меня — на блюде!.. Ну куда тебя понесло, неразумная головушка? Горькое мое луковое!»

Мать жила в деревне под Киржачом и на днях прислала письмо, где делилась бедой: кипятком из опрокинувшегося самовара обварила ногу, просила прислать китового жира для заживления ожога, на Севере достать его проще. Да не так-то просто: китобойная флотилия поставлена на прикол. Однако знакомые рыбаки обещали достать... Выходит, никто ей теперь не поможет. У Володи даже слезы навернулись.

Мало того, что ожог, а тут еще и похоронка придет. Но слезы быстро высохли. До смешного не к месту подумалось вдруг, что Филантроп, маркер из бильярдной Дома офицеров, теперь не получит свою пятерку. Кажется, этого жадного и хитрого старика зовут Филиппом. Но за вредность бильярдисты прозвали его Филантропом. На самом видном месте маркер вывесил угрожающий прейскурант: «За порванное сукно — штраф 15 руб. За сломанный кий — 6 руб. За расколотый шар — 5 руб.». Этот расколотый и нарочно плохо склеенный шар — «семерку» — он выставлял всем новичкам и «накалывал» их на «синенькую». Под кием Кижича «семерка» разлетелась с первого удара. Пятирублевки при себе не оказалось, и Володя, не зная еще об уловке Филантропа, обещал принести деньги после полета.

Обороты последней на правом крыле турбины неудержимо падали... Бомбардировщик все заметнее заносило вправо, и Анохину все сильнее приходилось отжимать левую педаль — широкую, как совковая лопата. Чтобы уменьшить нагрузку на крыло, он сбавил обороты до предела...

Теперь, когда напряжение чуть спало, майор бегло перебрал маневры свои и «фантома». Собственно, маневрировал лишь истребитель. Он, Анохин, шел не рыская по курсу и без провалов. Объективный контроль это покажет... Летчик «фантома», должно быть, из асов. Новичок бы не подошел... Вот тебе и на старуху проруха. Черти его принесли! Рука у него дрогнула или на воздушном ухабе подбросило — разберись поди.

Филин подумал, что хвостовой стрелок, однофамилец Анохина, изолированный от головной кабины, еще не знает о пробое.

— Командир, надо бы предупредить хвостового...

Анохин с минуту раздумывал, потом отрицательно покачал головой.

Филин снова выглянул в боковую форточку. Из пробойны выхлестывало горячее. Оно срывалось с крыла светлыми шариками...

«Вот теперь конец», — подумал капитан, и волосы под белым подшлемником стали мокрыми.

...Утром ничто не предвещало рокового исхода. Полет начинался так же, как и сотни предыдущих. Брезжила худосочная «холостая» — без солнца — арктическая заря. Из аэродромного автобуса выскакивали и разбредались по стоянкам пилоты с планшетами, штурманы с портфелями, все прочие — стрелки, радисты, операторы — с сумочками для шлемофонов и кислородных масок.

С густым, сочным ревом оторвался от бетонки самолет и ушел на разведку погоды. Остальные машины стояли с зачехленными кабинами и походили на ловчих соколов, которым до поры надели на головы колпачки. Их «девятку» уже готовили всю: расчехлили, вытащили заглушки, убрали из-под колес колодки; «технари» смекали голиками снег с плоскостей.

У входа на стоянку Филину всегда приходила одна и та же мысль: какая скучающая морда у самолета на земле; в небе она наверняка не такая.

В воздухозаборнике четвертой турбины трепыхался флажок невыдернутой заглушки.

— Кузьменков! — подозвал Филин наземного техника. — Это что?! На киле вздерну!

Прапорщик виновато шмыгнул и бросился вытаскивать злополучную заглушку.

Володя Кижич приставал к правому: просил поделиться секретом, чем перекрасить старую кожанку, и как лучше — щеткой или из пульверизатора...

Потом все дружно взялись за лопаты — раскидывать наметенные за ночь сугробы; поругивали тыл — разгребать на стоянке снег не летчицкое дело...

Морозило. Океан парил, и сильный боковик нес туман на взлетную полосу. Но для тяжелого четырехмоторного бомбардировщика, заправленного вперегруз для полета на «полный радиус», ветер этот был почти неощутим.

Анохин, чисто выбритый, как всегда, благоухал одеколоном «В полет». Для него бритье перед «большой работой», перед вылетом «за уголок» — за Скандинавию, — действие почти ритуальное.

Все сидели на местах и ждали подзадержавшегося на продскладе прапорщика Прокуратова. Дорофей Павлович с трудом бежал по стояночным плитам, волоча пухлую парашютную сумку. Бежать мешали меховые брюки и такая же толстая куртка. Поднятая цигейка торчала, словно боярский воротник...

Нет, добродушный румяный прапорщик не мог принести беду...

Потом пришел замполит в унтах с галошами, не знавшими грязи, и вручил второпях вымпел «Лучшему экипажу». Может быть, «зам» сглазил?

Филин добросовестно перебирал все утренние события, ища дурные предзнаменования. Это от-

влекало от мыслей о пробое и вытекающем топливе.

...Едва замполит прыгнул на бетонку, как Анохин нажал кнопку, и нижний люк с зарешеченным иллюминатором бесшумно втянулся в самолетное брюхо, отсек экипаж от всего земного прочно, глухо, герметично.

— Люк закрыт! — объявил Филин. — Аккумуляторы включены. Магнитофон включен!

Потом была легкая предвзлетная суeta: Володя Кижич искал свой мешочек с кислородной маской, Прокуратов вдруг вздумал переливать в термосы с чаем алычовый экстракт. Филин искоса следил, как прапорщик готовит «аэропойло». Бурая струйка лениво лилась в дымящиеся зевы термосов, будто некая техническая жидкость в заливные горловины... Филин не любил казенный чай. Ольга всегда снаряжала его литровым китайским термосом с клюквенным морсом. Но в этот раз термос, расписанный маками, остался дома.

Может, в этом загвоздка?

Чушь! Ерунда! Бабское суеверие!

Анохин турнул сердитым жестом начпрода, не вовремя затеявшего свою алхимию. Прокуратов заспешил, облил экстрактом спасательный жилет...

С командно-диспетчерского пункта дали добро на запуск двигателей.

Всякий, кто поднимается в воздух, нечаянно задумывается о смерти дважды: перед взлетом и посадкой.

О чем думал Филин в ту минуту, когда самолет еще прочно стоял на всех своих многоколесных тележках?

О том, что лобовые стекла кабины слегка

розоваты от впянных термоэлементов, точь-в-точь как окна Эрмитажа. Надо бы узнать, почему в Зимнем дворце розовато-сиреневые стекла. Состав такой, что ли?

И сразу же захотелось в Ленинград...

Грохот «плавилки», счищающей наледь с бетона, напомнил, что основная взлетно-посадочная полоса еще не расчищена, значит, взлетать придется с запасной. Она узкая.

В ушах, сдавленных наушниками, тихонько завжикала кровь. Вспомнился плакатик в медкабинете предполетного осмотра: «Частота пульса у летчика: Норма — 60. В кабине — 80. Мотор запущен — 110. Рулежка — 120. Взлет — 130. Бой, дозаправка в воздухе — 160». Кто-то из ветеранов уважительно говорил: «Мы воевали на ваших посадочных скоростях...»

Ага! Вот оно! Тогда, перед запуском, подумалось: «Вот он, последний взлет. Капитан Филлин поет лебединую песню!»

Ольга не хотела третьего ребенка: «Ты загремишь под фанфары, а я одна с тремя останусь?!» Он дал ей «слово русского офицера»: «Родишь мальчика — уйду с летной должности». — «Знаю тебя, обманщика! Ты и перед Милочкой так же говорил» — «Если б сына родила, ушел бы. Сын — дело серьезное. Сам буду воспитывать. На земле». — «А если опять дочь?» — «Бомбы три раза в одну воронку не падают. Сын будет». Все соседки, все врачихи, акушерки, санитарки твердят в один голос: сын будет. И веснушки-то на лице выступили, и живот «репкой», и еще черт-те что углядели. Значит, и в самом деле лебединая песня! Эх, не надо было так думать! Накликал.

— Экипажу приготовиться к запуску! — объявил правый пилот вместо Анохина. В наушни-

ках самолетного переговорного устройства потрескивало.

— Проверить, у кого замыкает кнопка СПУ! — добавил Филин.

Заработала вентиляция радиоаппаратуры, и в кабину потянуло запахи нагретой изоляции. Пальцы Анохина забегали от тумблера к тумблеру, от кнопки к кнопке — так бегают руки органиста по многорядью клавиатур. И самолет заревел, точно огромный орган, у которого включили все регистры, — от баса «тубы мирум» — трубы мира — до флейты-пикколо. Осанистый рокот на фоне свистящего шипа... Месса для четырех турбин с винтами.

Порулили на старт. Налитые горючим крылья тяжело подрагивали на стыках бетонных плит. Филин выглянул за бронеспинку: Прокуратов грыз под своим прозрачным колпаком сухарь с тмином. Значит, порядок. Все своим чередом. Взлет пройдет нормально.

Филин чихнул в рукавицу и пожаловался командиру:

— До третьего курса была еще закалка. А как стали в меха кутать...

Анохин нетерпеливо кивнул: читай контрольную карту!

Филин взял затертую картонку с вопросами и пономарским голосом завел предстартовую «молитву». При этом кивки командира он переводил в ответы, чтобы «черные шары» фиксировали все как надо.

— Тормоз?

— Снят.

— Автоматика?

— Отключена.

— Рули высоты?

— Согласно центровке.

— Двери и люки?
— Закрыты.
— Стопорение рулей?
— Расстопорено. Зеленая горит... «Легенда», я «девятый». Осмотрен по карте. К взлету готов.
— «Девятый», — откликнулся руководитель полетов. — Полоса сухая. Взлет разрешаю.
— Экипаж! — объявил Филин, и в голосе его невольно зазвучали торжественные нотки. — Взлетаем!

Звон турбин истончился до истошного «и-и-и». Едва машина сдвинулась с места, как оркестр, выстроившийся у стеклянной пирамидки КДП, грянул «Прощание славянки». На вентили труб были надеты чехлы, чтобы пальцы музыкантов не примерзали к клапанам. У развернутого знамени командир полка в меховом комбинезоне вскинул руку к каракулевой шапке, отдавая честь экипажу, идущему в Атлантику «на полный радиус». Самолет разбежался, взмывая за собой поземку и раскаты старого марша.

Сквозь надсадный рев моторов пробились на секунды печально-бравурные рулады валторн.

Еще долго самолетное крыло чертило по заснеженной пустыне. Еще долго плыла под ним студеная земля, повитая метелями, взморщенная гористыми складками, — неровная, неласковая, непростая... А потом разбежалась по горизонту и залила все от края и до края яркая синь моря.

...Филин завороженно следил, как с закрылков срываются комочки горячего. Пробоина захватывала краем баки третьей топливной группы. Короткое замыкание и... Надо срочно отключить противообледенение правого крыла.

Анохин медленно — осторожно — набирал высоту. В голубой дали едва заметно вспухали,

клубились кучевые облака. Командир плавно развернул корабль на север, обходя теплый фронт. Лучше сделать крюк, чем зарыться в эту вату, в которой турбины жрут топливо вдвойне, в которой трясет порой так, что крылья ходят, как у махолета, и в которой, наконец, вызревают молнии — шаровые, линейные, ветвистые, какие угодно...

«Летим точно на север,— отметил про себя Филин,— а значит, не возмущаем силовые линии магнитного поля Земли. И слава богу!»

— Штурман, подлетное время к запасному аэродрому?

— Четыре часа десять минут,— доложил Кижичи еще раз поразился, как невыносимо долго висеть им между небом и землей. До следующей поворотной точки битый час.

Капитан Филин не спускал с пробонны глаз. На большое крыло падала тень фюзеляжа, и крыло было чугунно-черным.

Анохин благополучно набрал высоту: на стеклах кабины расцвели морозные цветы. Но вести самолет по-прежнему было трудно: турбины левого крыла работали на полную мощность, и машину сносило в сторону неработающих двигателей. Восьмилопастные винты умолкших моторов вращались под действием набегающего потока, лобовое сопротивление их дисков ощутимо передавалось через левую педаль. Черные рога штурвала норовили уйти вправо, и майор с силой удерживал их.

Филин ждал, что командир вот-вот передаст ему управление, а сам слегка расслабится, переведет дух,— все-таки после столкновения с «фантомом» прошло больше часа. Но время тя-

нулось, а Анохин как вцепился в рукояти штурвала, так и не выпускал их из короткопалых рук. Сегодня за весь полет он еще ни разу не передавал Арсению управление; либо вел самолет сам, либо включал автопилот — будто вдруг разuverился в своем правом. Поговорка правых пилотов «Наше дело правое — не мешать левому, на педали жмем нейтрально, деньгу гребем нормально» утешала слабо.

Сначала Филин тихо обижался, точь-в-точь как дулся он на старшего брата, который возил семилетнего Арсюшу на раме взрослого велосипеда и не позволял ездить самому, хотя тот здорово крутил педали и из-под рамы.

Обида копилась, росла... Неужели он не понимает, как хочется поддержать напоследок штурвал, попрощаться с небом?

Арсений не покривил душой, когда обещал Ольге уйти с летной работы. Уходить так уходить... Недаром бывалые «пилотяги» учили: «Принял в воздухе решение и держись его до конца. Заметаешься — погибнешь»... И Филин принял решение, честно признавшись себе, что летная карьера не задалась. Ему за тридцать, а он все еще правый пилот. Не оставаться же, в самом деле, в «пятнадцатилетних капитанах». Он и так уже третий год «перехаживает». А тут как раз майорская вакансия на земле открывается — начальник тренажерного комплекса. Пару месяцев и «встал на рельсы» — на погонах два просвета и большая звезда. Золотистая, из «крылатого металла» — алюминия, с пупырышками на лучах... А та голубая — летная — звезда покатила к закату, едва достигла зенита.

Капитан Филин помнит дату апогея: 19 января 198... года.

...Проклятый вентилятор! Резиновая крыльчатка бессмысленно гнала в лицо и без того холодный воздух. Володя так и не смог найти выключатель — устройство кабины он знал еще слабовато, а спрашивать у пилотов такую ерунду было стыдно. Штурман называется, вентилятор выключить не может...

Володя выглянул в носовое остекление. Море внизу напоминало голубой ситец в белый горошек. Это пошли первые льдины Северного океана. На душе чуть-чуть повеселело — домом повеяло...

Филин тоже обрадовался приметам Арктики, хотя и понимал: до ближайшего запасного аэродрома еще лететь и лететь. Пробоина в крыле уже не притягивала взгляд, как прежде, и мысли все больше и больше занимало одно: когда же Анохин выдохнется и передаст управление? Пусть хоть на пять минут, только бы еще раз ощутить, как шевелится в ладонях небо... Ну что ему, жалко, что ли? Не налетался за день? Или не налетается еще, если дотянут до земли?

Майор, затянутый в кожу — куртка, шлемофон, перчатки, унты, — сосредоточенно парировал правый крен. Кожа летной одежды придавала его голове, торсу, рукам строгие, почти геометрические формы; скупые однообразные движения напоминали кинематику робота. Этаким кожаный автопилот сидел в чаше левого кресла, придаток приборной доски, биологический агрегат самолета...

Филин перебрал еще несколько не менее обидных определений и вывел для себя окончательно, что летать одному много проще и приятнее.

...В тот день старший лейтенант Филин на самолете вертикального старта поднялся с палубы противолодочного крейсера «Славутич». Взлетал с полного хода корабля. Покачивало. Пока самолет стоял, стойки шасси ходили вперевалку, точно машина сама переминалась с ноги на ногу.

Сколько помнил себя Филин корабельным летчиком, всегда было странно ощущать это покачивание в кабине не взлетевшего еще самолета.

По-зимнему непогодило. Нижняя кромка облачности едва не цеплялась за корабельную мачту.

Моросило. По фонарю стекал дождь. «Через пару минут,— подумал Филин,— капли сдует, дождь останется внизу и засияет солнце». Эта простенькая мысль перед стартом помнилась до сих пор. Наверное, потому, что Арсений ждал тогда не меньше, чем самого полета, солнца, истосковавшись за долгую полярную ночь по живому теплу и свету. Ведь даже когда «Славутич» вошел в «зону гарантированных восходов», просторное океанское небо, как назло, всю неделю было обложено серыми сырыми облаками.

Счет годам, прожитым в Заполярье, Филин вел не по новогодним праздникам, а по Дням Первого Солнца — дням, когда из-за скалистого хребта выкатывался на несколько минут долгожданный малиновый шар. С утра Ольга, как и все северные женщины, повинаясь смутным языческим зовам, пекла большие круглые блины — «краснославы». К часу, предсказанному до секунд флагманским штурманом, весь город собирался на главной площади — плоской сопке, обстроенной по скатам домами; жгли костры, уго-

щались у военоторговских лотков, лазали на шесты за клетками с петухами, хохотали, куролесили, и вмиг замирали, когда из-за гористой гряды всплывал алый полумесяц жизноточивого светила...

Как и все северяне, Арсений был истым солнцепоклонником. Девятнадцатого января в летной кают-компании подали на завтрак блинчики с мясом, и Филин, вытряхнув фарш на тарелку, развернул блины в золотистые ажурные круги. Кто-кто, а он-то увидит сегодня солнце, первое солнце года, и не с гарнизонной площади — встретит его в небе, в родной для них обеих стихии...

Подпирая голубоватые крылья столпами огня и рева, машина Филина зависла над чешучайтой палубой «Славутича». Арсений плавно перевел сопла подъемно-маршевых двигателей в походное положение и поплыл в воздухе к краю палубы, перевалил через откиннутые лера, а затем двинулся по-над морем, набирая скорость, высоту и подъемную силу воздушных струй.

Угловатая палуба огромного корабля уменьшилась до размеров спичечного коробка, и вскоре «утюжок» крейсера исчез в серой дымке. Филин пробил облачную пелену и сполна черпнул фонарем солнца, словно шеломом — «живую воду». Огнеструйный оранжевый шар закачался на правом крыле.

Это было самое настоящее опьянение солнцем, небесная эйфория, голубое ликование... Никогда в жизни Арсений не испытывал такого буйного прилива сил, такой уверенности в себе и машине. Закрылки и элероны чутко отзывались на любое движение мышц, двигатель работал ровно и приемисто.

Филин в ключья разнес пластиковые бочки, обозначавшие цели, и чувство собственного могущества здесь, в небе, окрепло еще больше. Оно не покинуло его и тогда, когда, заходя на посадочный курс, Арсений не увидел корабль. Он хорошо различал кильватерный след «Славутича», но дорожка взбитой крейсерскими винтами воды терялась в серой завесе снежного шквала. Такие заряды проходят быстро, он это знал, спокойно развернулся и зашел еще раз. Взглянув на топливомер, он предупредил себя, что горючего в обрез и если снежная заметь через минуту не рассеется, то после третьего захода топлива на посадочное зависание не останется.

Заряд через минуту не рассеялся, и Филин снова промчался над невидимым кораблем.

— «Сто пятый»! — голос РП — руководителя полетов — прорвался сквозь громы джаза, забившего волну. — Разрешаю катапультироваться. Выбрасывайся по курсу корабля. Как понял?

Филин все еще ощущал в себе радостное дерзкое всесилие, и потому предложение РП показалось нелепым, поспешным, наконец, просто кощунственным. Бросить, утопить прекрасную машину, которая так восхитительно продолжает его тело, несет его с послушностью мышц и нервов?

— Вас понял. Прошу добро на посадку по самолетному.

Он произнес это так, что там, внизу, поняли: старший лейтенант Филин машину посадит. И ему разрешили совершить это чудо. Никто в истории морской авиации еще не направлял реактивный самолет на палубу крейсера — не авианосца! — так, как будто перед ним простиралась аэродромная бетонка длиной в километры. Но Арсений был в ту минуту сыном Солнца,

которому можно все и который может все...

Потом ему показали видеозапись его фантастической посадки. Он смотрел на экран, верил и не верил, что это его самолет пробивает снежную бурю, что в стеклянном черепе иглоносой машины сидит он, Арсений Филин, и не просто сидит, а творит небывалое, не предусмотренное ни конструктором, ни всевышним,— ведет истребитель на куцую палубу, будто на просторнейший аэродром.

Сначала на экране возник расщеперенный, как майский жук, самолет. Арсений почти бездумно, рефлекторно выпустил воздухозаборник и тормозные щитки, чтобы хоть как-то сбить губительную скорость. Но все равно машина росла в размерах стремительно. И Филин невольно съехался перед телеэкраном, сгруппировался, как тогда в кабине... Вот он, кормовой срез. Пролет на высоте человеческого роста.

«Сто пятый, скорость! — надрывался эфир. — Придержи вертикальную!»

Поздно.

Он уже неся над палубой.

Резкий клевок.

Самолет ударился передним колесом о чешуйчатый настил — стойка шасси выдержала! — машина снова прынула в воздух, но удар уже пригасил скорость. Второй подскок также приостановил истребитель. Но его понесло на надстройку, к которой жался не спущенный в ангар самолет. Под стеклянным фонарем еще сидел не успевший выбраться из кабины летчик. Филин передернул педали и чудом отвернул в сторону. Задымились шины, мертво схваченные тормозами. Он замер в сорока сантиметрах от крыла соседней машины. Реактивный самолет, пробегающий по земле многие сотни метров, вмес-

тил свой посадочный бег в считанные десятки шагов.

И на корабль упала тишина...

Первым подбежал техник — веселый кудрявый парень, отважный оруженосец. Машина слегка дымилась, и двигатели после аварийной посадки могли полыхнуть, а Саня Панов, Санченко-Панченко, не раздумывая бросился к летчику, взлетел по стремянке, откинул фонарь.

— Молодец! — только и крикнул он Филину, помогая освободиться от ремней.

Пошатываясь, Арсений прошел кубрик, куда уже спустился с мостика вице-адмирал, наблюдавший посадку.

— Товарищ адмирал...

Флагман не стал его слушать — крепко обнял и расцеловал. Потом окружили свои, жали руки, хлопали по плечам, и кто-то уже требовал писать объяснительную записку...

— Погодите! Дайте пообедать! — отмахивался Филин. Но есть не стал, выпил только три стакана компота.

Спустя неделю неподалеку от «Славутича» на американском атомном авианосце «Нимиц» разбился при посадке самолет радиотехнической разведки. Он заходил на широкую палубу ясным днем при штилевом море, и по необъяснимой причине врезался в группу штурмовиков, стоявших в стороне. Были взрывы, пожар, исковерканные обломки и обугленные трупы. Филин разглядывал их на газетных снимках.

«Кисмет», — припомнилось тогда лермонтовское словцо. Удар судьбы.

Через месяц, в базе, на корабль прибыла отборочная комиссия из Центра подготовки космонавтов. Старший лейтенант Филин, летчик

1-го класса и кавалер ордена Красной Звезды, шел в кандидаты, как у них говорили, «первым корпусом». Арсений уже видел себя в космическом гермошлеме. Но тут грянул гром с ясного неба, с такого же ясного, какое простиралось и над «Нимицем» в роковой день. Врачи обнаружили у Филина пониженную нервную проводимость. Он был негоден не то что в космонавты — в корабельные летчики. Ему предложили дальнюю авиацию. Арсений согласился бы и на военно-транспортную, и на бомбардировочную. Все равно...

«Если Ольга родит сына,— подумал Филин,— никогда в жизни не подпущу его к самолету. Запас счастливых случайностей израсходовал за него отец...»

С какой-то минуты полета ему стало казаться, будто гул турбин вибрирует на мотив: «Не скажет ни камень, ни крест, где легли...»

Морская синь под крыльями исчезла. Всюду, насколько хватало взгляда, белели ледяные поля. Трещины, которые черными зигзагами делили эти просторы утром, на пути в Атлантику, к вечеру сомкнулись и срослись.

Они уже так давно были в воздухе, что самолет, казалось, превратился в некий летучий остров, и на землю теперь можно спуститься лишь с помощью модульного аппарата. Оранжево-пушистый шар солнца ушел под хвостовое оперение. Они улетали от него навстречу плывущей с востока тмени. Но прежде надвинулись кучевые облака, величественные и самодовлеющие, словно айсберги. Они клубились туго и плотно и походили на белые аэростаты, касание которых грозило гибелью.

Анохин взял штурвал на себя и набрал еще метров триста.

...Род пилота шел от Атласа — исполина, взвалившего на плечи небосвод античного мира. Кровь Атласа текла в жилах Икара. Дерзкий юноша перед полетом к солнцу полюбил такую же пленную, как и он, девушку-скифянку, и она увезла с Крита в Таврию черноглазого мальчика. От этого мальчика пошло племя соколиных охотников и голубиных почтарей. Тут уж сам бог не в силах проследить извивы и устья тех русел, по которым кровь Икара поднялась на север, добежала до Великой Александровой слободы и взыграла в жилах холопа Никитки. На деревянных крыльях слетел дерзкий смерд с колокольни Распятской церкви, уцелел, но был изрублен по приказу грозного царя, наблюдавшего полет, дабы другим неповадно было. Однако же не смогли царевы бердыши пресечь токи икарийской «руды». И расточилась она, полетная страсть, по городам и весям, по слободам и посадкам на многие лета, на вечные века...

И проникла она в Рязань, где подъячий Крякутный наполнил дымом шелковый мех и прыгнул в небо выше креста на маковке.

И пошел от подъячего корень рязанских летунов.

Обе ветви анохинского рода — мужская и женская — сполна вобрали в себя эту птичью тягу ввысь. Дед по матери летал на гидроплане с авиаматки «Орлица»; дед по отцу поднимал в воздух тяжелые «Ильи Муромцы».

Отец майора Анохина летом сорок первого, израсходовав в бою патроны, посадил свой истребитель на аэродроме, не зная, что его только что оставили советские войска. Навстречу самолету бежала девушка-санитарка. За ней гнались немецкие солдаты. Летчик подрулил к девушке,

помог ей втиснуться в одноместную кабину и на остатках горючего взмыл в воздух. Ему удалось приземлить машину на опушке полесской пуши. Потом целый месяц они вдвоем пробирались на восток. Девушка стала женой летчика и матерью нового пилота.

Сам майор Анохин овдовел рано — еще в лейтенантах. Жена его, лаборантка кафедры аэродинамики того училища, которое он кончал, погибла в авиакатастрофе близ Черноморского побережья. Трехлетний сын жил до пятого класса у бабушки, потом при отце — в гарнизонной школе-интернате, а последние два года провел в суворовском училище. Прошлой осенью парня призывали в армию. То, что он попал в авиацию, было игрой случая — слепого, но справедливого...

Как ни обходил майор теплый фронт, а все же самолет затрясло — так швыряет и подбрасывает машину, съехавшую с асфальта на булыжник. Размашистые крылья упруго закачались, точно у птицы, набирающей высоту. Филин явственно ощутил, как напряглись правые лонжероны — эти скелетные «кости» крыла, надломленные килем «фантома». Приутихший на время страх холодным огнем лизнул взмокшую спину...

Облака теряли свою белизну, синели, тяжелели, оплывали, превращаясь в грозовые тучи.

Самолет вторгся в запретную обитель молний.

Между синими клубами туч то тут, то там загорались и нехотя гасли огненные перемычки. Казалось, один ватный гигант пронзал сверкающей пикой другого. Здесь, высоко над землей, юные грозы учились метать молнии... Зрелище было величественное и жуткое.

Филин гнал от себя мысль, что одна из этих огненных пик могла вонзиться в крыло, облитое горючим...

Синие бугристые шары порой озарялись изнутри алым вспыхивающим светом, будто беззвучно рвались бризантные снаряды.

Самолет плыл по зримому электрическому полю, полагаясь на милость стихий, рискуя в любую секунду напороться на рожок молнии...

Все облегченно вздохнули, когда плато грозовых туч оборвалось неровным краем и бомбардировщик распростерся над сине-мглистым омутом поднимающейся снизу ночи. Очень скоро там, на земле, заискрились огни городов, замерцало доброе одомашненное электричество, расфасованное на ватты и вольты.

Анохин показал Филину кольцо из пальцев — несколько раз сузил и расширил его.

Арсений оглянулся на крыло.

— Пробоина не увеличилась, — ответил на немой вопрос. — Какой была, такой и осталась.

И тогда Анохин впервые за весь полет улыбнулся. И показал ладонью: «Долетим!»

От этого уверенного жеста Филину сразу стало спокойней. Вдруг вспомнилось, как командир полка сказал об Анохине на совещании офицеров: «Летает на всем, что поднимается в воздух».

Филин мог поклясться, что он уже видел сегодня и эту улыбку — широкую, белозубую, и этот жест ладонью... Он еще раз скосил взгляд влево. Эта прядь, выбившаяся из-под шлемофона...

Утром на стоянке хвостовой стрелок, широко улыбаясь, уверенно покачивал ладонью: «Не надо, товарищ прапорщик! — в ответ на шуточное предложение Прокуратова «махнуться часа-

ми, не глядя». И та же прядь, прижатая шлефоном.

Так не однофамилец майору сержант Анохин! Сын!

Ночь надвигалась с востока, и они влетели в нее почти сразу, без сумерек и вечера. Темнота съела крылья. Красная подсветка приборов наполняла кабину багровым полумраком. Только за плотно задернутой шторкой горела над штурманским столиком нормальная опаловая лампочка. Володя давно уже проложил кратчайший курс на запасной аэродром и теперь с ненавистью поглядывал на работающий «ушастик»: воздушная струя холодила пальцы, лицо; замерз кончик носа.

Резиновые лопасти мельтешили настырно. Нелепое и неостановимое их вращение то и дело напоминало о беде, которая стряслась с самолетом. Кижич тщетно шарил взглядом по стеганой обшивке кабины — зеленой, мягкой, складчатой, словно чрево кита. Выключателя как не бывало! И тогда он прижал вентилятор ладонью, оборвал одну лопасть, другую, третью... Облысевший ротор вращался сам по себе, ветерок иссяк, и Володя испытал такое облегчение, будто укротил бурю. От этой мысли стало смешно, и он зашелся тряским смехом, беззвучным в гуле турбин. Утерев слезы. Кижич спрятал лопасти в карман, на память, и выглянул в обтекатель. Они шли в облаках, и огни на консолях светились призрачно, словно фонари в метель...

«Этого нам только не хватало!» — подумал Филин, глядя, как по плоскости крыла, по ко-

жухам мотогондол и обшивке фюзеляжа заплясало пушистое голубое пламя. Наставления по полетам в высоких широтах утверждали, что «огни Эльма» — дикое атмосферное электричество — совершенно безвредны и для людей, и для машин, если не считать помех в радиосвязи. Но зрелище было слишком зловещим, чтобы наблюдать его бесстрастно. К тому же никто не мог поручиться как поведут себя поврежденные топливопроводы в этом холодном пламени. Голубое свечение затмевало ало-зеленые блики бортовых огней, оно струилось, трепетало, косматилось, рождая в памяти картины пожаров.

«А красиво! — невольно восхитился Филин. — Если долетим, будет что вспомнить».

И долететь захотелось с новой силой.

— Радист! — запросил он Прокуратова. — Как связь с «Шорником»?

— Работаю с «Шорником», товарищ капитан! — отозвался прапорщик. Через несколько минут он доложил: запасной аэродром не принимает — буран, боковой ветер с порывами до сорока метров в секунду, видимость нулевая...

Анохин рубанул воздух ладонью. Филин ошибочно перевел его жест в команду:

— Штурман, пойдем к себе! Курс на Северодар?

Володя назвал.

Силуэт самолетика на шкале гироскопа уткнулся носом в нужную цифру — майор закончил доворот.

Филин не смог не заметить: маневр этот дался Анохину с трудом. Несколько раз, когда командир ослаблял давление на педаль, Арсений чувствовал, с какой силой надо было удерживать...

живать самолет на курсе. Он поразился выносливости и упорству своего «левого»: столько часов парировать разворачивающийся момент! Все равно что полдня отжимать ногой двухпудовую гирю...

После догадки насчет анохинского отцовства неприязнь к командиру улеглась сама собой, как приутихли и пилотские амбиции. Окажись он сам в его шкуре, решил про себя Филин, он бы тоже никому не передоверил штурвал и педали. На минуту представил, что в хвостовом отсеке сидит сейчас Ольга с Леночкой и Милой и, может быть, с уже родившимся сыном. От этой мысли его слегка передернуло. Какое счастье, что они там, внизу, на прочной и безопасной земле!

Анохин медленно уводил самолет с высоты. Голубое свечение прекратилось, и теперь в лунном свете хорошо было видно, как далеко простираются гряды облачных холмов. Сначала они сливались в сплошную рыхловатую гладь с витиеватыми бороздками. Но, по мере снижения машины, из зеленоватой подлунной равнины стали вспухать бугры, курганы, сопки, вспучиваться клубы и гроздя из плотного тумана. Они приближались, росли, превращались то в винтовые кручи, то в пухлые, рваные башни, в застывшие смерчи...

Стрелки высотомера перебирались от риска к риску, точно часы, пущенные на обратный ход. Они и в самом деле были теперь часами, цена деления которых равнялась жизни.

Самолет снижался. Он погрузился в самый верхний ярус облаков, и сквозь их пока еще дымчатую пелену луна вдруг вспыхнула радужными кольцами... Потом стекла кабины надолго почернели. И когда хмарь разредилась, а тьма

чуть рассеялась, Володя увидел в нижнем овале стеклянного колпака совсем уже близкую сутолочь валунов и скал. И тут же некто непрошенный ледяным голосом подсказал, что полет над горной тундрой опаснее, чем над океаном. На море можно приводниться, а здесь единственный островок безопасности — аэродром.

Но они уже взяли дальние приводные станции, и вскоре Анохин вывел самолет на посадочную глиссаду. И командир, и правый пилот, и штурман — все они почти одновременно различили в разлившейся по тундре темени оранжевый прочерк взлетной полосы. Они бы узнали ее огненный рисунок из мириад иных земных и небесных огней. Горящий в ночи пунктир раздвоился на параллельные цепочки, цепочки замкнулись в прямоугольник, прямоугольник вытянулся, обрел перспективу, как вдруг резко ушел влево, и лобовые стекла застлала черная слепота. Филин не успел понять, в чем дело — левая педаль вдавилась в ступню с неожиданной силой. Он отжал ее рефлекторно, парировал штурвалом правый крен и только потом глянул на командира. Скривившись от боли, Анохин колотил левую ногу, пытаясь оживить ее, как видно сведенную судорогой. Эх, перенапрягся командир!.. Но сочувствовать и раздумывать было некогда. Посадочные огни снова прострочили лобовые стекла; на сей раз они вели себя очень зыбко — качались, дергались и все время норовили уплыть влево — под крыло с работающими двигателями. Филин никак не мог удержать машину на прямой — надо было хоть немного привыкнуть к скособоченной тяге «движков». Но на это не оставалось уже ни секунды.

Арсений с ужасом понял, что самая трудная часть полета пришлась на него, сажать машину придется именно ему... И это, пожалуй, не легче, чем пробег по палубе «Славутича». Но там было вдохновение, помноженное на солнечную отвагу, на молодую дерзость... Там было наитие, заменившее все расчеты и рефлексy. Сейчас же ничего, кроме страха, близкого к отчаянию, Арсений не испытывал. «Не смогу!» — хотел он крикнуть майору, но тут почувствовал, как Анохин снова впрягся в штурвал. Это было хуже всего. Это было опасно. Управлять машиной должен был кто-то один. Нельзя одному — педали, другому — штурвал, одному — горизонт, другому — вертикаль... «Гробанемся!» — обожгло Филина, и он почти заорал:

— Сам!!

Анохин, умница, спорить не стал. Отдал управление. С этой секунды все ушло прочь, и мысли Арсения, сделались четкими и чужими, как будто он считывал их с экрана.

Самолет встряхнуло, и ветер глухо заревел в выпущенных шасси. Колесные стойки вспарывали плотный приаэродромный воздух.

«Шасси выпущено — это главное... Великовата скорость... Это погасим... Много высоты...»

Он швырнул машину к самой бетонке, которая неслась серой струей. Швырнул слишком резко, это могло плохо кончиться. Но не было времени даже ругнуть себя за просчет. Самолет заносило вправо, так что правая мотогондола летела не над плитами — над обочиной, снежным отвалом.

«Ну же!» — зашелся Филин в последнем усилии.

Сам ли он переборол машину, или вмешался

Анохин, или счастливо подмог боковой ветер, Арсений не разобрал, ощутил только с боязливой радостью, что путь машины впишется в полосу.

Тряхнуло. Подбросило. Понесло по бетону. Покатило...

«Тормози!»

«Кажется, замедляемся...» Никогда еще колесный бег не казался Филину таким упоительным...

Под крылом вспыхнула фара, и ее дрожащий, изрубленный винтами луч побежал по серым плитам и замер у самого обреза концевой полосы безопасности...

До стоянки их самолет сопровождал кортеж из пожарной машины, санитарного «рафика», «газика» командира полка и «Волги» командующего авиацией флота.

Открыли нижний люк, выбрались в блаженный холод февральской ночи, захрустели унтами по снежку, выстроились под крылом. Докладывать и отвечать на вопросы пришлось Филину.

Потом генерал и штабные осматривали крыло, цокали языками, качали головами, хвалили авиационную промышленность, конструктора и весь экипаж, уточняли сроки ремонта.

Командир полка спохватился, хлопнул Филина по заснеженному плечу:

— Поздравляю, отец! Дочка! — И, обернувшись к генералу, пояснил: — третья дочка, товарищ командующий! Ждали пилота, а приняли стюардессу.

Генерал прогудел в ответ что-то веселое и ободряющее. Но Арсений его не слушал. Он улыбался тайным мыслям: «Договор был на счет сына...»

Дежурный тягач, рыча мотором, осторожно катил бомбардировщик в ангар ремонтных мастерских. Луна плыла над сопками маленькая — с копеечку.

«РУССИШЕР БЭР»¹

Рассказ

Рядовой Иванцов спал на нижней койке в углу казарменного двухъяруса, и это пустяковое, в общем-то, обстоятельство спасло ему жизнь. Когда немецкая авиабомба обрушила потолок, большой пласт придавил верхнюю койку так, что прогнулась железная рама. Но дальше пласт не пошел, потому что и рама, и кус потолка уперлись в глухой угол доброй старой кладки.

Обо всем этом Иванцов мог только догадываться, да и догадался не сразу, ибо в первые минуты страшного пробуждения задохнулся от известковой пыли, дыма, кирпичной пудры и еще какой-то дряни, которая враз заполнила тесный уголок завала. Ухали взрывы — и далеко, и рядом, — кричали раненые и придавленные, разгоралась торопливая пальба — все это доносилось к Иванцову сквозь плотную грудку обломков и битого кирпича.

— Братцы! — попробовал было подать голос, но едкое удушье перехватило горло.

Смочив слюной клоч майки, как учили на химической подготовке, солдат стал дышать че-

¹ «Руссишер бэр» — «Русский медведь» (нем.)

рез влажную ткань, и легким, забитым колючей пылью, сразу стало свободней. Потом, когда взвесь поосела, откашлявшись и отплевавшись, Иванцов, полулежа в тесном закутке, обшарил все углы завала. Нечего было и думать, чтобы приподнять пласт плечом. Тонна, а то и больше, давила на раму. Единственное, что сулило надежду на спасение, так это узкий просвет между рухнувшей глыбой и капитальной стеной. Иванцов выломал из коечной спинки железный прут — силенка в руках водилась — винтовочные гильзы плющил в пальцах, как папироски. Прутом стал долбить щель, расковыривая потолочный пласт. Щель расширялась медленно — казарма была сложена в прошлом веке, и сложена на совесть из местной «цегли» — добротного крепостного кирпича. За целый день почти непрерывной работы Иванцову удалось пробить отверстие, куда пролезла всего лишь рука. Но зато в дыру проходил воздух и даже брезжил дневной свет. В одну из коротких передышек Иванцов заметил краешек гимнастерки, присыпанной мусором, вытащил ее всю, а заодно и шаровары, уложенные передном на табурете. Ремень, пилотка и сапоги были похоронены под плотным слоем кирпичного щебня.

Скорчившись, как это делают пассажиры на верхних полках, Иванцов натянул шаровары, а потом и гимнастерку. Ночь выдалась прохладная. Сырая темень завала озарялась то неверным светом ракет, то бликами огня, пожиравшего еще что-то в развалинах казармы. Ни голосов, ни стонов слышно не было. В отдушину, пробитую прутom, доносились лишь короткие автоматные потрески да тяжелая стукотня пулемета. Где-то в глубине крепости шел бой. Именно бой, теперь, к исходу вторых суток, в этом

не было никакого сомнения, как и в том, что крышу казармы обрушила не диверсия, не провокация, а война. Та самая война, о которой пели в песнях, говорили на политзанятиях и толковали в курилке...

Иванцов был уверен, что наши, преследуя немцев, слишком далеко ушли за пограничную реку, а потому разбирать завал некому да и некогда; в крепости же добивают остатки германских частей. Но на второе утро своего заточения, услышав каркающие нерусские голоса, понял с упавшим сердцем, что все обстоит иначе. Голоса, бряцанье металла, тарахтенье мотоциклетки постепенно затихали, удаляясь в сторону Восточных ворот, через которые убегала на Минск, Смоленск и на Москву буковая аллея Варшавского шоссе.

К полудню в щель уже можно было просунуть голову. А чуть позже, обдирая грудь о кирпичные сколы, выдохнув весь воздух, поджавшись и подобравшись, Иванцов вылез из-под плиты. Он ослеп от июньского солнца и голубого неба. И радость освобождения не смогли убить ни руины казармы, ни вывернутые с корнем тополя, ни дымы, вспухавшие над фортами, где по-прежнему еще постреливали. Иванцов ринулся именно туда — на выстрелы, надеясь разобраться на месте, где свои, а где немцы. Кирпичный щебень больно колот босые ступни. От этого приходилось поднимать ноги высоко, точь-в-точь как пробираются к речной воде городские кулачки.

Не сделав и пяти шагов, Иванцов наткнулся на убитого бойца. Лежал он скорченный, вроде большого кузнечика, вжимаясь в землю всем телом, словно силился побыстрее войти в нее, раствориться в ней, исчезнуть с глаз живых...

До сих пор Иванцов наблюдал покойников лишь в гробах, опрятно уложенных, в цветах и непременно пожилых, и потому опешил при виде такого же, как он сам, парня, но почему-то — неживого... Стоял он и не знал, то ли бежать прочь, то ли сложить парню, как положено, руки на груди... Кто скажет, ведь, может, именно с ним сидели вчера в одной столовой, палили на одном стрельбище, толкались в одной бане.

Боец тоже был бос, но при ремне. Расстегнутый подсумок, туго, как колос зерном, набит был патронами. Иванцов искал глазами винтовку, не нашел — и решил на первый случай разжиться боеприпасом: присел, стараясь не смотреть в лицо убитому, стал выковыривать из подсумка обоймы.

— Hende hoh!¹

Иванцов едва не ткнулся убитому в живот, обернулся: два солдата — во всем чужом — тыкали в спину стволами коротких автоматов. Все, все в них было убийственно чужим — от осанистых плосковерхих касок до разлапистых сапог, от серых пуговиц до настороженных охотничьих глаз.

— Steh auf!²

Тот, что был повыше, пояснил приказ рывком ствола вверх. Иванцов медленно поднялся. Но высокий по-прежнему встряхивал автоматом:

— Aufstehen!³

Иванцов не понимал. Он стоял и плюшил в пальцах патроны — гильзу за гильзой — все пять штук. Может быть, немцу не нравится, что

¹ Руки вверх! (нем.)

² Поднимайся! (нем.)

³ Встать! (нем.)

в руках у него патроны? Иванцов отшвырнул изуродованную обойму. Высокий солдат подобрал ее, рассмотрел, покачал головой:

— Das ist allerhand!¹ — передал он обойму напарнику. Тот ощупал смятые гильзы, хмыкнул, ткнул автоматом в сторону шоссе:

— Vorwärts, hustig!²

У бетонных ворот, врезанных в крепостной вал, нетерпеливо рычала полудюжина зеленых армейских мотоциклов. Из коляски головной машины — с пулеметом и антенной — выскочил офицер и напустился на иванцовских конвоиров. Он несколько раз похлопывал себя по часам, и Иванцов догадался, что солдаты опоздали, мало того — привели пленного, с которым некогда, да и некому, возиться. Тогда высокий, весь в значках и нашивках, протянул офицеру измятую обойму и коротко сказал что-то в оправдание. Если бы Иванцов знал немецкий язык, он понял бы, что солдату жаль было уничтожать такую прекрасную человеческую машину — (слово «maschine» Иванцов все же разобрал), мышечная мощь этого русского вполне могла бы быть использована на благо Германии. Офицер с любопытством осмотрел сплющенные патроны, затем пощупал взглядом иванцовские пальцы, руки, плечи, усмехнулся, и пленник прочел в усмешке свой приговор: убивать не будут.

Офицер кивнул в сторону ворот, сказал что-то своему водителю, два мотоциклиста бросились к поваленному шлагбауму и сорвали с него кусок цепи. Все остальные тоже оживились, весело загалдели. Иванцова подогнали к воро-

¹ Это здорово! (нем.)

² Вперед, живо! (нем.)

там, и там водитель офицерской машины, коренастый веснушчатый парень, присел с цепью возле босых ног русского солдата. Он развернул брезентовую сумку с ключами, обхватил цепью правую щиколотку Иванцова и со слесарной сноровкой свинтил звенья толстым болтом, после чего маленьким зубильцем аккуратно сбил резьбу. Когда это было сделано, и сделано на совесть, немец точно так же прикрепил свободный конец цепи к железному рыму, вмурованному в портал тоннельных ворот. И офицер, и высокий конвоир, и сам водитель — все по очереди подергали цепь, убедились: держит крепко. Иванцов тоже рванул пару раз и понял, что дело его безнадежное. Тут офицера осенила новая мысль, он подобрал обломок кирпича, вскочил одной ногой на седло, другой — на нос «коляски» и начертал на бетонном фронте: «Achtung! Der russischer bärl¹» По взрыву хохота Иванцов понял, что в словах этих кроется обидный для него смысл, помрачнел еще более, сел на земляной скос и поджал закованную ногу.

— Aufgesessen!² — скомандовал офицер.

Мотоциклисты повскакивали в черные резиновые седла, взревели моторы, и кавалькада исчезла в тоннеле ворот.

Оставшись один, Иванцов перебрал цепь по звеньям, попробовал каждое на разрыв, попытался отвинтить гайку, но лишь в кровь содрал пальцы.

День был в разгаре. Палило июньское солнце, и от нещадного зноя съежились все тени. Хотелось пить. Иванцов выдерживал колоски

¹ Внимание! Русский медведь! (нем.)

² По машинам! (нем.)

timoфеевки, разжевывал сочные кончики, но это лишь разжигало жажду.

Черный дым валил в небо ступенчатыми клубами — такими густыми и плотными, что казалось: по ним можно было взойти к облакам, как по лестнице.

Укрыться в тени тоннеля тоже не удалось: едва он перебрался под бетонный свод, как на шоссе показалась танковая колонна. Пришлось быстро вернуться на прежнее место.

Лязг гусениц, перемешанный с ревом дизелей, нарастал с каждой минутой. Танки, прямолобые, с коробчатыми подрубленными по углам башнями, катили прямо на Иванцова. Их пушки, похожие на большие подзорные трубы, то наводились ему в грудь, то рыскали по сторонам. Над перегретой броней дрожало марево, синевато-бурое от выхлопных газов. Танки шли плотно облепленные канистрами, фашинами, запасными траками, ненужными внутри касками, свертками чехлов, инструментальными ящиками — так что кресты, составленные из белых уголков, почти не проглядывались. Бортовые дверцы в башнях и верхние люки были распахнуты, и из проемов торчали головы танкистов в черных орленых беретах. Иные вылезли наверх совсем. Растелешенные, восседали они на канистрах и ящичках, потягивая из фляжек в мокрых для прохлады чехлах не то кофе, не то кое-что покрепче, а может, просто вкусную колодезную воду. Иные ловкачи сидели под сенью срубленных и натканых в жалюзи березок, прикрывавших их скорее от солнца, чем от краснорозетных самолетов.

Завидев надпись и прикованного к воротам бойца, танкисты оживились, замахали руками, засмеялись. Кто-то дурашливо отдал честь рас-

топыренными пальцами, кто-то приподнял фляжечный стаканчик:

— Zum russischer bär wohl!¹

Иванцов, обхватив колени, угрюмо сидел на земляном откосе. Перед глазами стальным ручьем, извиваясь, струясь и подпрыгивая, бежали гусеничные ленты. Их отшлифованные траки вспыхивали колючим солнцем; с грохотом и привизгом вращались спаренные катки, запорошенные землей и пылью. Ревели моторы, сжигая в цилиндрах воздух Полесья, и смрадный дизельный чад растекался по шоссе. Перегретая кровь стучала в висках тупо и глухо. Иванцов окаменел. Он давно уже перестал верить в явь происходящего — еще с позапрошлой ночи, когда очнулся под обломками казармы. Теперь же и во все впал в оцепенение, не сводя глаз с белого камешка на асфальте. Но камешек вскоре вылетел из-под колеса тяжелого трехосного грузовика с сифилитично скошенным носом. В кузове простоволосые солдаты, обхватив друг друга за плечи, качались в такт лихой дорожной песни. На капоте грузовика было разостлано красное полотнище со свастикой в белом круге. Как видно, немцы боялись только одного — ошибки собственных летчиков.

Колонны шли одна за другой с редкими перерывами. Ползли приземистые бронетранспортеры с шучьими мордами и гробовидными капотами; надрывались мощные автофургоны с серебристыми молниями на радиаторах; габаритные штыри на их пятнистых крыльях сердито топорщились и дрожали от моторного гуда. Громыхали полумашины-полутанки с гусеницами вместо задних колес. За ними подпрыгивали

¹ За здоровье русского медведя! (нем.)

пушки и колесные телсжки, груженные бочками с бензином. Проносились стаи трескучих мотоциклеток, а потом, сотрясая глыбу бетонного тоннеля, снова напоззали танки. Все это двигалось по Варшавскому шоссе через Восточные ворота в сторону Минска, в сторону Смоленска, Вязьмы, Можайска... И страшно было подумать — Москвы. Сколько так продолжалось — день, два, три — Иванцов не помнил. Только один раз за все это время сердце его радостно дрогнуло. В пролете ворот он увидел, как с той, с нашей, восточной стороны несется навстречу очередной колонне родная «тридцатьчетверка» с рдеющим над башней флагом. Иванцов вскочил и заплесал на цепи.

— На-аши! — хрипло заорал он, и это было первое слово, которое он произнес с начала войны.

На повороте «тридцатьчетверка» показала борт, и в глаза Иванцову ударил большой белый крест, намалеванный во всю башню. По красному же полотнищу, натянутому на воздетую крышку люка, черной червоточиной змеилась свастика. «Тридцатьчетверка» была такой же пленной, как и он сам: немецкие танкисты перегоняли ее в тыл, обезопасив себя от случайных выстрелов множеством крестов и свастик, нанесенных со всех сторон. Когда до Иванцова дошел наконец жестокий смысл ошибки, он ткнулся в пыльную траву и разрыдался без слез, зло и отчаянно.

Мимо по-прежнему катили грузовые «хеншели» и «блицы», «шнауцеры» и «хорьхи», проскакивали юркие амфибии с притороченными к бортам веслами и ползли штурмовые орудия на гусеничном ходу. Сотрясали землю танки с белыми кольцами на стволах — по счету по-

бед — и мощные артиллерийские тягачи «фамо», двигались понтоны на австрийских «штейрах» и полевые хлебопекарни на реквизированных «татрах», санитарные «остины», захваченные у англичан под Дюнкерком, и трофейные французские броневики, катили жутковатые гибриды мотоциклов с минометами, автомашин с пушками, вездеходов с зенитками. Порой низко-низко проносились над шоссе белокрестные самолеты; под крыльями у них торчали колесные ноги с ястребиными шпорами, а в стеклянных клетках кабин видны были головы летчиков. И вся эта машинная орда днем и ночью безостановочно катила, ползла, летела туда, где Варшавское шоссе переходило в Минское, а затем в Можайское, что, пронзив Москву, убегало Владимирским трактом в родной город Муром. Иванцов давно бы сошел с ума и от этой мысли, и от непрерывного мелькания колес, и от лютого зноя, если бы в надрывный моторный рев не вплеталась бы многоствольная пальба боя, то затихавшая, то разгоравшаяся за зелеными купами пограничной реки. Там, в старых фортах и недостроенных дотах, уже которые сутки на огонь отвечали огнем. И стальная лавина трусливо, казалось, обтекала стороной опасное место...

...А утром было ему видение. Едва последняя колонна скрылась в тоннеле, а новая еще не выползла, как из придорожных кустов вышел белый мальчик. Белые волосы, белая холщовая рубаха, белые порты — такими пишут на иконах души убиенных младенцев или спустившихся на землю ангелов. Иванцов зажмурил глаза, открыл, но мальчик не исчез и не растворился.

— Хлопчик, — прохрипел боец, — поди сюда скоренько!

Мальчик прошлепал босыми ногами по горячему гудрону.

— Хлопчик, милый... Поищи... Пошукай, — вспомнил Иванцов местное слово, — железяку какую-нибудь! Цепь перебить...

И он потряс свои оковы.

Мальчик все понял.

— Зараз! — кивнул он и нырнул в кусты.

Вернулся мальчик не скоро, после того, как по шоссе прошла очередная колонна. В руках у него, к величайшему иванцовскому унынию, ничего не было. Но, перебежав дорогу, парнишка запустил пятерню за пазуху и сунул бойцу рубчатую шишку ручной гранаты.

— Але нема ниц ничего!

Граната была оборонительная, Ф-1, «лимонка» с разлетом осколков до ста метров; лучше бы наступательную, фугасно-дробящую, однако выбирать не приходилось, и Иванцов, спрятав подарок в карман, потрепал мальчугана по плечу:

— Спасибо, хлопец!.. Беги домой... До хаты! К мамке!

Белый мальчик исчез тем путем, каким и появился. Скрылся он вовремя, потому что на шоссе выворачивали грузовики с пехотой. Перед тесными воротами машины сбавили ход.

— Ätsch! Ätsch!¹ — дразнили солдаты «русского медведя». Один швырнул в него огрызком яблока, другой, страшая, вскинул автомат и пустил поверх головы очередь. Бетонная крошка больно брызнула из-под пуль в лицо. Иванцов едва удержался, чтобы не запустить в грузовик гранатой. По счастью, машина скрылась в тоннеле.

¹ Дразнящий возглас вроде «Ага!» (нем.)

Ненадолго оставшись один, Иванцов прикинул, как перебить цепь. Надо спустить гранату с боевого взвода, быстро положить на рым с первым звеном, а самому спрятаться за углом портала. Авось не оглушит. Да и цепь позволяет отступить вглубь тоннеля почти на метр. Оставалось только дожидаться ночи.

Солнце застыло в зените, словно не решаясь пересечь ту дымящуюся черту, которая недавно еще была западной границей.

Вдруг проснулся голод и свинцовой тяжестью оттянул желудок. И пить захотелось пуще прежнего. И жажду, и голод умерял Иванцов тем, что поглаживал в кармане рубчатый стальной «лимон» — ключ к кандалам, ключ на волю, к воде, к своим...

Пополудни машинный поток на шоссе заметно поредел. Проносились небольшими группами грузовики со снарядами ящиками, штабные лимузины, мотоциклисты-связные. Да и должен же быть предел вражьей силе, не из прорвы же она...

На длинное серое авто с запасными колесами по бортам и откинутым верхом Иванцов не обратил особого внимания. Машина прошмыгнула в тоннель и уже в бетонной трубе взвизгнула тормозами. Она выехала задним ходом, остановилась на обочине.

— O, glück muß der Wensch haben!¹ — радостно вскричал человек, сидящий с водителем. Был он в салатовой безрукавке, перехлестнутой подтяжками, а когда выбрался из машины, обнаружили и смешные, до колен, брючки. Вместе с ним вылез и голенастый офицер при фуражке и витых погончиках; размял ноги и сол-

¹ О, на ловца и зверь бежит! (нем.)

дат-водитель. Штатский пассажир побегал вокруг Иванцова, потирая руки, затем вытащил из машины деревянную треногу, водрузил на нее кинокамеру...

Кинокамеру Иванцов видел совсем недавно — в февральский праздник, когда к ним в полк приезжал оператор хроники.

На торжественном построении Иванцов, как всегда, стоял правофланговым в стальном шлеме и с самозарядной винтовкой. За гвардейскую статью оператор выбрал именно его, и потом весь полк лицезрел на экране могучую фигуру муромчанина, открывавшего шеренгу парадного строя. Потом из дома писали, что видели-де его в киножурнале, и батя с маманей шесть раз подряд ходили на все сеансы. И Клава ходила, и ребята с паровозоремонтного...

Немец хлопотал у кинокамеры, но не снимал, ждал, когда подойдет ближайшая колонна. Иванцов только представил себе, как это будет выглядеть на экране: вот маршируют доблестные германские войска, а на границе у ворот старой русской крепости встречает их, словно медведь на цепи, здоровяк-красноармеец, — и в глазах у него потемнело от горького стыда и бессильной ярости.

Вкрадчиво зажужжала кинокамера, немец приник к резиновому наглазнику, будто к прицелу, но лучше б он целился из автомата... Где-то внутри черной машинки змеей побежала кинопленка, унося иванцовский позор на вражью потеху.

И тогда рядовой Иванцов, правофланговый второй стрелковой роты, вытащил из кармана стальной шар, нагретый теплом еще живого его, сильного тела. Он выдернул чеку и не бросил — катнул гранату по асфальту, и та пока-

тилась, глухо и грозно рокоча рубчаткой, прямо под деревянную треногу. Острая звезда взрыва ударила Иванцову в глаза...

Вот и все.

Саперы, взрывавшие казематы, оттащили поврежденную машину в сторону, расковали цепь, убрали трупы. Они забыли сделать только одно — стереть кирпичную надпись на портале ворот:

«Achtung! Der Russischer bär!»

Слова, начертанные наспех, но подкрепленные бетонной глыбой нависали над дорогой недобрым напутствием, и колонна за колонной исчезала под ними в провально-темной глубине тоннеля.

«ПРИКАЗ ОБЪЯВИТЬ ВО ВСЕХ РОТАХ...»

Рассказ

Памяти ефрейтора Анатолия Реки

Перед Майскими праздниками старшина заставы прапорщик Трипутень проверял содержимое солдатских тумбочек. Открывал поочередно ящички, распахивал дверцы... На положенных местах лежали положенные вещи: простецкие электробритвы, флакончики с одним и тем же одеколоном «Среди лип», завезенным военоторговской автолавкой, стопочки конвертов с одной и той же олимпийской картинкой — других в автолавке не было, — подворотнички, иголки, подсунутые под катушечные нитки... И толь-

ко в тумбочке рядового Гая уставное единообразие нарушалось объемистым пакетом, втиснутым к тому же меж двух толстых книжек. Заглянув в пакет, Трипутень обнаружил груды старых глиняных черепков.

— Дежурный! — крикнул старшина, топорща черные усы, похожие на мотоциклетный руль. — Гая ко мне! Жив-ва...

И дежурный, предвкушая интересную сцену, ринулся за рядовым Григорием Гаем.

Через минуту перед старшиной, о котором солдатская молва гласила: «Бог создал отбой и тишину, черт — подъем и старшину», предстал шуплый парнишка в свежезеленой тропической панаме и с такой же новехонькой фляжкой на неисцарапанном ремне.

— Шо це за цацки? — грозно спросил прапорщик, и дежурный поодаль вытянув шею, чтобы запомнить разнос в деталях для пересказа в курилке.

— Это поверхностная керамика... Здесь был древний город, товарищ старшина... Это я на кургане за стрельбищем нашел... Вот это носик масляного светильника... Ему лет с тыщу. А это край вазы...

— Постой, постой... Откуда ты знаешь, что ему тыща лет?

— Так это ж раннее средневековье... — обрадовался вопросу паренек. — Вот тут в учебнике, в «Полевой археологии», на фотографии как раз такой же... Вот, смотрите, — восьмой век.

— Ишь ты! Похож... Ну ладно. Керамику в тумбочке хранить не положено. Снеси в каптерку, найду тебе тару... А после ужина сходим на курган. Покажешь, где нашел...

Дежурный разочарованно вернулся на мес-

то. Крутой и гневливый старшина дал осечку...

Едва солнце тихо и плавно приземлилось в барханах, Трипутень и Гай ушли за стрельбище на курган. Они долго бродили по сыпучим склонам, пугая варанов, рыхля сапогами песок, подбирая черепки, складывая самые замысловатые в старую противогазную сумку.

Перед отбоем они сидели в старшинской каптерке, пили кок-чай и разбирали находки. Были тут и крученые ручки ваз, и осколки кувшинов, изукрашенные лепными рельефами, и даже маленькое железное ядро, растрескавшееся, словно кедровая шишка. Трипутень дивился почти целой терракотовой игрушке — трехногому коньку с присохшими к бокам ногами отбитого всадника — и никак не хотел верить, что игрушке — тысяча лет, а то и поболее.

— Та у нас в Дарнице на рынке таких скильки хошь!

А Гай больше всего радовался невзрачной керамической груше.

— Это же сфероконический сосуд! Самый настоящий! У них загадочное назначение, у этих сосудов. Одни ученые говорят, что в них хранили ртуть, другие считают, что это глиняные бомбы вроде ручных гранат...

— Да-а, хлопец... — вздыхал старшина, — видать, читал ты немало...

— В том-то и дело, что мало! А вот в археологический кружок ходил. Во Львове, при университетском музее...

И Григорий с дрожью в голосе рассказал о Шлимане, откопавшем Трою, о поручике Петре Козлове, открывшем в пустыне Гоби мертвый город Хара-Хото...

На другой день, выкроив время, они снова пришли на курган, и Трипутень достал из вещмешка малую саперную лопатку.

— Это дело подсудное, товарищ старшина, — забеспокоился Гай. — На раскопки открытый лист нужен.

— Та мы лесь-лесь... Копнем на пив-шишечки... Отута, сбочку... Тильки побачимо, шо там, в земле...

Гай не смог сдержать улыбки: этот азарт был ему очень знаком.

— Курган наверняка могильный... На глубине пяти-шести метров захоронен какой-нибудь хан или бек. Лежит весь в золоте в драгоценных камнях...

— Шесть метров, говоришь? — взъерошил усы старшина. — Это нам не взять... Это надо всей заставой...

И вытряхнул из пачки сигарету, сначала одну, потом другую...

Так началась эта странная дружба пожилого грозного прапора с щупловатым юнцом в необмятой солдатской панаме. Над ними беззлобно посмеивались и даже пытались придумать прозвища — «кладонскатели», «археологи», «гробокопатели», но ни одно не прижилось, потому что кличка любит словцо короткое, точное, клейкое...

— Я, Григорий, с тебя настоящего солдата выроблю, — частенько повторял старшина. — А то шо ты за воин — петух коленкой зашибет...

И гонял Гая на турнике до белых волдырей на ладонях. А когда солдат признался, что боится высоты, то Трипутень не спускал его с каната и вовсе, заставляя взбираться до самого крюка. Гай не ныл, сверхурочные заня-

тия переносил стойко, но без особой радости.

И слово свое прапорщик, кандидат в мастера по самбо, сдержал. К концу первого гаевского года на дозорную тропу выходил ладный сержант, старший пограннаряда, гимнаст и гиревик.

Черепков в каптерке прибывало, так что Трипутень выделил для них в скором времени упаковочный ящик из-под ручных гранат. Приходили посмотреть на коллекцию начальник заставы капитан Уражцев и замполит лейтенант Заброда. Лейтенант, человек на заставе новый и совсем еще молодой, перебирал черепки, не скрывая улыбочки, которая обоим «археологам» показалась вовсе даже обидной. Зато капитан сразу подбросил Заброде мысль: «Хорошо бы этими черепками стенд «Край, в котором мы служим» оформить».

Под Новый год Гай собрал самые интересные черепки в посылочный ящик, переложил газетами и написал на крышке адрес московского института археологии. Трипутень идею одобрил и даже отвез ящик с оказией в город. Про посылку никому ни слова, чтобы не давать повода к шуткам. Маленькую тайну оба берегли честно, и только на каждую новую почту набрасывались с особым нетерпением — нет ли конверта с учрежденческим штампом.

Ответ пришел, когда перед домиком старшины зацвел бухарский миндаль. Точнее, его привез пожилой человек в белой джинсовой куртке и такой же шапочке с прозрачным козырьком. Вместе с ним приехали еще трое: худой долговязый парень с рыжей бородой, беловолосая девушка в голубом спортивном трико и молодой узбек в линялой армейской рубаше и квадратной тубетейке. Всех их доставил заставский

грузовик, заваленный палаточными тюками, рюкзаками, спальными мешками...

Пожилой, Вадим Степанович Артюхов, спросив у капитана Уражцева, кто такие Гай и Трипутень, вручил прапорщику незапечатанный конверт. И пока Уражцев изучал бумаги москвичей, старшина прочел, что ученый совет института благодарит энтузиастов товарищей Гая и Трипутеня за сообщение ценной научной информации и надеется на успех сотрудников поисковой группы во главе с доктором исторических наук Артюховым. .

Энтузиаст Гай в тот день отсыпался после дозорной ночи, а когда поднялся, то у кургана за стрельбищем уже стояли две оранжевые палатки. В одной — большей — жили Артюхов, рыжебородый геодезист Боря и землекоп Туйчи, он же в обиходе Толя. Палатку поменьше занимала «платиновая блондинка» лаборантка Зоя. Гай сразу же в нее влюбился — безнадежно, отчаянно, зло. Ну кому было не ясно, что у Зои с рыжебородым — роман? Геодезист не отпускал ее ни на шаг, всюду ходили вместе и в кино, когда на заставском дворе крутили фильм, сидели они рядышком — в обнимку. И тем не менее Гай, неизвестно на что надеясь, едва лишь выпадал свободный час, надраивал сапоги до черного блеска и уходил на раскоп. Артюхов встречал его радостно, показывал последние находки и обещал написать Гаю рекомендацию на истфак Львовского университета. Борис, подобрав какой-нибудь черепок, становился в позу и декламировал специально для гостя:

Эта чаша, которую держит рука, —
Грудь умершей красавицы или щека...

Зоя тоже приветливо улыбалась, и этими-то улыбками Гай жил. По ночам под разногolosый сап товарищей перебирал Зоины улыбки и слова, обращенные к нему, искал в них тайный, сокровенный смысл.

За тот месяц, что работали археологи, сержант спал с лица и стал едва ли не темнее белозубого Туйчи. Лычки на погонах из простой желтой тесьмы сменил на галун из золотой канители и ремень завел не кожмитовый, а из настоящей кожи; к знакам пограничной доблести на груди приколот все, чем был награжден за двухлетнюю службу, даже маленький донорский значок «Капелька крови». Но что ей, синеглазой, золотой галун, что ей «Капелька крови»...

Прапорщик Трипутень зазвал Гая к себе в домик на черный чай с черносмородиновым вареньем. Выждав, когда жена оставила их одних, старшина примял ладонью гаевский погон, густо забинтованный лычками.

— Вот что, Григорий... Не дури! Дивчина она, конечно, гарная... Но мы тебе найдемo краше...

Трипутень подмигнул и достал из бумажника маленькое фото, полюбовался сам, потом передал Гаю.

— Моя племянница... Оксана... В Киеве в консерватории учится... На арфе играет... На арфе! — со значением повторил гордый дядя. — Это тебе не пианино — трень-брень... И не кисточкой пылить...

Последнее явно относилось к лаборантке Зое. С фотографии на Григория чуть настороженно смотрела совсем юная девушка с припухлыми губами и толстой косой через плечо.

— Нравится?

— Ничего...

— Ничего... — с напускной обидой передразнил старшина. — Да за ней сам этот... певец... забыл, черт... сватался... Дивчина строгая и некрашенная, как некоторые... В общем, так, домой все равно через Киев поедешь... Загляни. Передай гостинец от дяди... Я посылочку справлю — грецкие орехи там, гранатики... Може, дыню довезешь... А там — побачишь... Надумаете свадьбу играть — приеду. Ну?!

— Посмотрим, — серьезно сказал Гай и спрятал фотографию в военный билет, где уже хранилась вырезка из «Комсомольской правды» с приказом министра обороны об увольнении в запас «весеннего набора». Больше всего сержанту нравились слова: «Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях». В эту же строку Григорий дописал — «и на погранзаставах». Смешно, но ему и в самом деле верилось, что после этого приказа все погранвойска, вся Советская Армия, Военно-Воздушные Силы и Военно-Морской Флот знают: сержант Григорий Гай честно отслужил свои два года и теперь через неделю-другую отправится домой в достойный город Львов.

На случай этого отъезда за обложкой военного билета лежала песочного цвета сотенная бумажка. Ее прислала мама... Оказывается, те «пятерки», которые переводил ей Григорий из своего невеликого сержантского жалованья — деньги на границе не в ходу: курувом Гай не увлекался, а письма солдатские, известное дело, ходят бесплатно, — мама сберегла, добавила к ним еще чуток и прислала сто рублей на кос-

тjum. Ах, мама, мама... Да разве ж есть для пограничника, спешащего домой, костюм лучший, чем военного кроя пэша да зеленая фуражка?! Недаром Трипутень шутит: «Бойцов без лычек через Киев не пускают».

Вот и наступил тот день, который всегда казался немыслимо далеким, даже когда оставался до него месяц... Последний «отбой», последний компот, последний боевой расчет...

С понедельника сержанта Гая перестали посылать в наряд, во вторник старшина Трипутень должен был снять его с котлового довольствия...

Григорий постучался в канцелярию начальника заставы.

— Товарищ капитан, разрешите в последний раз сходить... С границей попрощаться.

— Сходи, — широко улыбнулся Уражцев. — Попрощайся...

Вышли засветло. Ефрейтор Цыплаков нес рацию. Куртка у рядового Дуленова топорщилась из-под новенького ремня, как юбочка балерины. Новичок, он шагал в «золотой середке» — между головным Гаем и замыкающим Цыплаковым.

Весь день стояла жара — каюк термометрам! И вечер не обещал прохлады. Надо было бы натянуть маскхалаты на голое тело, как спасались от зноя всегда. Но Григорий не мог отказать себе в удовольствии пройти мимо кургана в беленном солнцем обмундировании со всей походной выкладкой. В нем он казался себе таким же подтянутым, ладным и бывалым, как красноармеец Сухов из фильма «Белое солнце пустыни». Зоя, приподнявшись на отвал, помахала наряду рукой, Борис навел на Гая теодо-

лит и, похоже, рассматривал его в оптическую трубку.

Из-под сапог разбегались ящерки. По этой тропе сержант мог пройти с завязанными глазами, зная, где, на каком километре подвернется под ногу камень, где ступня попадет в промоину... Знал — навсегда вплетется эта тропа в пейзажи будущих снов...

Дуленов и Цыплаков, не теряясь из виду, приотстали так далеко, что шорохи их шагов растворились в вечерней тишине. Вспомнилось вдруг, как вчера в курилке, оплетенной плющем, Цыплаков пел под гитару им, собравшим свои легкие чемоданы, песню не то в укор, не то на прощанье:

На этой ветреной земле
Опасны даже листопады.
А мне не просто жить, а мне
Шагать вперед и быть солдатом...

Хорошо пел ефрейтор Цыплаков, за душу трогал...

Легко им служить, молодым. Теперь в спальном помещении кондиционер стоит, холодильник нагоняет — по-человечески выспаться можно. А тогда, когда начинал Гай, спали, накрыв лицо мокрым полотенцем. Полотенца высыхали враз...

Многое тогда казалось непривычным в чужом краю. И крики ишаков, горласто-визгливые, будто громыхали раскрученные ворота колодцев, и поля алых маков, и серпы, не полукруглые, как на родине, а горбато-угловатые. Чай зеленый, река желтая, земля красная... И вот теперь так же трудно расставаться с этим краем, как когда-то — привыкать к нему.

Пошли холмы — бугристо-кустистые, огла-

женные ветрами. Гряды, кочки, гребни — человек теряется здесь через пять шагов. Присел — и исчез, голову пригнул — и скрылся, лег — пропал и вовсе.

Солнце садилось с ореолом в виде огромных оранжевых крыльев. Огнекрылое солнце... Белый след рейсового самолета на темнеющем небе был высвечен ярко и розово. В самолет и его шлейф солнечные лучи били уже из-за скругления земного шара.

«В Москву полетел», — вздохнул Гай, привычно засекая курс лайнера.

Повеяло речной сыростью. ► Белая, сыпучая от лессовой пыли тропа вошла в густые заросли камыша и превратилась в сырой извилистый коридор, прорубленный в тростниковых джунглях. Гай подал знак «сократить дистанцию». Заболоченная пойма пограничной реки тянулась до самого горизонта. Никто не любил это место — вечно здесь мельтешили рыжие малярийные комары, выскальзывали из-под ног водяные змеи, стоял тяжелый дух прели... Через полтора километра тростниковый коридор выводил к наблюдательной вышке, обозначавшей стык участков. Там наряды обычно переводили дух и пускались в обратный путь...

Молодой боец шагал тяжело и шумно. Гай обернулся, чтобы показать жестом — «тише!»... Два, слитых почти в один, выстрела грянули в спину.

Дуленов видел, как сержант упал, — ничком, будто его толкнули с разбегу. Потом медленно повернулся на бок, и, стянув с плеча автомат, выпустил в камыши очередь, неверно поводя стволом...

Это уже потом патологоанатом удивлялся:

человек с пулей в сердечной сумке жил еще минуты две и стрелял... А тогда Дуленов полоснул с колена огненным веером — туда, куда стрелял сержант и откуда стреляли в сержанта. Потом подоспел Цыплаков и тоже стал косить камыши длинными очередями. Из зарослей не отвечали. Изумившись внезапной тишине, Цыплаков и Дуленов услышали, как в хрустких, ломких стеблях тяжело хрипит и бьется чье-то тело... Неподалеку обнаружили другое — неподвижное... Пока Дуленов рвал зубами перевязочный пакет, Цыплаков дрожащими пальцами настроил рацию, вызвал заставу...

Как во сне, несли сержанта к машине. Алые капли кропили дозорную тропу, и красный пунктир этот был очень похож на тот, каким метят линию границы на картах.

Сердце убитого Гая сделало семьдесят ударов, автомат — пятнадцать выстрелов...

Пыльные ветры надолго перекрыли вертолетные трассы. Уражцев распорядился похоронить Гая на кургане за стрельбищем. Похоронили честь по чести — с троекратным салютом, с приспущенным над заставой флагом, с торжественным маршем мимо кургана...

Профессор Артюхов назвал тот курган на археологической карте Гай-гора.

Прапорщик Трипутень, выводя молодых бойцов на стрельбище, всякий раз предваряет команду «Огоны!» коротким и яростным: «За сержанта Гая!»

И пусть не покажется странным археологам из грядущих столетий, когда, раскапывая могильный курган Гай-гору найдут они над доспехами древнего воителя латунную солдатскую пряжку с пятиконечной звездой.

Из ресторана, где гремела свадьба, лейтенант-инженер Крылов возвращался почти бегом. Надо было успеть на последний рейдовый катер, развозящий отпущенных в город по кораблям.

Крылову всегда казалось, что самая жестокая обида для мужчины — это присутствовать на свадьбе своей бывшей невесты в качестве гостя. Чтобы насладиться всей глубиной несчастья, он и принял приглашение и ровно в 17.00 прибыл с корабля на бал — в банкетный зал ресторана «Океан».

Как ни странно, но Крылов не испытал на этой свадьбе особенной горечи. Все оказалось проще, и роковые страсти не когтили ему душу. Правда, когда закричали «Горько!» и невеста, неправдоподобно красивая, в белой шляпке, похожая на Дашеньку из телефильма «Хожение по мукам», прильнула к своему бородачу, сердце у Крылова защемило. Они целовались так долго, что ему захотелось, чтобы сейчас, вот в эту самую минуту, в дверь постучали, вошел бы матрос-посыльный и громко обратился к нему: «Товарищ лейтенант, на корабле объявлено приготовление к бою и походу!» Но никто в дверь не постучал, хотя дежурный по кораблю и был предупрежден, где будет проводить вечер командир второй электротехнической группы.

Счастливые молодожены снова уселись во

главе стола, и веселье продолжилось до следующего «Горько!». Крылов ушел незаметно, по-английски, и похоже, никто не заметил его исчезновения.

Больше всего в морской службе лейтенанту Крылову нравилось то, что на кораблях не было женщин. Всякий раз, когда к борту крейсера подходил «вспомогаш»: танкер или рефрижератор, и на верхнюю палубу выбиралась эдакая разудалая деваха — дневальная, кокша, буфетчица, кто у них там еще? — губы Крылова складывались в снисходительную улыбку: «Тоже мне, мореходы!»

С первым же шагом на сходню, круто задранную на борт рейдового катера, ветреный мир страстей и житейской неразберихи оставался за спиной. Чем дальше уходил ПСК — посылно-связной катер — тем мельче становились огни города за кормой, меркли земные желания, приутихали сердечные обиды.

Из глубины рейда надвигалась и вырастала ступенчатая пирамида крейсера, и Крылов вглядывался в нее как в остров спасения. Сюда, в суровую юдоль среди тяжелого железа, овеянного штормами, скитаниями и опасностями, не было доступа красивым, но коварным созданиям. Здесь говорили на непонятном женщинам языке, и ни одна из них не догадается, что «комингс» — это порог, «лагун» — большая кастрюля, а «гардаман» — наперсток. Здесь, в этом стальном мужском монастыре, ничто не напоминало мир кухонь, спален и гостиных. Разве что обеденные приборы, расставленные на красиво сервированных столах в кают-компании. Но и они не знали женской руки, как не знали ее пирожки с яблоками, подававшиеся к вечернему чаю. Все делали коки и весто-

вые — и ничуть не хуже хваленых хозяек. К тому же на тарелках и чашках сиял гордый герб мужского отшельничества — золотой якорек с вензелем «ВМФ».

Там, на берегу, несомненно, царили женщины, заставив мужчин тайно или явно служить себе, своим делам и капризам. Это они привнесли в мир суету и непостоянство, это они заставили поэтов воспевать свои слабости и грехи, выдавать неверность за игру чувств, кокетство — за артистичность натуры...

Корабельная жизнь оставалась последним исконно мужским миром, в который не удалось вторгнуться женщинам и который мужчины ревностно поддерживают вот уже много веков кряду, дабы окончательно не выродиться в «облака в штанах», в дамских угодников, в мужей-подкаблучников... Так считал двадцатичетырехлетний лейтенант, покусывая подрагивавшие от обиды губы. Ну что она нашла в этом бородачом зубодере?

Под торопливое клохтанье рейдового катера на душе полегчало. В тесном салоне — вокруг и рядом — сидели привычные люди в привычном черном: в черных шинелях и черных фуражках. Они вели неторопливые степенные разговоры о делах, непостижимых для тех людей, что остались в банкетном зале: о надвигающихся призовых стрельбах, о том, что вдувная вентиляция лучше вытяжной, о запасных частях к турбинам низкого давления, об антиобрастающей краске...

Служивый народ набился с чужих кораблей и, как ни искал Крылов своих, кроме мичмана-баталера да малознакомого лейтенанта-трюма-

ча, возвращавшегося из отпуска, никого не нашел. Да и кому придет в голову такая блажь: возвращаться на корабль в день субботнего схода?

Из рубки в салон была проведена переговорная труба, и капитан ПСК объявлял названия кораблей, стоящих на рейде, как водитель автобуса — остановки:

— Крейсер «Багратион», «Адмирал Истомин» следующий.

Мичман-баталер, отпускной лейтенант и четверо матросов с вещмешками — новенькие, поднялись с мест. Крылов вышел из салона: обдало сырым ветром, солярным дымком и ночными звездами. Крейсер был иллюминирован скупой, но достаточно для того, чтобы читался грозный силуэт. Он сверкал цепочками огней незатемненных иллюминаторов, палубных люстр, торопливо помигивал сигнальным прожектором. Тяжелый броневой клин корпуса был намертво вбит в угрюмую черную воду. Всякий раз, когда катер подваливал к трапу и борт крейсера, вырастая, закрывал полнеба, Крылову казалось, что стена сварной стали, пройдя сквозь воду, врастает в самое дно — так неколебимо прочно стоял корабль. Косыми струнами уходили в стальную рябь обе якорьцепи. Стройные стволы орудийных башен задумчиво глядели в золотое огнище города. И только синий фонарь на мачте — знак того, что «Адмирал Истомин» заступил на дежурство по соединению, да плавное кружение над рядами решетчатой антенны выдавали недремную жизнь боевого корабля.

ПСК сбавил обороты, уступая дорогу командирскому катеру. Печально и строго запел с высоты крейсерских площадок горн, приветст-

вуя командира. Протяжные звуки сигнала «Захождение» ложились на душу торжественно и отрадно. Крылову вспомнилось вдруг, что капитан первого ранга Соколов — одинок, и что на корабль он возвращается ночевать, и что у него, наверное, уже никогда не будет семьи, потому что вся жизнь его прошла на этом стальном острове. С упоительной отрешенностью подумалось, что и его, крыловская, жизнь пройдет в этой же броне, ибо нет у него ничего более дорогого, чем этот красавец крейсер, одна из самых громадных военных машин, созданных когда-либо человечеством.

С этими гордыми мыслями Крылов шагнул на обледенелый трап, козырнул дежурному офицеру и нырнул в зев водонепроницаемой двери шкафута правого борта. В железном коридоре он с жадностью вдохнул родной запах теплого машинного масла, шей, краски, свежепеченого хлеба, карболки, перегретого пара и еще чего-то неуловимого, что составляет подпалубный дух любого военного корабля. Привычно гудели вентиляторы. Матросы в белых робах и синих беретах разбегались с боевых постов — только что сыграли отбой внезапного учения по отражению атаки ракетных катеров, и теперь бачковые спешили на камбузную площадку занять очередь за хлебом, сахаром и маслом к вечернему чаю. Дежурный по кораблю вот-вот должен был возгласить по трансляции: «Команде пить чай!» Однако самые проворные уже гремели чайниками в поперечном проходе у самоварной выгородки.

Крылов с легкой улыбкой человека, к которому вернулась после долгой болезни способность сызнова ощущать красоту окружающего мира, жадно ловил биение, звуки, запахи ко-

рабелной жизни. Отныне он причислял себя к ней навечно и беззаветно. В каюте сосед, вавшийся с книжкой на койке, встретил его радостным возгласом:

— Старик, специально для тебя! Слушай! «В квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего — ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды...» Это Чехов!

Крылов, удивившись не столько справедливости чеховской мысли, сколько тому, что Сысоев ударился в классику, взял у него книгу и прочел сам. Изречение принадлежало не совсем Чехову, а герою «Записок неизвестного человека», но все равно было приятно отыскать столь авторитетное подтверждение своим недавним выводам.

— Айда гонять чай! — Сысоев накинул на плечи китель. Он ни о чем не расспрашивал, и Крылов благодарно отметил про себя, что подобная деликатность возможна лишь на больших военных кораблях, защищенных от влияния берега широкой полосой рейда.

В кают-компании, полупустой по случаю большого субботнего схода, веяло легкой грустью. Офицеры, которым выпало торчать на корабле в воскресенье, лениво звенели ложечками в стаканах, грызли желтые шарики витаминов и перебрасывались односложными фразами. По столам ходил список фильмов — ставили крестики, выбирали картину. В салоне командир дивизиона движения пытался сыграть на рояле «Болель куклы» Чайковского, но его все время сбивало на веселый шлягер. Костяной постук бильярдных шаров мешался с аккордами, звоном чайного стекла, гудом вентиляторов, криками ночных чаек, походившими на визг не-

смазанных уключин. Крылов испытал вдруг прилив особенного уюта, от которого сладко заныло в деснах: «Я дома!»

Укладываясь спать, Крылов подумал, что свадьба, должно быть, еще продолжается, и ему захотелось, точно так же, как тогда, в банкетном зале во время затянувшегося «Горько», чтобы сию секунду вахтенные радиолокаторщики обнаружили неопознанные воздушные цели и по всему кораблю затрезвонили колокола громкого боя... Динамик вдруг и в самом деле щелкнул — Крылов приподнялся на локте — но скучный голос дежурного по кораблю распорядился с напускной строгостью:

— Задраить водонепроницаемые переборки! Ночное освещение включить!

...От яростного дребезга авральных звонков крейсер вздрогнул, как вздрагивает живое существо, разбуженное внезапно. Пробные обороты гребных валов дали почти одновременно с колоколами громкого боя.

— Учебная тревога! Корабль экстренно к бою и походу приготовить!

Крылов метнулся сначала к себе, в низы, в электростанцию, но оттуда его «высвистали» в ходовую рубку, надо было срочно проверить агрегат, входивший в заведование крыловской группы. Лейтенант копался в раскрытом блоке и краем глаза наблюдал за капитаном первого ранга Соколовым. Он впервые видел командира не перед строем, не в кают-компании, а в настоящем морском деле, на главном командном посту.

В косом и сильном свете прожектора лицо его состояло из одних бликов да провально-черных теней и потому казалось молодым и

хищным. Ремешки бинокля были аккуратно пропущены в прорези шинельных лацканов. Белая каёмка стоячего воротничка оббегала шею, словно полоска отбойной пены — борта корабля.

Крылов откровенно любовался каперангом, забыв про разобранный блок. Вот человек, которого не заботило, как добыть в военторге ковер без очереди или квартиру в Москве, хотя не было у него ни того, ни другого. Вот человек, который не знал воплей младенцев, женских слез, измен, настырного семейного счастья с дачным вареньем, двуспальным ложем и ночными поцелуями, отдающими зубной пастой. Жизнь его прошла в страстях иного мира: на сколько миль отстоит корабль от численного места, слышна ли акустикам подводная лодка, не сбавит ли обороты кормовой эшелон и как поразить врага в артиллерийской дуэли?..

Виски командира «Истомина» белее летнего чехла на фуражке. Если верить примете, что увиденная во сне падучая звезда приносит седой волос, то последние годы капитану первого ранга Соколову снились сплошные метеоритные дожди. Давно миновал он возрастной офицерский рубеж, но Главком — за опыт, заслуги, а может быть зная бездомную преданность моряка кораблю, отсрочил увольнение в запас на несколько лет.

Крейсер застопорил машины, лег в дрейф и сразу же валко и зыбко ощутилось беспокойное море. Оно упруго подбиралось, сжималось и выбрасывало волны, крутые, вспененные, стремительные... Все, кто был в ходовой рубке, ухватились за поручни, скобы, подлокотники.

В три часа ночи подвахтенных отпустили от-

дыхать, и Крылов, закончив проверку блока, отправился в каюту.

Сном начинаешь наслаждаться лишь под утро; полупроснувшись, понимаешь, что спишь, и с радостью засыпаешь снова. Тем более, когда прищулив с подушки глаз и увидев, какой серой наволочью затянут иллюминатор, припомнив, какие муторные дела предстоят сегодня, хочется перевернуться на другой бок и впасть в летаргический сон. Не на десять, конечно, лет, как проспал один чудака, а так, чтобы проснуться к самому концу похода — под веселые авральные звонки: «По местам стоять, на швартовы становиться!»

Лейтенант Крылов натянул на голову одеяло и сделал отчаянную попытку впасть если не в летаргический сон, то хотя бы в тот, недавний, только что прерванный молотобойным ударом волны в борт.

Кажется, вервые за весь поход качало понастоящему. Крейсер вздымался и проваливался с тошнотворной размеренностью, и тем приятнее была мысль, что еще целый час можно укрываться от погодных и служебных невзгод за глухо задернутым пологом, под толстым верблюжьим одеялом.

Одеяло Крылов купил на базаре в Нальчике прошлым летом в пору своего первого лейтенантского отпуска. Красивую жизнь морского офицера надо было начинать красиво, и Крылов отправился в горы кататься на лыжах. С приездом в ущелье выяснилось, что в июле горнолыжникам здесь делать нечего — сезон открывался осенью, — и Крылов вместе с ленинградкой Зоей, у которой мечты промчаться по склону со скоростью курьерского поезда также разбились о бесснежные кавказские скалы, ре-

шили сходить через перевалы в соседнюю Сванетию. Вместо спальных мешков они купили одеяло, и оно, переташенное теперь в каюту, немощно хранило тайны их недолгих ночей в двух туристских приютах, у чабанского костра, в старой сванской башне и на обочине горного аэродрома в ожидании рейсового самолета.

Если сильно принюхаться, то и сейчас еще сквозь тяжелый дух верблюжьей шерсти можно различить чуть уловимый запах Зоинных духов.

Одеяло оказалось на редкость теплым и уютным, в нем можно было спать без подушки и тюфяка — просто так, завернувшись с головой, как индеец в пончо. Крылов взял его с собой на крейсер, дабы хоть как-то разнообразить казенный комфорт каюты. Для того же предназначалось и содержимое маленького чемоданчика, упрятанного пока в самый дальний угол рундука. В чемоданчике хранились: ящичек с га-ванскими сигарами, коробка очень вкусных конфет «Вечерний звон», пакет кофейных зерен, три пачки настоящего цейлонского чая, томик Омара Хайяма (подарок Зои, студентки книготоргового техникума), банка засахаренных лимонов и керамический флакон черного рижского бальзама. Из лимонов и бальзама Крылов намеревался готовить себе старинный флотский чай «Адвокат», которым грелись после промозглых вахт еще на нахимовских парусниках. Рецепт его он вычитал в курсантской библиотеке из «Морского словаря»: «Адвокат» — горячий чай с лимоном, сдобренный порцией рома». Запретный на корабле ром должен был замесить черный бальзам, что совсем не ухудшало качество чая.

«Адвокат» и все прочее содержимое чемоданчика припасалось для того, чтобы скрашивать

тяготы суровой походной жизни. Что может быть лучше после какой-нибудь особенно изматывающей вахты глотка горячего «Адвоката» с «Вечерним звоном»? Разве не разбудит вкус к жизни, несколько притупившийся в машинных недрах корабля, кофейный аромат, смешанный с дымком тропического табака?

Но, увы, за полгода крыловской службы не было еще повода заглянуть в заветный чемоданчик. Крейсер долго стоял на бочке, пока заводские специалисты отлаживали на нем новые антенны, а эти нынешние выходы в море на два-три дня никак не посчитаешь за «тяготы походной жизни». Разве что заварить «Адвокат» вечером, после разговора с механиком...

Корабль встряхнуло, и он отозвался штормовому удару упругой, не сразу затихшей дрожью.

— Погодка горбатится, — заворочался на нижней койке сосед — лейтенант-инженер Сысоев, командир трюмной группы. Глухо урча, перекатывались в рундуке гантели. Да и Крылова под верблюжьим одеялом перевалило с боку на бок весьма бесцеремонно. Пришлось поджать ноги и упереться спиной в переборку.

Динамик под портретом адмирала Макарова исторг в каютный полумрак озябший голос вахтенного офицера:

— Задраить двери внешнего контура. Выход на палубу запрещен. Ожидается усиление штормового ветра!

Тем приятнее было додремывать остаток последнего часа.

В дверь постучался приборщик и, не получив на свое «прошу разрешения» никакого ответа, в чем, собственно, и не нуждался, опустил

крышки иллюминаторов. В каюте стало совсем темно и уютно.

...Вчера на учениях по борьбе за живучесть заглянул в подпалубное шпилевое помещение капитан второго ранга-инженер Ивлев. Он молча смотрел, как четко и даже молодежато, по мнению Крылова, матросы расхватывали аварийные брусья, кувалды и топоры, а затем так же сноровисто заводили пластырь под подволочную пробоину. В молчании командира чудилось скрытое одобрение. Не зря же до седьмого пота гонял Крылов свою носовую аварийную...

Ивлев отозвал лейтенанта в сторону.

— У вас не заделка пробоины, а ритуальная пляска бурятских лам. Лихо они скачут, копытами тычат — злых духов отгоняют. У вас то же самое. Напряженности нет, огонька... Кстати, зайдите ко мне вечером. Я давно хотел с вами поговорить...

«И вот так всегда! — горестно размышлял Крылов. — Вы служите, а мы вас ругать будем». Делает, делает, хочешь, как лучше...

«Красивая жизнь» морского офицера не задалась с самого начала. И даже не с тех несчастных гор, с которых еще не катаются в июле. Крылов точно знал точку печального отсчета замечаний, выговоров и прочих «фитилей», протянувшихся за ним неотвязным шлейфом. Цепь неудач началась с первого же корабельного занятия по специальности. Крылов вышел к своим электрикам, обряженным по случаю начала нового учебного года в форму первого срока, в черной тужурке при белой рубашке. Он волновался, как профессор перед вступительной лекцией, тем более что первое занятие и было задумано им, вопреки плановой теме, как блистательный экскурс в предмет. Пусть его

матросы поймут, какому великолепному богу — электрону — они служат. Пусть раскроются у них рты, когда они услышат о фантастической истории электричества, в которой есть место не только машинам, но и языческим богам, но и надеждам даже на воскрешение мертвых. Ведь дергались же в грозу мертвые лягушачьи лапки, подвешенные доктором Гальвани на медном проводе!

Пусть загорятся у них глаза, когда он расскажет им о подвиге гальванера Подлесного, спасшего «Аврору» в Цусимском бою, или о коварстве инженера-электротехника Сгибнева, виновника гибельного взрыва на линкоре «Императрица Мария».

Крылов готов был петь гимн корабельному электричеству: ведь если что и уподобляет корабль человеку, так это его электрические токи, магнитная душа...

Но тут вошел в кубрик заместитель командира электромеханической боевой части Мышляк. Крылов крикнул: «Встать! Смирно!» — встретил «зама» звонким рапортом:

— Товарищ капитан третьего ранга! Вторая электротехническая группа находится на занятиях по специальности...

Мышляк, не прерывая паузы, возникшей после его небрежного «есть-вольно-садитесь», стал вчитываться в «боевой листок», вывешенный над питьевым бачком. Листок, посвященный началу учебного года, Крылов оформлял сам вместе с лучшим художником дивизиона — матросом Адоньевым. Все же Мышляк не преминул пометить себе что-то в блокноте, после чего, устроившись за передним столом, снова раскрыл свою книжицу, приготовился слушать.

Крылову расхотелось вдруг петь гимн кора-

бельному электричеству. Поколебавшись с минуту — была не была — и все же решив: «Не была», повел речь о компаундной машине трехфазного тока, схему которой едва успел посмотреть перед завтраком.

Вечером Мышляк в каюте у Ивлева возмущенно недоумевал: «И откуда у них такое равнодушие к службе?! Зеленый, как три рубля, а уже к занятиям готовиться — выше своего достоинства считает. Карась!»

...Крейсер зарывался в воду стволами орудий и выныривал неспешно, вздымая за собой десятки крученых водопадов. Волны вскидывались не гребнями, а острыми всплесками. Ветер срывал пенные шапки и разметывал их тут же над вспученными горбами тяжелой вилюжистой поземкой.

Если бы Крылов выглянул в иллюминатор, он увидел бы море, которое являло все игры, на какие только способна вода: оно било гейзерами, бурунилось, клокотало, завивалось в воронки... Но лейтенант лежал ничком, боясь признаться себе в легкой дурноте от мерных провалов и взлетов койки. До сих пор служебные дела его были так далеки от моря, что Крылов не раз задавал себе ехидные вопросы — а не служит ли он где-нибудь на береговой электростанции? Сегодня в назначенном разговоре он выдаст сей горький упрек механику, если тот кольнет его своим излюбленным: «У вас на рукаве нашивки плавсостава...» Более того, он сыграет ва-банк — попросит перевести его на тральщик. «Там хоть порохом пахнет! — намекает он на боевое траление в Суэцком заливе. — А здесь полслужбы на бочке прошло». Правда, половина крыловской службы равнялась половине года.

Дерзить механику особенно не хотелось. Ивлеv слыл в лейтенантских кругах «мудрым мужиком», «стариком незакомплексованным» и «дерущим за дело». На корабле «мех» со дня закладки киля, и Крылов с куда большей охотой высказал бы приготовленные тирады Мышляку.

Крейсер содрогнулся так, будто в борт ударил тяжелый снаряд. Задрезжал плафон, зазвенели в подставках стаканы. По сухому пластмассовому треску Крылов понял, что со стола сверзился футляр с электробритвой.

— Во долбануло! — не то восхитился, не то испугался Сысоев и бросился к иллюминатору поджимать задрайки. Крылов выпростал из-под одеяла руку с часами: до подъема оставалось триста секунд.

Запах Зоиных духов пропал окончательно. От одеяла разило шерстью «корабля пустыни»... Лейтенант засунул голову под подушку...

— Носовой аварийной партии — готовность номер один!

Уже по голосу из динамика — резкому и встревоженному — Крылов понял, что это всерьез, что-то тряслось там, в носу...

Он рванул полог и чуть не угодил пятками на соседа, не успевшего забраться в койку. Сысоев — командир аварийной партии правого борта — мог спокойно долеживать сладкие предподъемные минуты.

До чего же удобна в такой спешке корабельная одежда: брюки в руки, ноги в тапочки, пилотку на затылок, а китель можно застегнуть и на бегу.

У водонепроницаемых дверей в шпилевое помещение толпились «аварийщики». Мичман Дядько, зав. корабельным ларьком, мокрый

с головы до ног, отжимал на себе брюки и китель.

— Во, товарищ лейтенант, как хлестануло. Еле выскочить успел. Шхиперскую кладовую затопило, а «в шпили» и не войдешь.

— Откуда топит?

Мичман пожал мокрыми плечами. Этот вопрос задал Крылову и Ивлеву, когда лейтенант доложил в ПЭЖ — пост энергетике и живучести — о готовности носовой аварийной партии.

— Хорошо, Крылов! — прокричал из телефонной трубки механик, хотя ничего хорошего в том, что лейтенант не знал, откуда поступает вода, не было. — Сейчас к вам Мальков подойдет.

Лейтенант зло швырнул трубку. Сейчас придет командир дивизиона живучести и... извольте встать в сторонку! Пусть Крылов совершает свои «ритуальные пляски» на учениях. В серьезном деле аварийную партию возглавит опытный, инициативный, сообразительный, дельный, толковый — и какой там еще?! — офицер.

Но ведь формально никто Крылова не отстранял. Малькову из ПЭЖа добираться в нос — минуты четыре. Значит, целых четыре минуты он, Крылов, вправе принимать любые решения. На секунду он оцепенел, как тогда в кубрике за столом, когда Мышляк впери́л в него свой скучный взгляд. «Была не была!» Очень смутно он сознавал, догадывался — вот он, тот последний шанс, который может стать новой точкой отсчета в его незадачливой карьере.

Овальная стальная дверь с рычагами задраек выглядела так, словно вела в совершенно новую жизнь, восхитительно взрослую и независимую. Но с той стороны в нее тяжело что-

то бухало и плескалось. Удары отдавались в коридоре зауспокойно-глухо.

— Адоньев — два гидрокостюма!

Крылов и сам поразился, как легко и спокойно у него это вырвалось.

Кряжистый сибиряк понял все — зачем гидрокостюмы и кому в них облачаться. Он оделся быстрее и помог командиру натянуть непромокаемую рубашу. На них смотрели недоверчиво и сочувственно.

— Зря вы, товарищ лейтенант! — жалостливо напутствовал их Дядько. — Убьет!

Дверь подалась сразу — распахнулась до упора, — и тут же хорошим плеском через комингс окатило всех, кто помогал ее открывать. Едва Адоньев пролез за лейтенантом «в шпили», как дверь с лязгом захлопнулась, обрубив поток коридорного тепла и света. В подпалубном полумраке шпилевого помещения видно было, как по всему его трехугольному пространству перекатывались мелкие волны. Нос уходил вниз, и тогда они, подкрепившись новым приливом, топили черные барабаны шпилей, неслись к переборке, в которую вжимались спинами оба разведчика.

Адоньев не узнавал уютные «шпили», где каждый вечер дымил с корешами возле обреза, где в бухтах запасных швартовых жил корабельный пес Гена. Сейчас все здесь бурлило и гремело. «Моя могила и купель...» — пронеслось у Крылова после очередного наката. Он успел все же заметить, откуда вырывалась вода — из-за выгородки поста носовых бомбометов. Раскинув руки, он двинулся туда, зная, что Адоньев пойдет за ним безо всякого оклика.

За выгородкой стало ясно, что пробираться

нужно к правому борту ближе к якорному клюзу.

Выждав момент, когда нос пошел вверх и вода схлынула по колено, они ринулись в узкий и тесный коридорчик, который вел к борту носовой скулы.

Крылов никогда здесь раньше не был. Коридорчик в его заведование не входил, а учения по борьбе за живучесть чаще всего проигрывались в подводной части корабля.

Плафоны не горели — нос обесточили. В полутьме они минули три поворота-колена и замерли в четвертом — тесный тамбур, словно клеть оборвавшегося лифта, полетел вниз, и оба они инстинктивно вцепились в переборки, пытаясь хоть как-то обрести стремительно легчающее тело. Мягкий удар — это крейсер по клюзы ушел в кипящее море. Исчезнувшая тяжесть вернулась разом — одним свинцовым всплеском. И тут же коридорчик наполнился по подволоку. Лейтенанта оторвало от палубы, подбросило. Если бы не Адоньев, шедший сзади, его бы швырнуло навзничь. Коридорчик превратился в напорный водовод, и вся ударная сила потока пришлось по Крылову. Перед глазами завертелись пестрые петушиные хвосты. Лейтенант хотел уже было выгребать к выходу. Но тут он опять натолкнулся на Адоньева, загородившего собой весь проход, и вдруг с облегчением почувствовал — лицо над водой. Воздух!

После первых жадных глотков, они снова двинулись вперед. Следующий вал встретили, пригнувшись и оперевшись в ребра жесткости. Самую главную опасность, грозившую им здесь, они уже распознали — только бы не удариться головой об острые выступы подволока.

За третьим поворотом забрезжил дневной свет. Он проникал оттуда, откуда врывалась и вода — из смотрового лючка подсветки якорного клюза. Стальную крышку лючка выбило тем самым ударом волны, который показался Крылову взрывом тяжелого снаряда. Она свисала, болтаясь на одной задрайке, и они оба, не сговариваясь, бросились к ней, приподняли, навалились плечами. Очередное ныряние носа выдавило из щелей лишь фонтанные струи.

— Брус! — крикнул Крылов Адоньеву. — Зови людей. И брус с клиньями тащите!

Оставшись один, он прижал крышку спиной, уперевшись ногами изо всей силы — так, что почти повис в воздухе. «Лейтенант Крылов в роли аварийного бруса, — усмехнулся он. — Закрыв пробонну грудью, если можно назвать грудью то, на чем сидят».

Он поймал себя на мысли, что шутит, шутит, вися между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой, и вдруг умилился сам себе: «Я шучу, значит, я не трушу».

Это было так и не так. Только что, шагнув за стальную дверь, он почувствовал, что для него началось то особенное время, каждая секунда которого становится необыкновенно емкой, значительной, щемяще прекрасной, — ибо любая из них в любой миг могла стать последней. Это жуткое и сладостное чувство он испытал уже дважды: желторотым первокурсником, когда на дурацкое пари в ящик пива быстро пролезал под катящимся с сортировочной горки вагоном, и совсем недавно — в горах, когда пробирался с Зоей по карнизу над пропастью.

С какого-то мгновенья за какой-то чертой начинался особый отсчет и шагам, и секундам.

Минуты обретали вдруг тяжесть всех непрожитых лет, и время сгушалось настолько, что в нем трудно было шевелиться, ступать, двигаться. Руки и ноги цепенели и чудовищно опаздывали во всем, что давно уже совершалось в мыслях.

Но он преодолевал это вязкое оцепенение, потому что за ним следили однокашники, или рядом была Зоя, или за спиной топтался Адоньев. Теперь не было никого. Весь ужас своего положения Крылов осознал только сейчас, когда очередным ударом его отбросило вместе с крышкой, швырнуло вверх, пребольно стукнуло головой о железо. Кожу рассекло на палец выше виска. А если бы пониже? Да просто потеряй он сознание, никто не поддержал бы его голову над водой... Некому. Крылову стало жалко себя: вот гибнет в борьбе со стихией молодой и, может быть, даже очень незаурядный офицер, который минутой назад так просто, так буднично пошел на верную смерть, который способен острить и посмеиваться над собой, даже закрывая пробойну собственным телом... (Сказать себе «грудью» Крылов на этот раз не посмел.) Воображение услужливо нарисовало картину: приспущенный флаг корабля, бездыханный лейтенант в тесноватом красном ящике, цветы на золоте парадной тужурки, фуражка и кортик на гробовой крышке... О, какой ничтожной ценой оплачивалось его расставание с этой прекрасной жизнью!

Отток воды потянул его к лючку, и Крылов, подобрав крышку, легко воздел ее на прежнее место. Недосхлынувшая вода помогла ее прижимать. Нос крейсера, выброшенный плавным изгибом далеко вперед, вибрировал от удара, будто кончик стальной линейки. Палуба под нога-

ми сотрясалась и ходила ходуном — не устоять.

И вдруг Крылов увидел корабль со стороны — весь сразу и ставшим к тому же прозрачным, как на модели в салоне кают-компани. Сотни людей, распределенные друг над другом ярусами палуб, сновали по коридорам, копошились у механизмов, склонялись над картами, вглядывались в экраны, пекли хлеба и играли на гитарах, писали письма и чесали пса Гену за ухом, спали после вахт и готовились к вахтам. Выше всех прохаживался по прозрачной же ходовой рубке командир — капитан первого ранга Соколов. Сквозь хлещущие по лобовым иллюминаторам струи он поглядывает на самый кончик крейсерского носа, в котором скорчился сейчас над крышкой лючка почти незнакомый ему лейтенант-инженер. И всех их: и этих людей, и командира, и механика, сидящего в «мозжечке» корабля — в ПЭЖе, и комдива Малькова, слегка опоздавшего взять бразды правления аварийной партией, и Сысоница, нежащегося в койке, и даже Мышляка, прошнурованную душу, — прикрывала сейчас его, крыловская спина. Он был впереди всех, то есть в самой передней части корабля, у той его острой кромки, которая резала океан, шторм, опасность — надвое. Один за всех...

Крылов не успел насладиться горделивой мыслью — яростная сила, увенчанная проклятой крышкой, ворвалась в «шхеру», обхватила тугими свивами тело, поволокла в глубь коридорчика, бия и топя... Лейтенант успел только прикрыть голову руками, ожидая последний дробящий череп удар, но его ткнуло во что-то мягкое, и это мягкое отозвалось адоньевским голосом:

— Товарищ лейтенант — здесь мы!

В следующую секунду по плечу садануло чем-то тяжелым — брусом! — радостно догадался Крылов, и матросы проволокли мимо дубовую распорку.

Крышку прижали брусом, подбили для прочности клинья, и Адоньев даже попрыгал на бревне, убедившись, что упор держит.

Крылов выбрал из «шпилей» под победную стукотню помп. Жадно чавкая, выметывали они воду из шхиперской кладовой. В коридоре за высоким комингсом стояли в сухих ботинках Ивлев и комдив живучести. На обрезиненном плече Крылова дрожали капли кровянистой воды. Он видел их краем глаза и нес не страхи-живая.

— Товарищ капитан второго ранга, носовая аварийная партия...

Механик пожал ему запястье, чтобы не трогать вздувшиеся посиневшие пальцы. Мальков хлопнул лейтенанта по плечу, стряхнув алые знаки воинского мужества. Оба прогоняли его к доктору, а Крылов стоял и тупо улыбался, не зная, как преподнести им шутку о закрытой «грудью» пробойне. Потом побрел к себе, оставляя на линолеуме мокрые следы. Стянув гидрокостюм, он рухнул на нижнюю койку — Сысоич свой человек, поймет.

Он не слышал команды завтракать, не слышал бодрых позывных радиогазеты и еще более бодрого рассказа о «героизме, проявленном личным составом носовой аварийной партии», не слышал он и песни «Экипаж — одна семья», любимой песни, если верить диктору, лейтенанта Крылова. Он спал. Спал, разбросав руки и ноги, как убитый в атаке солдат.

СЛОВАРЬ
морских терминов
и специальных выражений

Атомарина — атомная подводная лодка.

Баталер — лицо, ведающее на кораблях вещевым, продовольственным, шкиперским и другим снабжением.

Блистер — остекленный колпак на фюзеляже самолета.

Боновые ворота — проход в подводных заграждениях, перекрывающих вход в гавань.

Борна — токосъемная пробка аккумулятора.

Бушприт — горизонтальный или наклонный брус, выступающий за форштевень парусного судна.

Буй — плавучий знак для обозначения опасных участков, мест затонувших кораблей и проч. Буй-маркер — плавучее сигнальное устройство для обозначения, например, точки погружения подводной лодки. Буй-«слухач» (радиогидроакустический буй) предназначен для обнаружения подводной лодки в погруженном положении.

«Бульба» — (правильно «бульб») — утолщение в носовой части корабля, повышающее гидродинамические качества корпуса.

«Бэчэ-пять», БЧ-5 — одна из семи боевых частей корабля — электромеханическая.

Галс — отрезок пути корабля от поворота до поворота.

Гафель — наклонный рей, прикрепленный к верхней части мачты. Служит для подъема флагов и сигналов.

Глиссада — траектория идущего на посадку самолета.

Гюйс — специальный военно-морской флаг, поднимаемый

на гюйсштоке в носовой части кораблей 1-го и 2-го рангов.

ГОН — главный осушительный насос на подводной лодке.

Дифферент — наклон в продольной плоскости. В сторону носа — носовой д.; в сторону кормы — кормовой.

Дейдвудные сальники — сальники, уплотняющие зазор в месте прохода гребного вала сквозь корпус корабля.

Дуть балласт — продувание балластных цистерн сжатым воздухом при всплытии подводной лодки.

Зафлюгеровать винт — перевести лопасти в положение наименьшего сопротивления встречному потоку.

Звукоподводная связь — система связи, позволяющая вести переговоры с погруженной подводной лодкой.

Зенитный перископ — перископ с увеличенным углом зрения, предназначенный для визуального обнаружения летательных аппаратов противника.

Изобата — линия постоянных глубин.

Кабельтов — морская мера длины, десятая часть мили — 185,2 м.

Картушка — диск или кольцо, укрепляемое на подвижной системе компаса для удобства ориентирования по странам света.

Кетгут — хирургическая нить для зашивания ран, разрезов.

Киповая планка, кнехт — швартовые приспособления.

Комингс — высокий порог в проеме корабельных дверей, лазов.

Кокора — цилиндрический футляр для торпедных запалов.

Кремальера — зубчатый механический запор; приводится в действие рычагом или маховиком.

Лаз — прибор для измерения скорости корабля.

Ларингофоны, «ларинги» — микрофоны у летчиков. Крепятся в горловой части шеи.

ЛОХ — система химического пожаротушения на подводных лодках.

Магнитомер — поисковый прибор, определяющий подводную лодку по ее магнитному полю.

Мидель — самая широкая часть судового корпуса.

Мидчель — подшипник гребного вала, названный по имени изобретателя. Мидчелист — специалист, обслуживающий линии гребных валов.

Нервяюра — крепежный элемент самолетного крыла.

НСС — предупреждение о «неполном служебном соответствии», мера дисциплинарного наказания, применяемая к офицерам и мичманам.

Обрез — корабельная емкость наподобие таза.

Пеленг — угол между курсом корабля и направлением на цель.

Перископная глубина — глубина, на которой возможно пользоваться перископом.

Прочный корпус — герметическая стальная оболочка подводной лодки. Сюда же входит «прочная (боевая) рубка».

«Пузырь в нос (в корму)!» — команда, подающаяся на подводных лодках в особых случаях плавания для частичного продувания балластных цистерн.

РДП — Работа дизеля под водой. Режим подводного плавания, при котором воздух к дизелям засасывается через специальную шахту (шахта РДП).

Репитер — выносной прибор, повторяющий показания основного.

Румб — направление к точкам видимого горизонта относительно стран света.

Таймер — автомат времени, включающий в нужный срок то или иное устройство.

Тахометр — указатель числа оборотов.

Траверз — направление на цель, перпендикулярное наблюдателю.

Торпедоболванка — старая разряженная торпеда, служащая для испытательной прострелки торпедных аппаратов.

Фашина — туго стянутая связка прутьев, хвороста. Используется для преодоления рвов.

Форштевень — передняя кромка носовой части корабля.

«Черные шары» — обиходное название бортовых магнитофонов. В случае катастрофы по их записям ведется расследование причин аварии.

Швальня — швейная мастерская на корабле, в береговой части.

Шкафут — палуба в средней части судна.

Шпангоут — поперечный элемент набора судового корпуса; «ребро».

Шпиль — устройство для подъема якоря.

«Шхера» — здесь: закоулки, труднодоступное пространство в низах корабля.

Элероны — рули самолета для уничтожения кренов, возникающих при горизонтальном полете.

СОДЕРЖАНИЕ

	Одиночное плавание
3	(Повесть)
	«Грай» — по-цыгански
218	«конь» (Повесть)
279	Мичман (Рассказ)
	Доктор из подплава
285	(Рассказ)
294	Проводы (Рассказ)
	Полет «на полный радиус» (Рассказ)
300	«Руснишер бэр» (Рассказ)
333	«Приказ объявить во всех ротах...» (Рассказ)
346	В шторм (Рассказ)
358	Словарь морских терминов и специальных выражений
380	

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
ЧЕРКАШИН

ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ
Повести и рассказы

Редактор
М. ПОДЗОРОВА

Художник
В. ЗАХАРЧЕНКО

Художественный редактор
Е. АНДРЕЕВА

Технический редактор
Л. ДЕМЬЯНОВА

Корректор
В. Лыкова

ИБ № 3658. Сдано в набор 16.05.85.
Подписано к печати 24.10.85. А13584.
Формат 70×90₃₂. Гарнитура литер.
Печать высокая. Бумага тип. № 1.
Усл. печ. л. 14,04. Усл. краск.-отт.
14,04. Уч.-изд. л. 15,23. Тираж 50000
экз. Заказ 414. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62

Сортавальская книжная типография Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
186750. Сортавала, Карельская, 42

1р.20к.

«СОВЕТМЕНУК»